АЛЕКСАНДР
СТРЫГИН

РАСПЛАТА





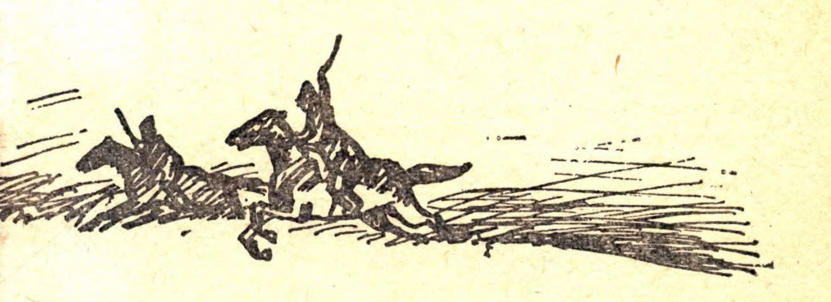


АЛЕКСАНДР СТРЫГИН

РАСПЛАТА

РОМАН

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА • 1972



Годы гражданской войны.

В стране разруха и голод. Хлеб есть лишь в отдельных губерниях, в том числе в Тамбовской. В этом глухом, но хлебном краю свила себе гнездо эсеровская контрреволюция, известная под названием «антоновщины». На борьбу за хлеб партия мобилизует лучших своих сынов — деревенских коммунистов, рабочих-питерцев. Среди них — видные деятели партии Антонов-Овсеенко и Подбельский.

Автор вводит нас в самую гущу событий. На убедительном историческом материале А. Стрыгин показывает всю беспочвенность и обреченность авантюры Антонова.

Мятеж заканчивается гибелью его главарей. Обманутые Антоновым крестьяне сами теперь помогают советской власти ликвидировать кулацкие банды.

Художник А. Ф. Таран

*Светлой памяти жены
и друга Зои Ивановны*

Как солнце каждому предмету дает тень, так мудрость жизни каждому поступку людей готовит возмездие.

М. Горький



КНИГА ПЕРВАЯ

ПРОБУЖДЕНИЕ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Коротка июньская ночь, да не для всех.

Василиса Терентьевна лежала на полатях и нетерпеливо поглядывала на окно, за которым едва синел рассвет. За всю ночь не сомкнула глаз. Слушала, как рядом, за спиной, сладко посапывает Мишатка, а в углу, на скрипучей деревянной кровати, беспокойно ворочается и вздыхает сноха,— видно, горячи стали пуховые подушки для молодой бабы, натосковавшейся по мужу. А тут еще сверчок надоедливый трещит, трещит...

— Не спишь, Маша? — тихо позвала Терентьевна.

В углу скрипнула кровать.

— Аль пора?

— Скоро рассвет, дочка, вставай.

Терентьевна села, свесив худые длинные ноги. Перекрестилась, влезла в широченную юбку и стала медленно спускаться с полатей.

— Ты, Маша, прибирайся, а я схожу отца разбужу. Ему луга делить с мужиками.

Тоненько скрипнула дверь. Вошел хозяин.

— Никак, сам встал?

— А я поспехал вас упредить.— Захар пригладил пышную всклокоченную бороду, присел на лавку.— Ты, Маша, скажи Васятке... так, мол, и так... лошадь посылать в такую заваруху ни в коем разе нельзя. Отберут — останемся без коняки. А коль что тяжелое припас, пусть в Тамбове у Парашки оставит. Утихомирится малость — съездию сам. Ты, Маша, веревочку возьми на случай... Может, связать что да через плечо. Двоим-то на палке быка унести можно.

Маша подошла к лохани умыться. Захар вскочил с лавки и угодливо зачерпнул в медную кружку воды.

— Мойся, я полью.

Сноха торопливо умывалась. Свекор искоса поглядывал на ее ладную фигуру и, сливая воду, напутствовал:

— А коли денег соблюл, на пустяки не тратьте. Деньги вынимать из кармана — время знать надоть.

— Ну уж будя, будя. Кубыть она глупая.— Терентьевна с укором посмотрела на мужа и открыла ящик стола. Вытащила полкаравая, пучок лука, завернула в тряпицу десяток яиц.

Захар поставил кружку на место, сел на лавку:

— Самогоночки бы Васятке шкалик с устатку, да Серафима, анчутка, не дала. Кум, грит, все вылакал вчера. Врет небось.

— От радости пьян будет и без самогонки. Клади, Маша, все в сумку да кваску не забудь, в бутылке вон. День-то жаркий, видать, устоится.

Маша расчесалась, скрутила косу в клубок на затылке и накинула легкий белый платок. Потянулась к оконцу, заглянула в осколок зеркала, поправила завиток у виска и кинулась собирать дорожную сумку.

На улице — светлее. Маша почти бегом поднялась на бугор и боязливо оглянулась: страшно уходить из дому в дальнюю дорогу.

Издали изба показалась чужой и убогой, а свекровь такой немощной, что жалостью сдавило сердце.

Терентьевна осенила Машу крестным знамением и, подняв фартук к глазам, скрылась за дверью.

Маша рывком поправила на плече мешок, перекинула связанные шнурком ботинки и быстро зашагала босыми ногами по прохладной пыльной дороге.

2

Иногда пройдешь версту, а мыслями в десяти местах побываешь, все горести и радости припомнишь...

Только нечего Маше припомнить, кроме забот. С детства в хлопотах да в нужде. Отец — самый бедный в селе батрак. Зато детьми бог не обидел: после Маши еще семерых родила ему Авдотья — низенькая, шустрая женщина с ярким румянцем на крутых, точно яблоки, щеках. В селе ее никто не называл иначе, как тетя Дуня, а отца — дядя Ефим, а то и просто Юшка. Смеялись: «У Юшки ни хлеба, ни подушки, а ребятишек — пол-избушки». Много разных шуток прикладывали — уж больно имя удобное, всякая насмешка липнет. Слабого всегда клюют. Но Юшка не только не обижался на прозвища, а и сам помогал — любитель прибауток.

Невысокий, слегка сутулый; редкая сивая бороденка, узкие хитрые глаза; два лаптя — из лыка — на ногах, третий лапоть — из тряпок — на голове, штаны из мешковины и старенькая рубашка с чужого плеча — вот и весь тут Ефим Олесин, распронаибеднейший бедняк, как он сам себя величает. Балагурить он такой мастер, что даже на свадьбы приглашают — почудить для дорогих гостей...

Как на грех, полуразваленная саманная хатенка Юшки — у канавы с ветлами, где летними вечерами собираются парни и девки на улицу. Выйдет Юшка на канаву, подсядет к гармонисту и давай развозить — со смеху улица покатывается, а он только улыбочкой обойдется. И спохватится, заругается: «Мать твою бог любил! Да вить я опять просплю, а мне завтра к Сидору хрип гнуть, ах, Юшка, Юшка, глупая макушка!»

Авдотья пробовала урезонить его: «Брось, отец, чудить-то. Ребятишки слезьми обливаются, а ему смешно, по улицам хлындает. Об хлебе подумал бы...» — «А чего об ём думать-то? Зимой дни короткие — нацелуемся да спать...» А иногда супил брови и, обращаясь к присмиревшей детворе, как дьячок, тянул: «А вы не пищите, богу внемлите. Веселый дух что зеленый луг: мягко́, легко́, солнышко печет — душе почет! На такой благодати можно и поголодати». А иной раз подсаживался к ним на печь и весело говорил: «Вам тут рай небесный,

а вить я, детки, на ветке рос. Меня ветер оттуда снес. Шел мимо Сидор, с земли поднял и в батраки нанял. Кормился я у него плеточкой, поился — слезочкой, вот так и вырос чудаком на удивление господу богу».

Кривушинский поп, отец Михаил, услышав Юшкины прибаутки, сказал ему на исповеди:

— Ты, Ефим, грешник по неразумению своему, да простит тебя господь. Брось, Ефим, балагурство непотребное, брось.

Ефим не растерялся:

— А как же я жить-то буду, отец Михаил? Мне без шутейного слова никак нельзя, веревка в глаза лезет. Да и ты не станешь самоубивца отпевать. Знать, терпи уж, отец Михаил, греховность мою, молись за меня. Мне недосуг за себя и бога-то попросить!..

— Иди, иди, греховодник, меня в грех не вводи!

...Однажды летом какой-то проезжий мужик нечаянно задел осью за угол Юшкиной хаты. Глыба трухлявого самана легко подалась и отвалилась вместе с оконцем. Мужик слез с телеги, стал на колени и умоляюще сложил руки на груди — сейчас прибежит хозяин, убьет.

А Юшка высунулся в пролом и осклабился:

— Что, едрена копоть, на колени встал? Меня жалко стало? Цеплял бы всю хату — и набок! Давно собираюсь поцыганить по белу свету, да коняки нету. Ось-то цела?

Удивленный мужик перекрестился, встал, оглядел ось.

— Цела,— обрадованно улыбнулся он.

— Ну, вот и хорошо! — Юшка вышел наружу и подошел к мужику.— Значитца, брат, раскошеливайся,— и протянул руку.

— Сколько же?

— Сыпь на бедность, не жалей!

Мужик вынул кисет, порылся в махорке... В заскорузлых пальцах засверкал полтинник.

Юшку облепила плачущая детвора, у пролома причитала Авдотья.

Мужик поглядел-поглядел на детвору и снова сунул пальцы в махорку.

На растопыренной ладони Юшки оказалось два полтинника.

Когда телега скрылась за соседним домом, Юшка кинулся к жене:

— Авдотья! Мать твою бог любил! Да тут и на полусапожки Манюшке и на платье! На барахолке укупить можно. Угол я коровяками да глиной заделаю, а без окна нам еще теплее будет! Подлинней бы делали мужики оси да почаще цеплялись за мой угол.

Работал Юшка и караульщиком в церкви. Копал могилы. Как-то летним душным вечером он докапывал могилу, сбросив со своего тощего тела промокшую от пота рубашку.

Мимо ехала барская коляска. Увидела барыня Юшкину худо́бу, вылезающую из могилы,— так и повалилась в обморок. Кучер пустил лошадей в намет... Догадался Юшка — выскочил на дорогу да вдогонку с улюлюканьем. Потом на канаве рассказывал — все со смеху попадали.

...Зимой Юшкину саманку заметало от канавы вровень с крышей. Дверь Юшкиной избы, похожую на лаз в конуру, по утрам откапывали соседи, за что он притворно ругал их: «Вить как тихо, тепло было в избе! Бог позаботился об рабе об своем, ухетал келью его, детишков спрятал от буйных ветров, нет, на́ тебе, пришли добрые соседушки, выкурили бедного Юшку из избы».

Свежими коровяками обмазывал Юшка старое решето, обливал раза два водой и скликал свою детвору: «Онька, Проська, Ванька, Панька! Хватай кто что успеет! На ледянку!»

Панька — старший после Маши — выпрашивал у матери разбитые валенки и первым выскакивал во двор. Авдотья уже начинала было натягивать на ноги старые опорки, но рядом молча шмыгал носом Ванюшка... Обмотав его ноги онучами, она отдавала ему последнюю обужку, а сама лезла на печь успокаивать малышей.

Первый след делал Панька. Взобравшись по сугробу до трубы, он складывал ладони рупором и кричал в черное отверстие: «Маманька, я поехал!»

Маша отдавала свои войлочные боты сестренке, а сама сидела у печки, сучила пряжу, обливаясь слезами.

Росла она тихая, робкая, хотя ни отец, ни мать даже не крикнули на нее ни разу. Нужда, унижения, отцова

беспомощность, которую он старательно заслонял прибаутками и насмешками над собой,— все это гнуло Машину голову к земле. А ведь хотелось, очень хотелось взглянуть в глаза людям, в глаза молодому парню... Но она ни разу не осмелилась прийти на канаву в своем рванье. Так и замуж вышла, ни с кем не погуляв, никого не полюбив. Даже лица своего в зеркале не видела. В колодце да вечером в темном окошке только и могла себя разглядеть.

Случилось это в тринадцатом году, на масленицу, нежданно-негаданно для Юшкиной семьи. Как-то Захар Ревякин зашел расплатиться за подмогу — Маша несколько дней стряпала и доила вместо больной Терентьевны.

Высыпав медяки в Юшкину растопыренную, как грабли, руку, Захар, к несказанному удивлению Авдотьи, перекрестился и присел на лавку. Вынул кожаный кисет и, посмотрев на Машу, потчующую ребятишек блинами, кашлянул.

Авдотья, разомлевшая у печки, так и замерла с чапельником в руках, почуяло сердце недоброе. Никогда Захар не задерживался у них. Постоит, потопчется в дверях — и здоровы были! А то ведь сел, крутит цигарку.

— Закури, Юхим, крепенького.

— Да ты что, не знаешь? Я не курю!

— За канпанию...

— Какая же я тебе канпания? Я батрачу — чужой хлеб трачу, а у тя хлеба ларь, ты сам се царь. На своих-то хлебах, знамо, курить можно, а тут хошь — кури, хошь — ревом реви... Работы — до субботы, а еды — до середы.

Захар улыбнулся одними глазами.

— А ты курить зачни, може, и ларь заимеешь...

Авдотья кинулась к печи — блин сгорел! Позвала Машу:

— Попеки, дочка, я гостя угощу. А вы, цыплята, кши на полати! Уж ты, Захарушка, прости, что сразу к столу не позвала. Думала, погребуешь... Садись, гостем будешь.

— Вина поставишь — хозяином почту,— добавил Юшка.

Захар не заставил себя уговаривать — выставил бутылку и, еще раз перекрестившись, сел за стол против Юшки. Тот радостно крякнул:

— Как по заказу, язви тя корень... Штой-то, Лексеич, ты раздобрился, а? Не с хомутом ли на мою шею?

Захар поскреб пальцами в курчавой бороде:

— Не бойсь, Юхим, я сам от тебя не далеко ушел. Слава богу, что не батрачу.— Он тяжело вздохнул, оглянулся на Машу и налил из бутылки в кружку: — Пей, потом я.

Ефим поднял кружку, смешно подергал реденькими белесыми бровями вверх-вниз:

— Добывается она трудно, сам знаю, а пьется, говорят, легко... А ну-ка попробую! — Запрокинув голову, он глотнул одним махом и затряс сивой бороденкой: — Ух, и збориста, леший ей в пятку!..

Авдотья придвинула блины, стопкой сложенные на расшитом полотенце.

— Машино рукоделье? — спросил Захар, тронув мизинцем узор петушиного хвоста, наполовину прикрытого блинами.

— Ее, а то чье же? — с гордостью ответила мать.— Подружки на канаву, а она — шить-вязать.

Захар еще раз оглянулся и поднял кружку:

— Вот об ней я и пришел погутарить. Косы-то вином уже пахнут... Не породниться ли нам?

У Маши сорвалась с чапельника сковорода. Авдотья как ставила кислое молоко на стол, так и застыла, словно руки от глиняной миски оторвать не может. Даже ребятишки притихли, сопя простуженными носами.

— Всерьез говорю, Юхим, как перед богом. Васятке Маша дюже приглянулась... И Василиса души в ней не чает — руки, грит, у нее золотые. Оно конечно, рановато бы им, да ведь дела не терпят. Василиса часто хворать стала, а без бабьих рук в доме, сам знаешь... Дочка Настя далеко. У ней свои заботы, свой дом.

— Так ты что же, Захар,— нараспев ответил Юшка, заметно хмелея,— в батрачки ее взять хошь?

— Что ты, Юхим, оглох, что ли, в какие батрачки?

— Нет, нет, Захарушка,— торопливо вступилась Авдотья,— куда ей, горемыке, замуж! Юбчонки стоящей

нет. Чего уж там! Да и мне без нее как без рук. Нешто я справлюсь с этакой псарней одна?

Маша прислонилась к печке сама не своя. Не от огня горели щеки — от стыда и от тайной радости,— ведь с Василия богатые девки глаз не спускают!

А Захар тихо поднял кружку, выпил, отер тылом ладони бороду, усы, свернул блин трубкой и не спеша стал жевать, будто выжидая момент сказать главное слово.

Юшка упорствовал:

— У нас для приданого нет и кобеля буланого, а без приданого — не невеста. Девка ведь не лошадь — без сбруи не сбудешь. Так что, Лексеич, по всем статьям Юшкин нос до вас не дорос. Спасибо за честь, да говорим, что есть.

Захар налил ему еще и тихо сказал:

— Кубыть приданое помеха... Бают: не бери приданое, бери милу девицу. Поживут — наживут, а пока от глаз людских сообча соберем им, что полагается для свадьбы. Без свах обойдемся. А Машу одеть Василиса берется.

Этими словами Захар покорил Авдотью.

— Да мы что же, мы ничаво, мы, пожалуста, да вить неудобно так-то... словно за одежу продаем.

— И-эх, мать честная!— Юшка вдруг ухарски привстал, поднял кружку:— Будь здоров, Юхим Петров! За дочь-невесту! Молись, Авдотья! Реви, Манюшка, твои косы пропиваем.

Ребятишки на полатях забились в угол и следили испуганными глазенками за старшей сестрой, которую отец продавал куда-то. Шептались, шмыгали носами.

Свадьбу сыграли скромную, но Юшка не ударил в грязь лицом: на второй день пригласил гостей к себе, угощал не хуже Ревякиных. Правда, тесно было в его хатенке, да ведь в тесноте-то не в обиде. Гости терялись в догадках: где мог взять Юшка столько денег? Продался, наверное, на десять лет вперед!

А Юшка — грудь колесом — разливал вино и сыпал шутки направо и налево:

— Лей, кубышечка, наливай, кубышечка, хозяйское добришечко! Хозяин жив будет — еще добудет!

Медовый месяц — как сказочный сон. Очнулась —

опять чугуны, ведра, кучи навоза, ворох грязного белья...

Василий жалел и уважал Машу, а еще больше уважали ее свекор и свекровь, но забот от этого не уменьшалось. Особенно трудно стало, когда народился Мишатка, а Василия взяли на войну. Зачастила Маша к родной саманной хатенке у канавы. И каждый раз мать встречала ее какой-нибудь горькой новостью. Жаловались друг дружке на житье-бытье, плакали, а расставались повеселевшими, словно прибавлялось сил...

Лишь весна этого года принесла в отцову семью радость. Волостной Совет по приказу революции нарезал Ефиму земли и обещал лошадку. Маша однажды увидела отца возле дома Сидора Гривцова и не угадала: откуда взялась солидность? Вроде и ростом стал выше. Да только радость была недолгой: не сдержали своего слова волостные начальники — не дали лошадку. А что земля без лошади! Отдали половину земли соседу за пахоту. Стал Юшка и не батрак, и не хозяин. Бедности ничуть не убавилось.

...Да, ничего нет хорошего в прошлом. Думы ее полны теперь ожиданием встречи. Три года не был Василий дома — легко сказать! Сколько горьких думок, сколько слез было за эти годы. Он и Мишатку-то не узнает теперь. Да и самого небось не узнать. Красным начальником стал!

Впереди маячит Татарский вал. Кажется, рукой до него подать, а все идешь и идешь — будто дразнит. Маша останавливается на минуту отдохнуть, перекидывает мешок с плеча на плечо и снова шагает по пыльной дороге...

3

Тамбов просыпался под перекличку десятков колоколов. Семнадцать церквей, семнадцать стражей всевышнего поднимали людей на утреннюю молитву. Мелодичный перезвон Казанского собора выделялся из общего гула. Изредка его заглушал мощный колокол кафедрального Питирима. А вот совсем рядом хрипло бумкнул кладбищенский колокол Петра и Павла.

Всякий раз, когда Маша слышит благовест городских церквей, ее берет оторопь, она чувствует себя маленькой, спешит перекреститься. Видно, глубоко запали в душу

церковные стояния в детстве. Держась за материну юбку, Маша, бывало, таращила глазенки на хоры, откуда неслось громкое, пугающее пение, и боязливо оглядывалась на бородатых угодников, которые, казалось, подмигивают ей и дуют на свечи, горящие перед их ликами...

Солнце было уже высоко. Маша сошла к ручью, вымыла ноги, обулась. Стало легче идти.

От Полынков к городу тянулась пестрая вереница богомолок. Грустная красивая молодка, одетая по-городскому, шла рядом с Машей.

— Ты что, милая, тоже в церковь? Аль мужа провожать?

— Не провожать,— тихо ответила Маша,— встречать.

— Откуда же? С фронта? А наших берут туда.

— Мой после лазарета... на поправку.

Молодка тяжело вздохнула:

— А мне своего унтера опять провожать. Мобилизация... Иду вот к Питириму молиться за Ваню.

Маша участливо осмотрела попутчицу и раздумчиво сказала:

— Да... жалко.

— А вы знаете, бабоньки,— затараторила шустрая толстушка в черном платке, перехваченном у подбородка медной английской булавкой.— Вчерась я в Уткинской вечерню стояла. Отец Маковей проповедь читал: «Власть диавола недолговечна, отец небесный не оставит чад своих на поругание бесовское». А рядом со мной офицерик с усиками... Такой раскрасавчик, такой ангелочек! И в погонах! Смелый какой! И все-то молился, все молился, ни на кого даже глазом не повел. Бывалоча, военный так и стреляет глазами по девкам, так и стреляет... А на молодку-то упулится — съесть готов! А этот все крестится, все крестится да шепчет. К чему бы это, бабоньки?

— Знать, горе какое,— вставила Маша.

— Какое там горе! Румяненький да сдобненький!

— Что ж, у румяных горя не бывает? — строго спросила дородная женщина.— У меня всех сынов война проглотила, а румян господь не отнял.

— Нет, нет! — заговорщически подняла пухленький пальчик шустрая рассказчица.— Тут что-то не так! Он

после вечерни к отцу Маковею подходил, шептался с ним...

— Да ты, знать, поджидала его? Следила? — с усмешкой подзадорила унтерова молодка, шедшая рядом с Машей.

— А вот и следила! Что мне не следить? Куда сердце лежит, туда и око глядит.

— Будя вам, бабы, грешить-то,— примиряюще заговорила горбатенькая старушка.— Господи, прости нас, грешных, недостойных.

За чугунным мостом шустрая толстушка гордо отделилась от попутчиц и свернула на Дворянскую улицу.

Маша отстала от богомолок у Пятницкого базара. Вот и знакомый дом Парашки, обшитый досками от старых вагонов. Он уже старчески сник, зато крыша и двери блестели свежей зеленой краской. Видно, проезжий маляр-пьяница не нашел чем расплатиться с доброй хозяйкой и отдал ей последнюю краску.

4

Заметив, что собеседник колеблется, прапорщик Гривцов рывком поднялся со стула.

— Большевики в Москве уже восьмой месяц у власти! Этого мало? — Маленькие запухшие глазки его сделались колючими и злыми.— Вы видите, я ношу погоны, не боюсь. Это означает, что большевики в Тамбове еще бессильны. Не могут арестовать даже одного офицера! Их тут кучка, а левых пустобрехов мы не боимся!

Собеседник тоже встал, но сделал это с видимой неохотой. Он был на целую голову выше прапорщика и заметно старше годами. Глухо, недовольно спросил:

— Значит, я один поведу унтеров в казармы?

— Что? Взвод гвардейцев дать в подкрепление? — Прапорщик явно издевался.

— А коли мы не попадем к обеду? Останемся без оружия?

— Повторяю: оружие возьмете легко. В военкомате есть свой человек. Он тебе точно скажет, когда у красноармейцев обед.

— Кто этот человек?

— Он тебя сам найдет. Будь в военкомате среди мо-

билизованных, и все... Вот возьми пачку папирос, угощай своих пьяных унтеров. После самосада эти папиросочки покажутся им царским лакомством. А теперь иди, готовься. Да зайди доложи Кочаровскому, что ты готов. Он пошлет человека в казармы.

Едва за дверью скрылась сутулая спина, прапорщик сел, откинулся к стене, закрыл глаза.

Когда-то улягутся бури? Когда-то вернется он в отчий дом с пестрыми, как девичий сарафан, ставнями и возьмет из рук отца ключи от добротных рубленых амбаров и конюшен?

Когда-то! А сейчас не время думать об этом! Нужно торопиться, торопиться!

Гривцов поправил ремень. Осмотрел — словно на прощанье — небольшую, с одним оконцем комнатушку, в которой прожил несколько дней... Завтра вместе с обещанной должностью генеральского адъютанта он будет иметь и шикарную квартиру в центре Тамбова.

Стук в наружную дверь насторожил его. Кажется, никто больше не должен приходить. Гривцов тихо подошел к двери, прислушался. Кроме голоса хозяйки — еще один женский голос.

И вспомнил знакомый с самого детства кроткий грудной голос Маши Олесиной. Гривцов не знал, почему всегда его влекло к этой тихой, замкнутой дочке батрака, прятавшейся от людских глаз в своей саманной конурке. Казалось, что Маша прячет в себе какую-то большую тайну. Эту тайну ему так и не удалось открыть, хотя он долго и старательно подкарауливал дочку батрака на кривушинских сенокосах. Ее словно охраняло провидение — каждый раз она шла по другой дороге. Но теперь ей не уйти от него, их дороги сошлись. От имени мужа вызвал... «Хоть этим отомщу Ваське Ревякину». Он самодовольно ухмыльнулся и распахнул дверь.

— А-а! Маша! Здравствуй! — И в упор смотрит в ее грустные, бездонные глаза.

— Здравствуй, Тимофей Сидорыч. А где же Вася?

— Наскучала? Потерпи, Машенька... Все расскажу, как вернусь. Сейчас мне очень некогда.

— Да разве не он сам с Феклой наказывал? Что случилось-то? Скажи, ради бога! Не пужай...

— Ничего, ничего, успокойся. Два дня назад я слу-

чайно видел его в Козлове. К вечеру он, возможно, приедет, если...— он замялся, кашлянул,— если его не арестуют в Козлове. Зря он с большевиками путается. Я все узнаю и вечером расскажу. Жди меня. Ну, как там, в Кривуше?

— Да все на месте стоит.

— Отец мой как?

— Да что ему подеется?

— Ну, не волнуйся, жди.— Он ласково потрепал ее плечо и быстро зашагал к выходу.

Уже открывая дверь, услышал испуганный голос Маши:

— Кто же наказывал, чтоб я пришла?

И ответ хозяйки:

— Тимошка наказывал. Знать, Василий велел.

Прапорщик с довольной ухмылкой натянул козырек на самые брови, пряча лицо от солнечного света.

Он шел, смело расталкивая толпу. Он знал, что на него смотрят: на его плечах солнце ярко золотит парадные погоны.

Успенская площадь на окраине города необычно оживленна. Призывники, приехавшие и пришедшие из волостей, столпились у военкомата. На телегах — родственники, жены. Многоголосая пестрая толпа напоминает цыганский табор, заполнивший не только площадь, но и улицу до самого Успенского кладбища.

Переливы гармоник, грубая матерщина, озлобленные окрики, женский плач...

Какой-то разудалый гармонист забрался на ограду кладбища — чтобы всем слышнее было! Из толпы к ограде потянулись молодухи. Выкрикивали частушки, раздирая рты, будто старались перекричать толпу.

...И я тоже страданула —
свово Ваню обманула...—

хрипло пела захмелевшая мещанка, вытирала с лица пот и щурилась от яркого солнца. Назло тоскливому страданию второй гармонист где-то рядом резанул веселую «досаду». И тут нашлись голосистые певуньи:

...Ой, досада, ой, досада,—
мать корову продала!
А еще берет досада —
меня замуж отдала!

Какой-то шутник, пронырнув между молодухами, вытянулся перед ними в дурашливой позе и заорал во все горло:

Ой, досада, ой, досада,
потерял штаны у сада...
Шарил, шарил — не нашел,
без штанов домой пришел!

Толпа дружно грохнула, а шутник выпучил глаза, будто не понимает, над чем люди смеются:

— Чаво раздираетесь? Знать, комиссар вас накормил?

— А ты что — голодный? — крикнул кто-то из толпы.

— Кашу жду! Комиссары пшено ищут по селам. Нас на фронт, а сами тут будут объедаться да наших баб шшупать.

Гривцов все замечал, все слышал. Остановился, чтобы оглядеться. Каждого из своих приветствовал кивком головы. «Все на местах», — отметил удовлетворенно.

Увидел родственников из Падов — отчаянного гуляку Ваську, прозванного по-уличному «Карасем» за рыжую большую голову, почти без шеи, приросшую к плечам.

Карась стоял у телеги и тянул прямо из бутылки мутную жидкость, изредка сплевывая и чертыхаясь.

— Зажуй, Вася, корочкой, зажуй, дух отобьет,— уговаривал Карася толстый мужик с бородой, видимо хозяин телеги.— Ты где ночевал-то?

— Под звездами, на чужой телеге, с чужой бабой,— ответил Карась, сунув мужику пустую бутылку.— Эй, тулиновский! Подь сюда! Дай грибочка на закусь!

— Они у него с червяками! — засмеялся кто-то на соседней телеге.

— Не тот червь страшен, какого ты ешь, а тот, который тебя есть будет,— ответил призывник из Тулиновки.— Иди ешь!

Карась шагнул было за грибами, но заметил подошедшего прапорщика и хрипло гаркнул:

— А-а, Тимофей! Будь здоров! Иди, тяпнем за усопших! — Разглядев погоны, вдруг вытянулся: — Здра-ажла-а!

— Вольно, господин унтер-офицер! — с улыбкой подал руку Гривцов.— Как поживаешь? Такой же отчаянный?

— Еще смирнее стал,— ответил за Карася хозяин телеги, подмигнув прапорщику.— По бутылке из горлышка выпивает, сук-кин сын! Такому и четверть споить не жалко! — И одобрительно хлопнул унтера по плечу: — Угощай, Вася, Тимофея Сидорыча!

— Откуда ты меня знаешь, отец? — удивился Гривцов.

— Кого надо — знаем! И нас не мешало бы знать!

А Карась, как завороженный, не отрывал глаз от погон.

— Это как понять, Тимофей Сидорыч?

— Понимай, как лучше. Я тут не один, да и вас хватает.— Он кивнул на толпу.

— Ну и что? — допытывался Карась.

— А вот что.— Гривцов обнял Карася и отвел в сторонку.— Тебе задание: провода телефонные видишь?

— Вижу.

— Оборви их... нечаянно. Мы митинг откроем, а ты в это время... На, закури. Не бойся. Ленин убит. Петроград наш.

Карась осторожно взял белую с золотистыми буквами папироску и, заглянув в глаза прапорщика, согласно кивнул головой:

— Сразу видать — из царских запасов! — Прикурил, затянулся, глуповато хмыкнул: — А вонь-то заграничная!

— Значит, согласен?

— Чего это? А-а, энто... сорву! Вожжами мотну разок да дерну.

— Ну, я не прощаюсь, увидимся.

— Так точно! — отчеканил Карась уже совсем весело и гаркнул хозяину телеги во все горло: — Эй! Прокопыч! Доставай еще бутылку! Р-р-разочтусь! На мой век амбаров хватит!

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Чичканов торопливо возвращался в «Колизей», нехотя отвечая на приветствия. Многие кланяются, лицемеры! А сзади небось плюются и проклинают.

Время обеда, а есть не хочется. Не хочется идти до-

мой — возвращаться к неприятному разговору с набожной матерью. И жаль ее, и зло берет. Зачем с поучениями лезет? «Врагов себе везде нажил. Ведь полгорода тебя еще мальчишкой помнят. Через тебя и я страдаю, сынок. Бирюками на меня в церкви смотрят. Что тебе, больше всех надо?» Эти слова застряли в голове как обида. Но разве можно обижаться на мать? Она не виновата, она просто не понимает, что происходит вокруг. Победа нелегко дается.

Кругом — и в Советах, и в учреждениях — эсеры и меньшевики. Три дня назад губерния объявлена на военном положении, а в городе не чувствуется никаких перемен: по улицам допоздна нагло разгуливают монархисты. А ведь только что подавили мятеж чехословаков на станции, и фронт совсем близко! В горсовете сидит эсер Кочаровский, бывший поручик, и разглагольствует о свободе, о братстве граждан России. И нет причин для ареста, а чует душа — за елейными речами враг прячется. Давно знает Чичканов этого авантюриста. А Евфорицкий? Хитрая лиса!

Возле Уткинской церкви толпа праздношатающихся. Вот он, рубеж двух эпох: на одной и той же площади стоят друг против друга церковь и рабочий дворец «Колизей», в котором разместился Губком партии большевиков. Два непримиримых противника... А уживаться приходится, пока ничего не поделаешь! И Чичканов вдруг невольно вспомнил себя юнцом-реалистом, ожидавшим около Уткинской церкви мать и сестер, которые частенько ходили туда к вечерне. Там, у церкви, остался вихрастый реалист, заядлый охотник Миша Чичканов со всеми своими увлечениями, походами в лес, тайными мальчишескими мечтами о революции, а тут, в «Колизее», работает теперь Михаил Дмитриевич Чичканов, двадцатидевятилетний опытный большевик с подпольным стажем, первый губернский комиссар...

И все это произошло за какие-нибудь десять лет, из которых пять он был студентом Петербургского политехнического института и два года жил в Америке, куда его, как дипломанта, направляло Артиллерийское ведомство.

Но если бы его спросили сейчас, что ярче всего запомнилось ему из тех лет, то он сказал бы: студенческая революционная коммуна и распространение большевист-

ской газеты «Правда». Ведь он специально учился на помощника машиниста в депо, отрывая время от лекций в институте, чтобы развозить «Правду» из Питера в другие города. Рабочие типографии гордились студентом Михаилом, любили его за настойчивость, твердость и смекалку.

Он и в Америку сумел провезти в чемодане несколько газет для русских эмигрантов, которые жаждали правды о России.

Февральская революция вернула его в Тамбов. От тайной пропаганды — к активной, открытой борьбе с врагами. Никакой институт не учит ведению политической борьбы. Учит сама жизнь. Хорошо, что рядом живет и борется Борис Васильев — земляк, вернувшийся из Франции, где вместе с женой «отбывал» эмиграцию. Вон и сейчас он стоит у «Колизея»,— видно, поджидает товарища по борьбе. Стриженный наголо, в старенькой вельветке, подпоясанной узким ремешком, Борис выглядит так, будто вчера вернулся из ссылки.

— Что, профсоюзный оратор, щуришься? От солнца свои голосовые аккумуляторы заряжаешь? — Чичканов всегда подшучивал над своим ровесником и другом, но сейчас шутка вышла невеселой. Он оглядел на ногах Бориса рваные ботинки и обмотки, тяжело вздохнул.— Изоляционная лента положена умелыми руками, а вот контакты порвались, вся солнечная энергия в землю уходит.— Положил руку на плечо: — Зря большой семьей обзаводился!

Борис Васильев с улыбкой посмотрел в глаза Чичканова:

— А настроение прятать ты еще не научился. Издали заметил твое бледное лицо. Подожду, думаю, взбодрю артиллерийский дух губернского комиссара.

— Спасибо за заботу! Осенью матёрку тебе привезу.

— Как бы раньше на матерых охотиться не пришлось. Ты знаешь, кто мобилизованных обрабатывает?

— Знаю, потому и пришел пораньше. Надо сказать Рогозинскому, чтобы совещание отменил. К мобилизованным надо всему активу идти.

— Правильно, и я шел за этим. Тогда иди к Рогозинскому один, а я прямо к военкомату.— И Борис Васильев быстро зашагал по площади в сторону Студенца.

2

Председатель Губкома партии большевиков Николай Рогозинский разговаривал по телефону, нетерпеливо постукивая карандашом по столу.

— А где губвоенком Волобуев?..

Заметив Чичканова, Рогозинский указал на стул.

— Что? — Рогозинский оторвал трубку от уха, дав знак Чичканову слушать. Тот привстал и наклонился к трубке.

Словно из подземелья испуганно-громкий голос: «Тут какой-то прапорщик давеча митинг открыл... против большевиков. Унтеров много собрал возле себя. Волобуев пошел туда сам...» В трубке затрещало.

— Алло! Барышня! Почему пропал военкомат?

Через несколько секунд невозмутимо-спокойный голос: «Не отвечает. Наверное, оборвана линия. Пошлем исправлять».

Рогозинский бросил трубку.

— Митингуют, сволочи! А у нас некому с массами работать! Придется отменить совещание. Как думаешь?

— А я за этим и пришел. Надо исправлять положение. Волобуев доверился спецам.— Чичканов говорил тихо, разглядывая собеседника из-под насупленных черных бровей.— А ведь эсеры готовились поднять мятеж еще недели две назад, когда из Моршанска в Тамбов шла по селам процессия с иконой Вышинской божьей матери. С иконой шли старушки и монашки, а тут сотни бывалых солдат, унтер-офицеров! Почему Волобуев сам не занялся подготовкой к приему мобилизованных? Подписал приказ о военном положении и успокоился!

— Не надо, Михаил Дмитриевич, настраивать себя на худшее. Все еще обойдется!

— Нет, товарищ Рогозинский, вы с Волобуевым просто не знаете, сколько в Тамбове явных и скрытых врагов нашей власти. Конечно, вам простительно: вы еще трех месяцев у нас не живете. А я коренной тамбовец, всех в лицо знаю.

— Да, среди тамбовских военных мало надежных людей. Наших мало! Наших! Но не будем терять времени. Вот познакомься с отчетом спасской фракции, а я

пойду скажу секретарю, чтоб направлял людей к военкомату.

Чичканов остался один. Пробежал глазами по бумаге: «Имеется Спасско-городская организация... сельских, волостных и заводских ячеек нет... в городской организации членов партии нет... Записавшиеся члены являются только как сочувствующие...» Нетерпеливо положил на стол, увидел телеграмму из Кирсанова: «1-й Кирсановский уездный съезд бедноты... от трехтысячной организованной бедноты приветствует губернский руководительный орган в лице Губернского комитета РКП, которому по первому зову съезд отдается в его распоряжение для беспощадной борьбы с черной сворой. Черной своре — красная смерть!..»

— Да, черная свора...— Чичканов встал и прошел к окну. За сквером, перед ширшоринским магазином, очередь извозчичьих пролеток. Всё, всё кругом старое... Всё, от колокольного звона по утрам до вот этого пузатого крендельщика, что садится в пролетку. Как хочется смести все это с лица земли одним ударом!

Рогозинский вернулся встревоженным.

— Какой-то неизвестный звонил Прокофьеву, будто унтер-офицеры без единого выстрела разоружили весь наш полк. Часть красноармейцев присоединилась к мятежникам. Связь с полком прервана. Дело принимает серьезный оборот. Что делать?

Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга.

В дверях, щелкнув каблуками, остановился начальник караула «Колизея» — красноармеец Минского отряда Губчека Большов:

— Разрешите доложить? К Губкому со стороны базара движется какой-то отряд... вооруженный, с оркестром.

Чичканов и Рогозинский бросились к окну. В открытую форточку ворвался бодрый егерский марш. На площадь ввалился пестрый вооруженный отряд. С испуганными, злыми лицами люди смотрели на балкон «Колизея», где стояли пулеметы... Толпа обывателей плотно окружила отряд.

— Что будем делать? Охрана слабая,— тревожно заговорил Рогозинский.

— Из пулемета в толпу стрелять не будешь... Попробую договориться. Я пойду на балкон, а ты скажи Прокофьеву, чтобы спрятал ключи от сейфа и уходил на связь с Киквидзе.

На балконе «Колизея» часовые приникли к пулеметам.

— Не стрелять! — приказал Чичканов и поднял руку, обращаясь к толпе:

— Кто ваш командир?

— Не слышим! — метнулось из рядов.— Слазь суды!

Отряд придвинулся к «Колизею».

— Ишь за пулеметы спрятался!

— Чего вы хотите? — снова крикнул Чичканов.— Кто вас привел?

— Мы сами пришли! — рявкнул усатый унтер.

— Так давайте поговорим! Зачем кровопролитие?

— Мы и пришли поговорить! Слазь суды! А то стрелять будем!

— Айда, братва, к нему! — И первые ряды, смяв часовых, кинулись к двери «Колизея»...

— Даешь Чичкана!!! — заорали в толпе.

Беспорядочная стрельба послышалась со всех сторон...

3

Дверь жалобно хрястнула и распахнулась.

Дула винтовок черными бездонными глазками смотрели на Чичканова. Он не слышал ругательств и криков — словно оглох, он только молча смотрел на ворвавшихся людей.

Растолкав солдат, к столу вышел поручик, держа револьвер перед собой.

— Вы уже в форме? — спросил Чичканов, прикуривая папиросу.— Нафталином попахивает, плохо вытрясли.

— А я чувствую запах гари, Чичканов! Сожгли документы?

— Вы опустите винтовки, товарищи,— обратился Чичканов к красноармейцам.— Я не убегу. Вас вон сколько, а я один.

Поручик заметил, как послушно опустили винтовки красноармейцы, и в бешенстве крикнул:

— Связать!

Откуда-то появились двое с веревкой. Они грубо заломили Чичканову руки назад. Поручик обыскал его, вынул наган, папиросы.

— А документы где?

— При себе, господин офицер, не держу. Меня и без документов узнают.

В дверях появился бывший городской голова Шатов, самодовольный, расфуфыренный адвокат.

— А-а, Чичканов? Что-то у вас грустный вид сегодня? Бодритесь, бодритесь! Правосудие не без снисхождения! Студенческое землячество и прочее!..

Чичканов презрительно смерил его взглядом:

— Развяжите руки!

— Что за тон? Вы приказываете?

— Да, приказываю,— ответил Чичканов.

— Но пока приказывать буду я.

— Сами чувствуете, что п о к а?

— Агитация неуместна! Не храбритесь, Чичканов! Ваша песенка спета!

— Развяжите руки! — повторил Чичканов.

— Поручик,— примирительно улыбнулся городской голова,— удовлетворите его последнюю просьбу. Этого требует благородство офицера в отношениях к побежденному.

— Нет! Это не просьба, а требование, и не последнее,— твердо сказал Чичканов.— Развяжите руки и принесите мою шинель.

Офицеры переглянулись с Шатовым.

— Принесите.

В это время появился генерал Богданчик, седой обрюзгший старик.

— Мне помнится, генерал, я освободил вас, учитывая вашу старость,— сказал Чичканов, растирая запястья рук.— Где ваше честное офицерское слово?

— Что здесь происходит? — Генерал побагровел.— С кем он так разговаривает? Как вы позволяете ему?

— А вы не вольны мне позволять,— ответил Чичканов.— Я сам себе позволю. И о чести я имею более высокое понятие, чем вы, генерал!

Богданчик подскочил к Чичканову, размахнулся, чтобы дать пощечину, но Чичканов так посмотрел на него, что генерал попятился:

— Вон, вон его отсюда! В тюрьму!

4

Маша обошла весь вокзал. Никто не знал, будет ли пассажирский из Козлова.

— Там вчера мятеж поднялся.— Красногвардеец-железнодорожник сочувственно осмотрел Машу с головы до ног.

— Неужели мово Васю арестуют?

Красногвардеец молча пожал плечами.

От вокзала шла торопливо, оглядываясь. «Васенька, родненький, где же ты? Заждалась тебя...»

Хотелось забиться куда-нибудь, плакать, плакать. И вдруг остановилась как вкопанная. Где-то за Уткинской церковью послышался оркестр. Веселый марш, под который ходят солдаты! Маша слышала такой марш еще в детстве, когда с отцом приезжала на базар. Тогда мимо базара шел какой-то полк с оркестром впереди.

«О, господи,— мелькнула догадка,— да может, и мой Вася пешком... с солдатами?»

Опомнилась уже в толпе любопытных горожан, окруживших площадь перед «Колизеем». От быстрого бега долго не могла отдышаться. Попробовала протиснуться, но толпа стояла стеной.

— Они из Козлова? — почти простонала она, обращаясь к рослому бородачу с извозчичьим кнутом.

— Из какого тебе Козлова? — грубо ответил он.— Унтера власть большаков спихивают!

Маша приподнялась на цыпочки, недоверчиво огляделась:

— А не стреляют что же?

— Какой прок стрелять! Без пальбы способнее! Вишь, из полка оркестр прихватили... как на свадьбу, с колокольцами!

За сквером Маше не виден «Колизей». Она только слышала едва доносившиеся оттуда крики — оркестр заглушал все. Он стоял где-то почти рядом, играл сбивчиво, торопливо. Но вот внезапно как бы оборвались оглу-

шающие звуки и укатился куда-то гул толпы. Поток людей хлынул на площадь, словно там образовалась пустота. Маша оказалась перед светлым двухэтажным зданием с колоннами у входа. Над этими колоннами, на балконе, стояло несколько вооруженных людей. А у самого края балкона шустрый курчавый офицер с поднятой рукой кричал визгливым голосом:

— Мы, сыны истинной революции, объявляем свободным гражданам Тамбова о низложении власти узурпаторов! Главари тамбовских большевиков нами арестованы! Они будут преданы справедливому суду свободной демократии. Вчера восстанием народа освобожден от большевиков город Козлов! По всей России восстали честные граждане, чтобы избрать законную власть на Учредительном собрании. А теперь, дорогие свободные граждане, расходитесь по домам и празднуйте победу!

Оркестр снова заиграл марш. Ничего не поняла Маша про революцию. Ее только покорили красивые жесты оратора — она вспомнила кривушинского батюшку, вот так же возводящего руки к небу и так же царственно опускающего их к прихожанам.

Оратор еще раз поднял руки и отвернулся от толпы. К нему тотчас подошел офицер, в котором Маша с удивлением узнала Тимошку Гривцова. Он козырнул оратору и вместе с ним ушел с балкона.

Толпа начала редеть, а Маша все стояла и смотрела на балкон, на колонны. Оттуда должен выйти Тимофей. Он может спасти Василия, если того арестовала новая власть.

Но Гривцов как будто провалился сквозь землю.

У Варваринской площади послышалась стрельба. Люди заторопились домой...

Маша вздрогнула от близкого удара колокола Уткинской церкви. Перекрестилась и пошла, сопровождаемая торжественным перезвоном, за которым стала совсем неслышной дальняя перестрелка.

На углу Базарной улицы Маша испуганно прижалась к стене магазина — мимо нее провели арестованного, лысого, болезненного мужчину. Конвоиры, щеголеватые гимназисты, подталкивали его в спину револьверами.

«Вот так и Васю где-то гонят,— с ужасом подумала Маша.— А за что? Ну, большаки, говорят, шпионы немецкие, а вить Вася кривушинский сызмальства».

А над городом все шире расплывался торжественный перезвон колоколов, словно ими, как оркестром, повелевал дирижер, стараясь оглушить обывателей.

...Парашка встретила Машу у ворот.

— Чего так запыхалась?

— Ой, Параша, боязно мне штой-то... Еще какую-то новую власть поставили.

— По мне, любую власть ставь, только баб не трожь.

— Тебе-то все равно — мужа нет, а у меня вся душа изболела. Где он, что с ним? Вить встречать шла...

— Все обойдется, встретишь!

— Тимофей обещал рассказать про Васю, да теперь к нему не приступишься, с новой властью ходит.

— Ему не так новая власть нужна, как новая баба.— Парашка злобно скривила губы.— Придет обязательно... Барахлишко-то его у меня.

— Скорей бы.

— Успеешь... Слышишь, как жена соседа убивается? Только што увели ее мужа. Комиссаром он был в Чеке.

Маша прислушалась. Рыдания были едва слышны, а над городом плыл переливистый звон церковных колоколов.

— Ишь как Пашка, звонарь с Архангельской, угодить старается господам офицерам... Ишь, ишь, прямо плясовую отдирает!

— Душно тут. Пойдем, Параша, к тебе.

— Пойдем, да только и там прохлады чуть. Припекает солнушко, как перед светконцом.

5

Как села у окна, так и просидела до поздней ночи. Хозяйка уже спала. Маша чутко прислушивалась к каждому звуку, доносившемуся с улицы.

Мимо дома по мостовой громыхали телеги, пьяные мужики распевали похабные частушки. Мелькали в темноте искорки папирос, за углом надоедливо долго гоготала женщина... Но вот цокот копыт замер у ворот, и две темные фигуры отделились от извозчичьей пролетки.

В груди у Маши захолонуло. Она прибавила в лампе свет, поправила волосы.

Веселый голос Гривцова, обращенный к кому-то, словно подхлестнул Машу. Она кинулась к двери в надежде увидеть Василия.

— Шутоломная,— заругалась проснувшаяся Парашка,— стол чуть не опрокинула!

— О! Маша? Не спишь? Очень хорошо! — Гривцов появился в дверях хмельной, сияющий.— Победу нашу встречаешь! Очень хорошо! — И лихо крутнул ус.

Маша жадно вглядывалась в темноту коридора, стараясь отыскать там того, второго, с кем разговаривал Тимофей.

— Там нет никого,— заметив ее взгляд, сказал Гривцов.

— А с кем же ты говорил, Тимофей Сидорыч?

— Это Васька Карась провожал меня до калитки. Знаешь, из Падов? Лихой унтер! Мальчишкой, бывало, запрягет в санки собаку свою, под дугу колокольчиков навешает и — по селу! Потеха!

— А где же мой Вася?

— Карась-то мой родич, я его большим человеком сделаю. Я теперь знаешь кто? Адъютант самого генерала Богданчика!

Парашка шумно заворочалась на кровати.

— Ради бога, Тимофей Сидорыч,— умоляла Маша,— где Вася? Ты вить обещал...

— А наш партийный вождь Кочаровский! Он гений, Маша! Ты знаешь, что такое гений?

Парашка притворно закашляла, встала.

— Всеми святыми молю: скажи, что с Васей? — не отставала Маша.

Гривцов насупился:

— Дело опасное, но помочь можно. Пойдем ко мне, поговорим. Тут Параше спать мешаем.

— Скажи, скажи, не томи! — умоляла Маша, идя за ним следом.

Парашка так хлопнула дверью, что Маша вздрогнула и оглянулась. В коридоре стало темно, как в погребе.

— Свет зажги, Тимофей Сидорыч! — попросила Маша, переступая порог его комнаты.

— Тут свеча была,— шаря рукой по столу, ответил Гривцов.— Сгорела, наверно.

— Я у Параши лампу попрошу.

— Не надо,— ухватил он ее за руку,— не связывайся с ней, злая она.

— Страшно, темно у тебя. Говори скорей, уйду я.

Гривцов взял ее за руку, притянул к себе:

— Его спасти только ты можешь...

Маша упала на колени.

— Христа ради прошу, ноги целовать буду! Спаси Васю! Где он?

— В Козлове, в тюрьме... в особой камере.

— Спаси, Тимофей Сидорыч! Век молиться за тебя буду! — И зарыдала, уткнувшись головой в его ноги.

— Что ты, Маша, что ты! — Гривцов поднял ее, обняв за талию.— Да я сам к тебе в ноги упаду,— зашептал ей прямо в лицо.— Еще в Кривуше тебя от всех отличал... Маша...— И защекотал усами ее шею.

Она уперлась в его грудь руками:

— Машей-то зови, да в свои не прочь! Не таковские мы.

— Ну, Машенька, ты же сама просишь спасти. А если ты меня оттолкнешь,— прошипел он едва слышно,— зло сделаешь...

Маша почувствовала, как его руки сделались железно-жесткими, нахальными. Он стал молча тянуть ее к постели.

Маша упиралась, шептала:

— Не думай этого, Тимоша, нельзя, грех тебе... ради Христа, пусти!

И — все слабее сопротивлялась, в руках уже не было сил оттолкнуть.

Почти сникая и чувствуя, что противиться этой звериной силе — значит еще больше разжигать ее, она решила испытать последнее женское средство:

— Тимоша, сил моих больше нет... Во рту все пересохло... Попью схожу, страсть как пить охота! Приду, сама, все равно теперь... сама приду.

Что-то ударилось в дверь и упало на пол. Маша испуганно рванулась из его рук. Не выбежала — выпорхнула из душной комнатушки. Глаза резанул свет из Парашкиной двери. Хозяйка стояла у порога и смотрела

на Машу, скривив губы в ехидной улыбке. Маша на мгновение остолбенела: значит, подслушивала!

Загородив рукой лицо от света, кинулась по коридору к уличной двери. На вокзал! На вокзал!

Бежала, то и дело оглядываясь, и на ходу поправляла растрепавшуюся косу. Дробный стук ботинок по мостовой эхом отдавался сзади, ей казалось, что кто-то гонится за ней. Скорей, скорей на вокзал!

— Стой! Кто идет? — окрик из-за угла.

Словно споткнулась Маша — замерла на месте от страха, дрожа всем телом. Но странно — в голове сделалось ясно-ясно, будто выветрился хмель на бегу. Только сердце колотилось в груди так бешено, что казалось, там не одно, а два или три сердца.

— Кто идет? — повторил строгий голос.

— Из Кривуши я... Простая баба... Не стреляйте!

К ней подошли двое. Один с винтовкой, другой с наганом.

— Куда летишь как угорелая?

— Мужички, родненькие... деревенская я... Деваться мне некуда. Пустите на вокзал!

— А бежишь от кого?

— Пьяница какой-то хотел надо мной измываться.

— Обыщи ее,— приказал тот, что с наганом.

Высокий мужчина, закинув винтовку за плечо, с ухмылкой облапал ее и с той же ухмылкой доложил:

— Сама как граната... горячая. Видно, с постели прямо. Заберем-ка мы ее сабе?..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

— Погоняй, погоняй! — сердито ворчал Сидор Гривцов, полный черноусый мужик с большой родинкой на переносице.

Юшка нехотя дергал вожжами, глазея по сторонам:

— Лошадь, знамо, твоя. Мне не жалко, могу и ударить, да только за скотину бог спросит. И торопиться некуда. Парашка небось в постельке еще кувыркается...

Ты забыл, что ли, воскресенье ноне! Эй, ну, Воронок! А мой дед, помню, говаривал: ешь — потей, работай — мерзни, а в дороге малость спи!

— У голодной куме одно на уме. Ты мне, дармоед, зубы не заговаривай! Гони, говорю,— совсем озлился Сидор. Даже родинка на переносице задвигалась.

— А ты, Сидор, не забывай, я те таперича не батрак и в извозчики не напрашивался. Так, по старой дружбе поехал. Не по ндраву — слезу. Дорогу домой знаю.

— Дурак! — Сидор выхватил из-под Юшкиных лодыжек кнут и с маху стеганул Воронка по боку. Конь дернулся так, словно хотел вырваться из хомута, понесся галопом.

Сидор со злостью ткнул кнут в сено.

— Право, дурак. Чужую лошадь жалеет.

— Потому и жалею чужую, что скоро своя будет. Привыкнуть загодя хочу.

— От твоей болтовни и лошадь сбежит. Не разевай рот, видишь, встречные скачут,— попридержи малость.

Встречная повозка тоже замедлила бег.

Окрик:

— Эй! Сиволапые! Сторонись! Революция едет!

Юшка торопливо потянул вожжу. Когда повозки поравнялись, короткошеий парень, сидевший у пулемета, обрадованно гаркнул:

— Тпрр! Дядя Сидор! Мое почтение! Прокопыч, держи коня.— И соскочил с телеги.

Сидор сразу узнал Ваську Карася, племянника жены. Оглядел Прокопыча — где-то встречал его. А третий на повозке, с гармошкой, совсем незнакомый.

Карась расправил плечи, выставил напоказ перекрещенную пулеметной лентой грудь:

— Узнаешь?

— Как не узнать? На фронт, што ли?

— Фронт подождет! Сперва хорошие властя посадить надо! — Карась оперся ладонью о ствол пулемета.— Правду я говорю, дядька Юхим?

Юшка поскреб в бороденке:

— Сколько их ни сажали — все плохие! Завалящей лошаденки мне дать не могут!

— Верно, все плохие! К черту их! Сами смогем! Сами с усами! — И Карась картинно провел двумя паль-

цами по верхней пухлой губе, где едва заметно рыжели редкие волосики.

— Это как понять, Вася? — недоверчиво и удивленно уставился Сидор на Карася.

— Я сам не понимал. Тимофей твой растолковал.

— Видал его?

— Не только видал, а вместе большаков скидал. Он теперь поручик, а не прапорщик! С генералом за ручку! Мне велел у самого Чичкана обыск делать на квартире. Сделал в лучшем виде! — И без того узкие щелки глаз его совсем заплыли в довольной улыбке. Он слез с повозки, вынул из кармана портсигар и протянул Сидору:

— Портсигарчик что надо! Именной! Вишь, написано: «Товарищу Михаилу от наборщиков «Правды». Была твоя правда! Теперь наша! Закуривай, подешевело! И тебе, дядя, будет что на воз класть. Тимофей твой с головой.

Сидор папироску взял, но прикурить отказался.

— Дома ромат пущу, пусть старуха городской дым понюхает.— И положил за ухо, прикрыв торчащими из-под картуза черными волосами.

— А ну, бери и ты,— подал Карась Юшке.

— Не курю, без дыма душа прочернела,— ответил Юшка, даже не взглянув на Карася.

— Эх ты, батрацкая душа, чего робеешь? Хоть и спихнули твою заступницу-власть, да вить и мы тебе не чужие. Сколько лет тебя Сидор кормит — не гонит? Живи на здоровье, спасибо говори!

— И встаю и ложусь — за него молюсь,— буркнул Юшка, вынимая из-под сена кнут.

— Так где же, Вася, мне теперь Тимофея искать? — не скрывая радости, спросил Сидор.

— Да его все патрули знают! Спроси только. Вчера вечером я его к Парашке на извозчике проводил. Там краля его ждала.— И Карась доверительно мигнул Сидору.

— А ты што же не остался с ним? Свои, чай,— опустив глаза, спросил Сидор. Про кралю будто и не слышал.

— Приглашал он меня, да вить в городе улицы узкие. Разгулу нет. Мне большак милее! Муштра да козырянья мне печенку проели, хоть штопай! Сделал, го-

ворю, вам, господа офицеры, уважение? Сделал. А теперь, говорю, пустите птицу на волю — крылья поразмять... Видишь, какой трофей везу? Пригодится! А изобидит кто — зови меня!

— И не отобрали? — с восхищением спросил Сидор.

— У кого? У меня? А Тимофей Сидорыч зачем у власти стоит? Он мне разрешил. Я свою власть в селе ставить буду!

Сидор молча покачал головой.

— Были свояки, а теперь — родичи! — захихикал Карась и сунул Сидору пухлую потную ладонь.

Карась взобрался опять на телегу и лихо потряс кулаком в воздухе:

— Петруха! Дай самую веселую! Гони, Прокопыч!

Повозки тронулись.

Сидор перекрестился, сел поудобнее.

— Слыхал, Юшка? Так што рано тебе из батраков уходить. Побаловали вас, и хватит! А то дармоедов разведется много.

Юшка молча принялся стегать лошадь и сердито дергать вожжами.

— Ты што это, анчутка, разошелся? Как свою лупишь!

— Сам поспехать велел. Простояли сколько.

— Не бей, тебе говорю! Теперь спешить некуда.

— Тпрр! — Юшка неожиданно резво соскочил с повозки.— На тебя угодить — легче уходить! Погоняй сам! Мать твою бог любил! — И быстро зашагал по дороге назад.

Сидор задохнулся от ярости.

— Ну, па-гади! Кобель обтерханный! В ногах валяться будешь — век обиду не прощу! Тимошка узнает — шкуру с тебя спустит! — И изо всей силы хлестанул Воронка по боку.

2

Перед глазами — высоко под потолком — светлое пятно, искрещенное железными прутьями.

Вечер или ночь? Время словно остановилось. Ожидание, одно ожидание заполняет мозг. Ожидание — чего? Смерти? Нет, освобождения!

Чичканов смотрит и смотрит на это светлое пятно под потолком, будто именно оно принесет радость свободы.

На мгновение в памяти всплывает противный хриплый голос конвоира: «Ленина вашего убили и вас всех прикончим. Вся Расея против вас пошла».

Чичканов отворачивается от светлого пятна к стене. Нет! Быть этого не может!

«А как у нас в Тамбове это могло случиться?» — спрашивает горький внутренний голос. Чувство какой-то еще не осознанной вины сдавливает сердце. Это чувство вселилось в него еще там, на балконе «Колизея», когда среди мятежников он увидел двух подпоручиков, которых отпустил под честное слово в день разоружения «ударников». А ведь тогда он многих отпустил на свободу. Зачем? Верил в их благородство? В их честность? Вот и расплата за ошибку...

Чичканов встал, зашагал по камере, тиская в кулаках обиду на самого себя за мягкотелость.

Неужели никто не успел сообщить в дивизию Киквидзе? Уже вторые сутки... Офицеришки могут всех расстрелять, почувствовав себя господами положения.

Снова — тяжелые шаги, снова — угрызения совести, снова — горькие раздумья. Будто случилось досадное недоразумение: сорвано серьезное совещание, люди отвлечены от очень ответственных дел. А дел — непочатый край! Родную Тамбовщину хоть выворачивай наизнанку и вытрясай из каждой щелки жадных торгашей, хитрых паразитов и дураков. Да, да, и дураков! Тех самых дураков, которым даже думать лень: куда толкнешь — туда и покатятся, как с горы. Через них и случилось все. Дали себя обмануть офицерам и краснобаям городской думы Шатова!

У двери камеры послышались шаги и разговор. Лязгнул в ржавом замке ключ.

Чичканов встал с нар, готовый ко всему. Сколько же сейчас времени? Оглянулся на светлое пятно под потолком.

— Эй, ты! Выходи! — крикнул кто-то сиплым голоском.

Чичканов подошел к двери.

В освещенном керосиновыми фонарями коридоре —

обрюзгший старичок в помятой форме тюремного надзирателя. За ним, как истукан,— здоровенный детина с винтовкой.

Чичканов внимательно осмотрел старичка, потом его огромную связку ключей и улыбнулся:

— Где же это они тебя, дедушка, откопали?

— Шагай, шагай, не разговаривай! — взвизгнул старик.— Меня-то откопали! А тебя завтра и откапывать будет некому. Моли бога, что днем не кончили. Христово воскресенье было. Сам генерал вам, безбожникам, отсрочку дал, не велел ему праздник омрачать. Шагай, шагай!

— Да, плохи, значит, дела вашего генерала,— сказал Чичканов, идя по тюремному коридору.

— Не хуже твоих!

Около двадцать третьей камеры старик остановился, отстранил от двери часового и загремел ключами.

— Поближе к выходу, к расходным дверям.— Старик мстительно захихикал и, толкнув Чичканова в спину костлявой рукой, закрыл за ним дверь.

Из полутьмы навстречу Чичканову выступили трое.

— Товарищ Чичканов! — глухой голос Волобуева.

— Михаил Дмитриевич! — обрадованный голос Рогозинского.

Губпродкомиссар Носов молча пожал руку.

Чичканов шагнул к нарам, откуда послышался стон. Там лежал избитый до полусмерти командир Минского отряда Губчека Пасынков.

— Скорей бы! — простонал Пасынков.

— Что скорей? — Чичканов присел на край нар.

Ему никто не ответил. В тишине слышны были тяжелое свистящее дыхание Пасынкова да шаги часового за дверью.

— А Бориса Васильева освободили,— вдруг сказали из дальнего угла.— Говорят, у него брат офицер.

Только теперь Чичканов рассмотрел, что на полу по углам лежит много арестованных. «Всё наше руководство»,— горько подумал он.

— Васильев предатель, наверно,— зло бросили из того же угла.

Чичканов резко повернулся на голос:

— Я Бориса давно знаю. Он не может изменить! Не теряйте, товарищи, веры в освобождение!

Последние слова прозвучали слишком неестественно для обреченных. Молчаливые вздохи да стон Пасынкова были ответом на них.

Рогозинский сел рядом с Чичкановым:

— Михаил Дмитриевич, не агитируй нас. Плакать мы не собираемся.

— Вот и хорошо.— Чичканов перешел на шепот.— Давайте договоримся... Когда поведут...

— Тише... кто-то подошел,— предупредил Носов.

За дверью послышался разговор, шаги. Сменялись часовые. Переждав, Чичканов зашептал снова:

— Нужно договориться о сигнале... чтобы всем разом кинуться на конвой.

Заговорщический шепот отогрел души. Все потянулись к Рогозинскому и Чичканову, даже Пасынков приподнялся на локтях.

И вдруг все услышали взволнованный шепот из круглого глазка двери. Удивленные, испуганные неожиданностью, замерли...

— Товарищ Чичканов, товарищ Чичканов... подойди ближе,— говорил кто-то в «волчок»,— скорее!

Чичканов переглянулся с Рогозинским, медленно встал и недоверчиво приблизился к двери:

— Ну, я Чичканов.

— Товарищ Чичканов,— обрадованно зашептал очень знакомый голос.— Я Дадонов, помните? Из Минского отряда...

— Дадонов? Как ты сюда попал?

— Мы половину охраны заменили своими, не бойтесь! Ждите. Как на Уткинской колокол один раз ударит, наши «Колизей» брать будут.— Он вдруг запнулся и громко крикнул: — Эй, вы там! Тише! — И закрыл «волчок».

Чичканов постоял несколько мгновений, чтобы овладеть собой. Ему вспомнилась охота на уток по татановским болотам и этот приятный голос охотника. Круто повернулся и шагнул навстречу жадному безмолвному ожиданию.

3

Их было восемнадцать...

Восемнадцать сынов рабочих и крестьян, восемнадцать рядовых красноармейцев из Минского отряда Губчека, которым командовал Пасынков.

Их держали под арестом тут же, где они служили,— во дворе епархиального училища. Они видели, как избитого до полусмерти командира вывезли со двора на крестьянской подводе. Куда? Они не знали. Только молча поглядели друг другу в глаза и, не говоря ни слова, поклялись бороться до конца...

Перед вечером красноармейцы заметили, что охрана слишком «помолодела», безусые гимназисты едва держали винтовки. Значит, мобилизованные по домам расползлись.

Ночью, когда в городе все затихло, арестованные сгрудились у ворот. Короткий, негромкий свист — сигнал к действию — и ворота распахнулись.

Гимназисты обалдели от неожиданности и страха. Им заткнули рты обрывками потных портянок и повели, как арестованных,— на случай неожиданной встречи с патрулями.

Связанных обмотками гимназистов оставили на берегу Цны.

У Тезиковского моста легко обезоружили двух мертвецки пьяных унтеров.

К рассвету добрались до леса. Присели отдохнуть. Неожиданно где-то рядом послышались треск сучьев и испуганные голоса.

— Эй, кто там?

— А вы кто? — отозвались из кустов.

— Кто-кто?.. Тамбовские водохлебы! Иди сюда — узнаешь!

— Только уговор — ружьей не балуй, а то нас тут много.— И из-за куста показался саженный детина.

Подошел. Настороженно оглядел всех.

— Тык вы тоже хоронитесь? — спросил он и, не дожидаясь ответа, вынул кисет.— Налетай, братцы, на мой самосад! Дарька намедни принесла цельный мех!

Восемнадцать рук молча потянулись к кисету. Детина присел и пустил кисет по кругу.

Над головами потянулись облачка сизоватого дыма. Один из восемнадцати подсел к хозяину самосада и грозно сказал:

— Хоронитесь в лесочке? Нас на погибель оставили? А ну зови всех!

Детина испуганно озирнулся, вскочил и пронзительно свистнул:

— Эгей! Братва! Суды! Свои!

Лес разом ожил — пересвист, окрики, хруст сухих веток под ногами.

— Да тут, видать, целый полк!

— Как разоружили нас, так многие сюда и подались. Дом-то далеко. А градские, те многие у них остались.

Бойцов было больше сотни. Окружили они восемнадцать смельчаков плотным кольцом и жадно ловили каждое слово.

— Вы, знать, ждали, что винтовочки вам на подносе офицерики вернут? Власть на произвол бросили! А мы под охраной были и то... Вот четыре винтовки уже есть! Отдохнем, опять на добычу пойдем!

Из толпы выступил черный, похожий на цыгана, красноармеец:

— Я городской, у меня дома офицерский мундир есть. От брата остался. Он погиб. Может быть, пригодится? Пароль узнаем.

— А я вечером домой ходил... Богданова, нашего командира взвода, видел. Он от Киквидзе с докладом вернулся, его чуть не арестовали. Хорошо, что патрули оказались из его взвода. Он их пристыдил...

— Командира выбирать надо!

— Иконникова взводным!

— Пигаревича!

— Взводные есть, главного давай!

Один из восемнадцати поднял руку:

— Я беру на себя ответ за всех! Петром меня зовут, фамилия Кочергин. Из отряда Губчека. Хотите? — И обвел всех смелым взглядом.

— Давай!

— Бузуй!

— Кто боится?! Отходи в сторону! Слушай мою команду!

4

Вторую ночь веселилось в «Колизее» тамбовское офицерство. На втором этаже, в большом кабинете Рогозинского, были накрыты столы на двадцать избранных персон. Какой-то лысенький купчишка отдал безвозмездно в дар новой власти четыре ящика кагора. Этот поступок до слез растревожил сердце престарелого генерала Богданчика. Первый же тост пахнущий нафталином генерал поднял за добродушие купеческое, «присущее всякому русскому».

Купчишка сидел тут же, рядом с оратором, и был несказанно рад такому почету. Члены городской думы за столом! Сам городской голова Шатов напротив сидит! Слушая лестные слова господ офицеров, купец глупо мотал головой, со всеми чокался и, захмелев, полез к генералу целоваться. Тимофей Гривцов, как и подобает адъютанту, резко осадил его. Тот обиделся, стал было доказывать свою любовь к генералу, но его вдруг обнял сосед-булочник и в самое ухо крикнул:

— Ты лучше скажись, почему лысый?

Купчишка выпучил глаза, а румяный булочник под общий хохот провел потной ладонью по его лысине и пояснил:

— По чужим подушечкам волосики растерял... на радость вдовушкам-молодушкам, на горюшко супруженьке!

Купчик жалостливо обвел взглядом пустые бутылки и, видимо что-то вспомнив, испуганно открыл рот. Отрезвевшим голосом завопил:

— Вино-то чужое выпили, братцы! Жена архиерею вино продала, а я запамятовал! Грех-то какой, братцы!

— Последняя полюбовница вместе с волосьями память ему выдрала! — не унимался сосед.

Купец вышел из-за стола и кинулся к выходу. А вдогонку ему полетело:

— А-ха-ха-ха...

— О-го-го-го...

За столом кроме генерала сидели члены городской думы. Генерал рассказывал им про давние боевые походы, но слушатели уже клевали носами.

— Скоро рассвет, господин генерал.— Кочаровский с достоинством поправил прическу, делая вид, что собирается уходить.

— Не торопите, ради бога! — Разомлевший, веселый старик не хотел отрываться от застольной беседы.

— В городе неспокойно, господин генерал, дорожники и пороховики против нас. Мобилизованные разбрелись по домам.

— Бросьте пугать, комендант! Все большевики в тюрьме, расстреливайте их, пожалуйста, на здоровье. А меньшевики — болтуны, батенька, и трусы. Кого же нам бояться? Кого? — Он вопросительно и даже сердито повернулся к Кочаровскому, ожидая ответа.

Удар колокола Уткинской церкви так и застал генерала в этой воинственной позе. Все за столом замерли, насторожились, ожидая второго удара. Но удара не последовало. За стеной «Колизея» послышалась частая ружейная стрельба.

Кочаровский молча потащил пьяного генерала к запасному выходу.

...Через два часа Чичканов и Рогозинский в сопровождении отряда Губчека вошли в «Колизей». Из кабинета Рогозинского не успели еще убрать пустые бутылки. Красноармеец с ящиком на плече чуть не столкнулся на пороге с Чичкановым.

— Простите, товарищ Чичканов, что с пустыми встречаем. По народному обычаю вроде так не положено, да они все повыпили, эти христопродавцы!

— Ничего, товарищ, зато мы проводили их с полными зарядами! — Чичканов снял с себя пулеметную ленту и передал бойцу.— Береги, пригодится.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Как-то уж так устроена жизнь, что в воспоминаниях прошлое всегда кажется немножко иным, чем было: что-то оправдывается, что-то становится еще дороже, а что-

то осуждается так строго, что делается до боли ненужным в твоей биографии.

Василий Ревякин за два месяца скучной госпитальной жизни успел перебрать в памяти все, что там сохранилось от несложного крестьянского бытия в Кривуше. Он увидел себя и голоштанным мальчишкой, ездившим в ночное, и подростком, рано впрягшимся в работу, и сельским писарем Васяткой Ревякиным, который ходил к учителю Кугушеву на дом за интересными книжками.

Рос Василий сильным, здоровым, но драк сторонился. Первый же кулачный бой на широкую масленицу вызвал у него отвращение. Мальчишку из Озерков, которому Василий в азарте разбил до крови нос, он долго потом старался чем-нибудь задобрить. Свои, кривушинские, смеялись над этой жалостливой угодливостью. Особенно усердствовал Тимошка Гривцов, завидовавший силе и юношеской красоте Василия. Бывает же так, что люди, сами не зная почему и за что, невзлюбят друг друга с первой же встречи и, еще ни в чем не столкнувшись в жизни, чувствуют себя соперниками...

Конечно, и Василий мог бы завидовать Тимошке: у того и отец богатый, и учитель его выделял всегда, но Василий просто презирал его за въедливое нытье, за пухлое бабье лицо со сплющенным носом. Это больше всего и бесило Тимошку. Когда староста Потап Свирин взял Василия к себе писарем, Тимошка, учившийся уже в Тамбове, несколько раз писал старосте кляузы, будто Василий тайно соблазняет его дочерей и связан с конокрадами.

Василий бросил писарство и стал работать в поле с отцом. А вскоре отец задумал женить Василия, чтобы в доме были проворные женские руки. Василию нравилась Маша. А с тех пор, как стала его женой, не было для Василия человека милее ее. Как единственного сына, Василия не взяли служить. Это тоже было поводом для злобной зависти Тимофея, которого отец определил в школу прапорщиков, а Тимофей так привык вольничать с кривушинскими девками, что его и офицерский чин не прельщал.

Второй год войны не пощадил и Василия. Жаль было

оставлять Машу с Мишаткой, но неумолимая сила оторвала от родного дома. И тут Василий сделал ошибку, которая горьким комом в горле застряла на всю жизнь. На пересыльном пункте он увидел Тимофея Гривцова и, чтобы быть ближе к дому, согласился проходить шестимесячное обучение в Тамбове во взводе подпрапорщика Гривцова. Василию казалось, что годы стерли все, что стояло между ними,— ведь война всегда соединяет земляков какими-то, словно родственными, узами. Но оказалось, что Тимофей нарочно затянул Василия в свой взвод, чтобы напомнить ему кое-что, показать силу своего превосходства.

Он вызывал его из строя и, презрительно гримасничая, цедил: «Теперь будем учить рядового Ревякина шагать» — и гонял Василия перед строем до седьмого пота. Домой так и не отпустил ни разу за пять месяцев, а сам бывал в Кривуше частенько и, возвращаясь, передавал поклон от Маши. При этом таинственно улыбался и добавлял: «А она у тебя ничего... ягодка!»

Однажды Василий подкараулил Тимофея одного за казармой и, задыхаясь от злобы, сказал: «Брось, Тимошка, измываться, за себя не ручаюсь...» Тот отправил его на фронт. Это спасло Василия от унижений и обид.

Поезда увозили из Тамбова новобранцев, которым суждено было умереть «за веру, царя и отечество» на фронтах государства Российского. А Тамбов оставался дощатым, мещанским городом, сонно бормочущим молитвы по церквам.

Прасолы, пропахшие кожей и дегтем, стоя на коленях, истово просили господа бога, чтобы не переводились на лугах стада; торгаши, пропахшие селедкой и постным маслом, умоляли его сеять по «морям и окиянам золотые рыбки»; а булочники, румяные и круглые, как куличи, подобострастно вымаливали копеечку с пуда муки, чтобы можно было выпечь из нее пятачок. И в тех же церквах, обливая слезами свои посконные рваные хламиды, бились лбами об холодный пол бедные, голодные люди, выпрашивая у бога хоть крошечку сочувствия к поруганной, полуголодной жизни, отданной целиком во власть имущим. Эти люди кормили всю

Русь и — не могли прокормить своих детей до нового урожая.

Три года окопной жизни — немалая школа. Василий сдружился с ефрейтором Буровым из Козлова. Буров откуда-то доставал тайные листовки про царя, в которых правдиво описывалась жизнь солдат и их семей. От него же впервые услышал Василий про Ленина, стал сам читать неграмотным солдатам газеты, дважды ходил с ефрейтором на тайное полковое собрание.

В это время в полку вдруг объявился Тимофей Гривцов, прибывший с пополнением. Он уже был в чине прапорщика.

Триста восемнадцатый полк готовился к наступлению на австрийские позиции. Прапорщика Гривцова назначили командовать соседней третьей ротой. В наступлении, когда все смешалось, Василий неожиданно увидел впереди знакомую фигуру Тимофея, прячущегося за кустом. Руки сами подняли винтовку. Шедший рядом Буров остановил Василия: «Не так надо бороться, Вася...»

Наступление полка сорвалось. Прапорщик Гривцов сказался больным и был отправлен в тыл. А вскоре по фронту пронеслась весть о свержении царя. Василия вместе с Буровым избрали в полковой комитет...

С тех пор прошло уже больше года, Октябрьская революция сделала Василия красным бойцом, он командовал взводом на Южном фронте, был тяжело ранен, а то искреннее доверие солдатской массы, когда его избрали членом полкового комитета, настолько подняло Василия в своих собственных глазах, что он сразу словно переродился. Большевик Буров стал для него примером во всем.

2

Поезд подходил к Тамбову осторожно, недоверчиво, как подходит человек к дому, из которого только что стреляли.

Василий Ревякин стоял в тамбуре, нетерпеливо поправляя складки френча у пояса. Он подтянулся, выглядел бодрым, хотя лицо еще отдавало госпитальной желтизной.

Вагоны дрогнули и остановились. Василий поправил на плече ранец и сошел на перрон.

Заметив вооруженных красногвардейцев, подошел, предъявил документы.

Сзади кто-то больно ударил по плечу. Обернулся.

— Андрей!

Андрей Филатов, сын кривушинского богатыря, друг и ровесник Василия, широко расставил руки для объятий и радостно заулыбался:

— Васяха! Ну и ну! Вот встреча!

— Потише тискай, медведь! Из госпиталя недавно.

— Куда угораздило-то?

— В левую ногу. Два месяца отвалялся.

— А сейчас откуда?

— Из Козлова. В свой полк за документами заезжал. А ты что тут делаешь?

— Эшелоны сопровождаю. Сейчас отправка. Так ты в Кривушу? Передай моей Дашутке поклон! Тяжелая она... Тебя крестным запишем!

— А ты давно от своих?

— Недавно заезжал.

— Мои-то как там?

— Все живы... Да! Ты с Тимошкой Гривцовым в одном полку служил? — спохватился Андрей.

— В одном, а что?

— Он тут с генералом путался, адъютантом был.

— Так вон он куда из Козлова убежал! Где же он теперь? Арестован?

— Вместе с генералом утек.

— Упустили гадину!

— Сидор, отец его, верховодит в Кривуше, в Совет пролез.

— Ничего, скоро и за Сидора возьмемся! Новую жизнь ладить начнем!

— Давай, Васяха! Помогу! Вон ищут меня. В Кривуше свидимся!

Широкие плечи Андрея закачались в толпе. Василию легче стало на душе от этой встречи. Дома все живы, Маша ждет небось не дождется...

Эх, если бы не пакет в Губком! Махнул бы прямо с

вокзала домой. Кажется, до Татарского вала бежал бы бегом без передышки.

— Эй, товарищ комиссар! — окликнул Василия извозчик.— Садись, мигом домчу куда хошь!

— Мне недалеко, дойду,— ответил Василий, ощупав в кармане пакет и револьвер.

Шел по Дворянской, искоса поглядывая на затейливые узоры купеческих и помещичьих домов. Улица будто вымерла. Притихли в своих домах толстопузые! Выглядывают небось из щелок и дрожат от страха и ненависти!

Изредка встречаются патрули — красноармейцы. Они подозрительно осматривают одежду Василия. Вот еще двое... По разговору понятно — только что отвели в Чека какого-то офицера, пойманного на чердаке.

— Товарищи, где помещается Губком? — спросил у них Василий.

— А тебе чаво там? — поинтересовался высокий.

— К Чичканову. Из Козлова я приехал.

— А документ есть?

Василий показал проходное свидетельство.

— Иди в «Колизей», на второй этаж.

— Какой «Колизей»? Где он?

— Да вот он! Ты что, ослеп? С колоннами на углу.

— Дом Дворянского собрания?

Патрули переглянулись и снова подозрительно покосились на одежду Василия.

— Ты что? Давно не был в Тамбове?

— Три года в окопах отсидел.

— А-а! Ну, тогда закуривай! — И высокий красноармеец достал красный кисет.

Василий свернул большую козью ножку. Красноармеец положил было кисет в карман, но опять вытащил.

— Возьми еще с собой.

Красноармеец бросил в кисет Василия две добрые щепоти самосада.

— У Чичканова будешь — поклон ему от нас передай. Мы его из тюрьмы вызволяли,— с гордостью сказал до сих пор молчавший крепыш в кожаном картузе.

— Спасибо, братцы,— Василий бережно спрятал кисет.— От теплого слова табачок слаще.

8

Шло экстренное совещание, которым руководил нарком Подбельский, прибывший в Тамбов с полномочиями ВЦИКа.

Василий нетерпеливо поглядывал на дверь: время неумолимо клонилось к вечеру. За дверью чистый звонкий голос горячо доказывал:

— Именно потому, что тамбовские крестьяне революционно настроены еще с тысяча девятьсот пятого года, именно поэтому они и легко поддаются на всякую агитацию, на всякий призыв с чем-то и кем-то бороться. Эсеры этим воспользовались, у них нашлись хорошие агитаторы, а мы забросили агитацию, да и людей у нас толковых мало. Помните, врач один из Москвы приехал и на периферию просился? Как теперь выяснилось, он эсер, поднял в Хоботове мятеж продотряда, в который понапезли офицеры и сынки кулаков с провокационной целью...

— Это Борис Васильев говорит,— пояснил Василию секретарь,— замечательный оратор! Да ты, товарищ Ревякин, не волнуйся. На ночлег устроим в гостиницу.

— У меня есть где ночевать,— недовольным голосом ответил Василий.— Три года дома не был!

— Понимаю, но что поделать? Попробую поговорить с Чичкановым.— И пошел в кабинет.

Василий присел на край стула, подождал. Из головы не выходила мысль: теперь полдороги прошел бы...

Из двери высунулась голова секретаря:

— Заходи, товарищ Ревякин!

Как? Прямо на совещание? Василий одернул френч, вынул пакет и пошел за секретарем. В просторном, светлом кабинете за длинным столом сидели человек десять. Василий заметил среди них двух военных. Остановился в нерешительности — кому передать пакет?

— Здравствуйте, товарищ Ревякин! — За столом привстал черноволосый человек со строгими глазами.

— Здравствуйте... Вы товарищ Чичканов? — Василий подошел ближе и протянул пакет.— Председатель Коз-

ловского исполкома товарищ Лавров велел передать лично в руки.

Чичканов вскрыл пакет и быстро пробежал глазами по листку бумаги.

— Как чувствует себя товарищ Лавров? — оторвавшись от чтения, спросил он Василия.

— Хорошо. Работает.

— А тебя тоже арестовывали?

— Лавров пришел тогда в казармы к восставшим. Горячо говорил. Я поддержал его, и меня вместе с ним взяли. Шел бы, говорят, домой, стреляный хрен, в большевики не лез.

Люди за столом улыбнулись. Улыбнулся и Чичканов.

— Хорошо, что Латышский отряд из Москвы подоспел, а то и я оказался бы годным к службе на том свете,— заключил Василий.

— А тамбовцы, товарищ нарком, без нас обошлись,— весело сказал Подбельскому военный с очень заметным кавказским акцентом.

— Это значит, товарищ Киквидзе, что советская власть за короткий срок верных бойцов воспитала,— ответил военному Подбельский.— Даже те красноармейцы, что были обмануты офицерами, просят, чтобы их зачислили в дивизию Киквидзе. Возьмете?

— Возьму обязательно! Пусть они завтра на митинге-параде присягу примут. Повинную голову не рубят. Правильно я сказал русскую пословицу, товарищ Ревякин?

— Так точно, товарищ начдив.

— Жаль, что товарищ Ревякин к строю не годен,— улыбнулся Киквидзе.— Я взял бы его командиром роты.

— Вы и так все наши кадры забрали,— улыбнулся Чичканов.— Товарищ Рогозинский, Ревякина запишите на нашу памятную страничку. Крестьянин-коммунист на селе для нас очень дорог.

— Где ваш дом, товарищ Ревякин? — спросил Рогозинский, записывая что-то в маленькую книжку.

— В Кривуше моя семья.

— Ну что ж, вот и будем с вами, товарищ Ревякин, коммуну строить в Кривуше,— весело сказал Подбельский.

— Так точно! — отчеканил Василий.

Начдив Киквидзе встал:

— Готовь, товарищ Ревякин, больше хлеба для Красной Армии.— Он вышел из-за стола и положил руку на плечо Василия.— Оружие для самозащиты есть?

— Револьвер.

— Во зло не употребляй,— вмешался в разговор Подбельский.— Скажи крестьянам: надо помочь рабочим, надо помочь Красной Армии. Оцени обстановку и действуй разумно.

— Пришлем в ваши края продотряд,— сказал Чичканов,— держи с ним связь. Вот эту брошюрку возьми, почитай крестьянам.

Василий поблагодарил и вышел. Сердце его переполнилось радостью. Ему доверяют, на него надеются!

Секретарь Прокофьев проводил его до лестницы:

— Не вздумай идти в ночь, не рискуй.

— Теперь уж заночую. Не зима — зарю долго ждать не придется.— Попрощался и вышел на площадь.

В лицо пахнуло вечерней прохладцей. Василий подошел к реке. По дороге внимательно разглядывал людей, идущих навстречу, надеясь встретить знакомых. Припоминал свои поездки в Тамбов до войны.... Вон в той лавочке перед отправкой на фронт купил Маше цветастый платок. Она была так хороша в нем! Нет, видно, не уснуть ему в эту ночь...

4

Гривцов сидел на сундуке в рубленом полутемном чулане и прямо из бутылки пил самогонку. Парашка примостилась напротив, горестно подперев кулачком подбородок. Между ними, на сундуке, чадила тоненькая свечка. Из открытого погреба тянул холодный, пахнущий плесенью воздух.

Тимофей закусывал желтым соленым огурцом. Потом привычным жестом потянулся было отереть усы.

— А ты без усов-то красивше, Тимоша,— заискивающе заглянула ему в глаза хозяйка.

— Отстань. Не до этого! Лучше бы подумала, как мне на свет божий из этой ямы выбраться. Отцу накажи, что ли... Под мешками за город вывезет.

— Так он тебе и поехал в такую заваруху!

— Тише... Кто-то к калитке подошел.

— Пужливый стал. Послышалось.

— Тише, говорю,— прошипел Гривцов, приподнимаясь с сундука.— Щеколду кто-то трогает.

Стук в калитку повторился. Парашка вздрогнула, перекрестилась.

— Иди, спроси кто. Обо мне даже своим не говори.— Он выхватил из кармана наган и ужом скользнул в погреб.

Парашка закрыла дверцу и вышла из чулана.

— Кто там? — крикнула она с порога.

— Параша, открой! Это я, Василий Ревякин.

— А-а! Вася! Иду, иду.

— Здравствуй, Параша! Пусти заночевать.

— Заходи, Вася, заходи! Ночуй, пожалуйста, хоть месяц! — торопливо заговорила Парашка, старательно закрывая калитку на крючок.

— Во дворе у тебя все по-старому?

— По-старому... А ты, я вижу, возмужал, да и подурнел. И небритый! Маша-то разлюбит, гляди!

— Она к тебе заходила?

— Кто? — будто не поняла.

— Маша, говорю, бывала у тебя?

— А-а... бывала, бывала. Ну, пойдем, пойдем в дом.

— Как она? — поинтересовался Василий.

— Что — как?

— Здорова?

— Здорова, здорова! Красавица! Слава богу, огнем пышет.— Она привела его на кухню и показала на ведро: — Умойся, а я в погребец слажу, огурчиков достану. Угостить-то нечем, время проклятое!

— Время очень хорошее! Это ты зря...

— Вам, мужикам, хорошее. В любом доме с наганом кусок хлеба выбьете, а бабам одни слезы. Да ты умывайся!

— Я на Цну ходил. Умылся, ноги вымыл. А от огурчиков не откажусь.

— Вот я и угощу тебя.

— Ты все одна?

Парашка тревожно выпрямилась — к чему это он клонит?

— Так и не сошлась, говорю, ни с кем?

Парашка облегченно вздохнула, улыбнулась:

— С кем же теперь сойдешься-то? Кобели вы все пошли. И время нестойкое.

— Ну уж так и кобели,— улыбнулся Василий.— Давай я посвечу тебе в погребе.

— Не надо! — резко сказала Парашка.— Не надо! Все посветить обещают, а в темноту тащат... В своем погребе и впотьмах разберусь.

— Чудачка, не обижайся, помочь хотел.

— Ты свое дело делай, отдыхай.

— Ну, спасибо.— Василий сбросил ранец с плеча, снял картуз и сел к столу. Вынул кисет, закурил.

Парашка вернулась.

— Вот и огурчики. Кислые стали, а с осени хрустели. Хлеб черствый, не взыщи. Зато я тебя первачком угощу! — И она вынула из-за пазухи полбутылку, заткнутую бумажной пробкой.

— Не надо, не пью. Нельзя мне.

— Ну, не притворяйся!

— Сама, что ли, гонишь?

— Да ты что! Когда мне? В Полынках у знакомой купила. От ревматизмы хорошо натираться. Выпей, выпей, подкрепись, а то и с Машей-то не сладишь! — хмыкнула, стыдливо опустив голову.

— Душно у тебя,— уклончиво ответил Василий.

— А ты рассупонься, френч сыми!

— Ну уж ладно, для такой оказии выпью, пожалуй.

Она налила полный граненый стакан и подала ему. Василий долго, мучительно тянул, закашлялся, схватил огурец.

— Ну и питок из тебя! А я видела — прямо из бутылки пьют, сосут, как соску.

— Привычка нужна...

— Дома привыкнешь. Дядя Захар небось четверть припас.

Василий, морщась, съел огурец, поблагодарил.

— Ну и духота сегодня!

— Да ты сыми, сыми френч-то. Рассупонься.

— И то, пожалуй, разденусь.— Он снял френч, повесил его на спинку стула.

— Батя не заезжал к тебе?

— Все кривушинские заезжают. Всем нужна.

Василий долго расспрашивал, стараясь прогнать сон, но веки становились все тяжелее и тяжелее. И Парашка, как нарочно, разговорилась — прямо убаюкивает...

...Очнулся Василий от боли в переносице. Он спал, уронив голову на кисти рук. Испуганно вскочил на ноги — проспал! Уже солнце лезет в окно! Быстро натянул френч, подпоясался.

— Параша! Я ухожу!

Ни звука.

Вышел в коридор, позвал еще раз.

— Я в погребе. Картошку перебираю,— послышался голос из сеней.

— Ты чего же не разбудила? Проспал я!

Он вернулся на кухню, плеснул на лицо воды, протер глаза. По привычке сунул руку в карман — револьвер на месте. В боковой... а где же документы? Испуганно замер, вспоминая. Обшарил все карманы. Где мог оставить? На речке? Нет, нет, вечером почти у Парашкиного дома предъявлял патрулю. Парашка? Зачем они ей? А зачем самогон? Раздобрилась... «Сыми френч-то»...

Кинулся в чулан, нагнулся к погребу:

— Параша, вылезь на минутку.

— Чего еще? Двери все открыты, ступай с богом!

— Вылезь, говорю,— уже сердито крикнул он.— Несчастье у меня!

— Какое несчастье? — Парашка высунула голову из погреба.

— Документы пропали.

— Потерял? — притворно удивилась она, пряча гла-

за под надвинутым на лоб платком.— На речке небось выронил...

Василий теперь не сомневался.

— Говори, для кого документ взяла? — Он выхватил револьвер.

Парашка не ожидала этого. Впервые в жизни увидев черный, со страшной пустотой ствол нагана, нацеленный ей прямо в глаза, она взвизгнула и провалилась в погреб, загремев ведром.

— Не погуби, Васенька, все расскажу! Не утаю ничего, не погуби! — запричитала она в пустоте погреба.

— Вылазь, не трону!

— Спрячь пугач-то, окаянный!— Вся дрожа от страха, Парашка вылезла из погреба.— Он тоже вот так в грудь наставлял. А кому умирать охота?

— Кто наставлял?

— Тимошка! — заголосила она, сморкаясь в грязный фартук.

— Какой Тимошка? Гривцов?

Парашка кивнула и еще пуще разревелась.

— Ну, хватит орать-то, говори, где он?

— В погребе тут сидел. Ушел с твоей бумагой.

— Как? Он был тут? — Василий грозно шагнул к ней.— И ты молчала? Шкура продажная! Собирайся, пойдем в Чека!

Парашка бросилась на колени:

— Не погуби, Вася! Ради Маши не погуби! Вить я ее от позора спасла!

— От какого позора? — Он сел на сундук, раздавив огарок свечи, забытый вчера Парашкой.

— Тимошка обманом вызвал ее из Кривуши, вроде тебя встречать, а сам ночью...— И она рассказала все, как было.

Василий до боли в суставах сжимал рукоятку револьвера. Потом медленно встал и, не замечая Парашку, все еще стоящую на коленях, пошел к двери.

...Чичканова в «Колизее» не оказалось. Прокофьев сказал, что его следует искать в казармах, где идет смотр Тамбовскому полку, который Киквидзе включает в свою дивизию.

Василий подошел к казармам в тот момент, когда полк был выстроен на плацу и повторял за Чичкановым священные слова красноармейской клятвы на верность Советской Родине, на верность социалистической революции.

— «Я сын трудового народа, гражданин Советской Республики... Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня суровая рука революционного закона...»

Василий чувствовал себя виноватым. Он не мог простить себе, что так легко дал обмануть себя...

Над строем полка горело красное полотнище. «За власть Советов!» — прочитал Василий дорогие его сердцу слова. Он перевел взгляд на суровое лицо Чичканова, обращенное к красноармейцам. «Зачем отрывать его от дела? Пойду в Чека»,— решил Василий.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Два дня Маша отлежала в горячке.

Как прибежала на заре, кинулась на постель, так и не поднималась до сих пор. Первую ночь все бредила, кого-то умоляла спасти Василия. Захар и Василиса Терентьевна поняли, что с сыном стряслась беда, но допытаться не могли и оттого сидели, как на похоронах. Мишатка тревожно следил за матерью, прячась на полатях. Терентьевна то и дело мочила холодной водой полотенце и клала на голову Маше. Старая долго сдерживала слезу, но вдруг заголосила, запричитала, испугав внука.

— Не надо, ба! Не надо! — захныкал он громко.

Маша очнулась.

— Кто кричит? Что с Васей?

— Да мы сами не знаем, ждем, когда ты очухаешься, расскажешь... Попей молочка, лучше будет.

Стуча зубами о кружку, Маша сделала несколько глотков и, испугавшись своей беспомощности, разрыдалась.

К вечеру второго дня ее перестало знобить, и она сбивчиво рассказала Терентьевне без утайки все, как было.

— Коли не услышал бы тот офицер мой крик, изнасильничали бы, проклятые...

— Хватит уж горевать-то, опять затрясет. Прошло, чай, все, не тоскуй попусту, не терзай себя. Глядь, и Васятка жив останется. На войне не убили, неужли свои убьют? За что? Ну, подержат в аресте, да и пустят домой.

Захар сидел за печкой и, крутя цигарку за цигаркой, бросал недобрые взгляды в окно. Отсюда хорошо был виден дом Сидора Гривцова.

— Отец, а отец! Пошел бы к свату Юхиму. Он, бают, с Сидором в город ездил. Не разузнал ли чего про Васятку?

— Вон он сам бежит, легок на помине.

Юшка влетел в избу веселый:

— Пришел, что ли? Где он?

— Погоди трубить-то, трубач. Маша слегла.

— Почему такое? — выпучил Юшка серые испуганные глаза и шагнул в горницу к Маше.— Ты чевой-то, Манюшка? Вставай, не время хворать-то.

Маша молча схватила длинные крючковатые пальцы отца, прижала к горячей щеке.

— Да что с тобой, доченька?

Терентьевна скупо повторила рассказ Маши.

— Голова ты садовая! — вскричал Юшка.— Нашла, кому верить! Гривцовы сроду трепачи да жулики! Я почему прибежал-то? В обед Алдошка Кудияр приехал из Козлова. Васятку, грит, там видел. Френч на ём офицерский, весь блестит!

Маша недоверчиво покосилась на отца, и уже радостные слезы потекли по щеке.

— Поплачь, поплачь, доченька,— радостно заговорила Терентьевна.— Вся хворь слезами изыдет...

— Да перестаньте, плаксы! Моя радость побольше вашей! Получай, грит, коня, это тебе Василий прислал. Ему, мол, начальник за хорошую службу пожаловал. Я так и обмер: врешь, говорю, Алдошка! А он: не хо-

чешь брать, Захару отведу. А конь-то вороной, гривастый. Загляденье!

— Да сам-то он что же? Сам-то? — нетерпеливо перебила Маша.

— Самому, грит, в Тамбов пакет везти поездом.

— Да куда ж он в Тамбов-то? Схватют его там.

— Кончилась их схватилка! Сидор уж прибегал ко мне — барахлишко городское спрятать.

— И ты взял у него? — вмешался Захар.— Эх ты, горе-горюхино.

— А то что же, добру в земле гнить? Зароет вить. А у меня ребятня голая. Он думает: верну ему? Дудки-сопелки, в решете котелки!

Захар все еще хмурился, но радовался за Василия, может быть, больше всех. Он свернул было новую козью ножку, но Терентьевна шикнула на него:

— Будет чадить-то! Всю избу прокоптил! Поди посмотри лошадь!

— Пойдем, Захар, а то, я вижу, сумлевается Терентьевна. Да я сам еще как во сне. За ляжку себя щипал. С неба коняка свалилась. Пойдем, помогешь мне мазанку для нее накрыть. Готовил для коровы, да золота на рога не хватило, а тут задарма привалило! — И он захихикал, радостно обняв Захара.— Готовь, Терентьевна, самогонку, теперь вот-вот сам заявится!

Радость подняла Машу на ноги. Весь вечер и следующее утро она прибирала в избе, подстригла Мишаткины вихры, помыла его, надела новую рубашонку, которую сама сшила из своего старого серенького платья. И все подбегала к осколочку зеркала у окна, придирчиво всматриваясь в свое лицо — не подурнела ли за эти дни?

Во второй половине дня пошел проливной дождь. Мишатка прибежал с улицы весь мокрый — ходил на большак встречать папку.

Маша понимала, что Василий может задержаться по казенным делам, но какое-то предчувствие все толкало и толкало ее к окну, она сгорала от нетерпения.

— Замочит папку нашего, коль в дороге захватит,— тревожно говорила она сыну, в который уж раз подсчи-

тывая, сколько он ехал в Тамбов, сколько может пробыть у начальников.

А Мишатка все сидел на подоконнике, не спуская глаз с дороги, идущей к дому.

— Мамка, глянь, радуга! — вдруг радостно крикнул он.— Дождя больше не будет? Да?

— Где радуга? — Она наклонилась к окну, ласково притянув к груди Мишаткину голову, и, перекрестившись, прошептала:

— Слава богу! Яркая какая!

2

Летом дождь — своенравный упрямец и капризный баловник. Нежданно-негаданно налетит, незаметно исчезнет. И не нужен бы, да ничего не поделаешь. Забарабанит по крышам, зашуршит по лесу, захлещет путника в дороге чистыми, свежими струями. Хочешь — прячься, хочешь — снимай картуз да подставляй горячую голову... Прошумел, прошуршал, отхлестал и — нет его. Глядь, на небе радуга красуется, пестрая, как свадебная дуга.

Дождь захватил Василия у небольшого хуторка Светлое Озеро. Полил сразу, как из ведра.

С крылечка крайней избы послышался игривый женский голосок:

— Скорей, скорей, комиссар, сюда!

Василий кинулся к спасительному крылечку. И — остолбенел, не решаясь поднять ногу на ступеньку. На крылечке стояла молодая красивая женщина и улыбалась.

Он в нерешительности остановился у порога, прижимая левую руку к боковому карману, где лежал его новый документ.

— Да что ж ты стоишь, чудак, мокнешь? Заходи, не бойся. Бандитов нет. В доме давно уж мужиком не пахнет! — И засияла улыбкой... Выставила ладошку под падающие с крыши струйки воды.

— Спасибо, барышня,— ласково сказал Василий, поднимаясь на крыльцо.

Она стряхнула с руки воду и вдруг громко рассмеялась. Василий покосился на нее, потом осмотрел свою одежду,— может, над ним смеется?

А она то затихнет, то снова хохочет.

— Чего чудного нашла? — недовольно спросил он.

— На барышню еще похожа? Спасибо, парень.— И снова расхохоталась.

Василий осмелел, улыбнулся:

— А что, разве не барышня?

— Два года, как вдова... Мой муженек на фронте оставил голову.

Василий украдкой рассматривал ее лицо. На тонком прямом носу — царапинка. Длинные густые ресницы. И Василий почему-то решил, что именно эти ресницы, беспокойно взлетающие вверх, больше всего украшают ее.

Дождь припустил еще сильнее, еще громче забарабанил по железной крыше.

— А я тебя, комиссар, где-то видела. Ты чей? — И повела покатыми узкими плечами.

— Какой я комиссар? С фронта домой иду... в Кривушу.

— В Кривуше я никого не знаю, а вот тебя видела где-то.— И задумалась, снова набирая воды в ладонь.

— Не во сне ли? — пошутил Василий.

— А может, и во сне...

Почувствовав на себе мужской взгляд, веселая хозяйка смутилась. Ее маленькая рука поправила что-то на груди, потом скользнула по крутому тугому бедру.

— А ты что, городская, что ли? — спросил Василий.

— Мать была городская... барыня. А отец мужик, а я мужицкая дочь.

— Как же так случилось? — недоверчиво улыбнулся Василий.

— Коль узнать хошь, к отцу сходи, спроси.— Она отошла от столбика.

— Барыня не барыня, а на городскую похожа,— тихо сказал он.

— Чем? Ну, чем? — В ее голосе были и любопытство и задор.

— Вон и ручки маленькие, и так... все не сельское.

Она засмеялась, запрокинула голову, словно подставляя губы для поцелуя.

— Ручки! На, посмотри эти ручки! — Она приблизилась, обдав Василия запахом парного молока. На ладошках он увидел жесткие бугорки мозолей.

— Мать, может, и вправду барыней была, а я простая крестьянка. В сельскую школу только два года ходила, а теперь с теткой навоз ворочаю и в поле одна управляюсь. Вот те и ручки! — сердито заключила она, будто пожалела, что разоткровенничалась перед чужим человеком. Потом отошла на прежнее место, набрала в обе ладошки падающей с крыши дождевой воды и, заигрывая, плеснула в сторону Василия. И — странно! — небо вдруг посветлело, словно она промыла водой кусок стекла. Дождь свалился куда-то за ригу, упал там и затих. Над озером засияла радуга.

— Как тебя зовут?

— Соня.

Хотел назвать себя, передумал. А она не спросила. Смелая, а не спросила. Значит, и не надо. И вообще, дурь в голову лезет... Домой, домой скорее!

Он взглянул на радугу, поправил френч:

— Ну, спасибо, Соня, за привет, за веселый разговор. Домой спешу.

Она ничего не ответила. Василий сошел с крыльца, оглянулся.

— Ой, подожди! Подожди! Вспомнила! У Кульковых, в Падах, на стене карточка! Ты не родич Насте?

— Настя моя сестра.

— А моя хорошая знакомая. Я у них часто бываю.

— До свидания, тороплюсь я.— И, как бы сопротивляясь чему-то в себе, добавил: — Жена ждет, сынишка. Три года их не видал.

— Попей кваску на дорожку, как тебя...

— Василий.

— Да, да, Василий... вить мне Настя говорила. Память девичья. Постой, квасу принесу.

Василий выпил квас, ласково посмотрел на Соню и пошел прочь.

У мостка Василий оглянулся. Соня все еще стояла на крылечке и прощально махала рукой. Он тоже поднял руку...

Когда хуторок спрятался за раскидистой ветлой, Василий остановился, покачал головой, пожал плечами. Конечно, блажь в голову лезет. Скорей Машу увидеть, Мишатку!

Взглянул окрест — не будет ли еще дождя? — и быстро зашагал по травянистой обочине дороги, сбивая грязными сапогами дождевые капли.

Да, летний дождь не страшен путнику. Прошумел, прошуршал, отхлестал и — нет его! Глядь, на небе уже радуга красуется! Яркая, пестрая, веселая!

3

Маша кинулась Василию на шею, прижалась лицом к его холодной от дождевой влаги груди. Не плакала — прятала сгоравшие счастливым огнем щеки.

Василий на одной руке держал Мишатку, другой обнимал Машу и, улыбаясь, смотрел на отца и мать, вышедших вслед за Машей. Захар неуклюже топтался на пороге, ожидая, когда сын подойдет ближе к избе, а Терентьевна суетливо, на ходу осеняла крестом счастливую встречу.

По русскому обычаю, Василий поцеловал всех троекратно, и его первого пропустили в избу.

— Сымай картуз, умойся с дороги, я полью,— захлопотала, засуетилась Маша.

— Сейчас... мешок развяжу, гостинец достану Мишаку.— Он вынул несколько розовых петушков на палочках и два больших куска рафинада.— Держи, Михаил Васильевич! Подарок фронтовой, оттого и дорогой! — Василий ненасытно разглядывал лицо сына, теребя непослушные стриженые вихры. Потом торжественно извлек со дна мешка два кашемировых платка:

— А это, Михаил Васильевич, нашим мамашам! — Один подал Терентьевне, с другим подошел к Маше и накинул ей на плечи.

— И хозяину есть гостинец. Держи, батя, трубку!

Соседи уже подглядывали в окна, завистливо шептались. Терентьевна незлобиво прогоняла:

— Отдохнуть дайте с дороги, содомы! Завтра утром приходи да смотри!

Василий умылся, сел за стол. Мишатка, набегавшийся за день, задремал на коленях отца.

— Пей больше молока-то! Пей, сынок! Не смотри на нас, мы недавно поели,— уговаривала Терентьевна Василия.

— Да я и так горшок выпил! Как бы во вред не пошло.

Маша не сводила глаз с родного лица.

Уже смеркалось, когда закончили радостную трапезу. Огня не зажигали. Маша бережно подняла с колен Василия спящего Мишатку и отнесла на свою постель.

— А мы на сеновале ляжем,— жарко шепнула она Василию.— Там прохладнее, иди туда.

...После сладкого забытья Маша жалобно заговорила:

— А я ведь тебя ходила встречать... думала, ты наказал...

Василий притянул ее к себе:

— Молчи. Я все знаю.

4

На другой день по Кривуше проплыл длинный черный автомобиль и остановился у дома Гривцовых. Чекисты окружили дом, перерыли все Сидорово барахло, проверили все щелки. Жена Сидора рыдала, упав на кровать... Соседи попрятались в сараях. Только ребятишки любовались автомобилем.

— Да нет его дома, дорогие товарищи,— сквозь зубы скулил Сидор, шагая за чекистами по подворью.—

Разве он побегет в родное село? Тут его все знают, да и я его, подлеца, не прощу... Я ведь в Совете состою. Обчеством избранный... Нет его, зря беспокоитесь. Он теперь за границу небось махнул.

— Ну ладно, ты! Не скули! — сердито гаркнул на него рослый чекист.— А то тебя вместо него возьмем!

— Да разве отец за сына могёт? — продолжал ныть Сидор, провожая их к калитке.— От рук отбился. Сам его пять лет в глаза не вижу.

Когда автомобиль скрылся за поворотом, Сидор до боли скрипнул зубами и остервенело пнул сапогом грязную масленую тряпку, брошенную шофером на траву.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Ожидание встречи с Лениным преобразило Рогозинского. Рослая фигура его стала казаться еще выше.

— Ты, брат, выпрямился еще на два вершка,— пошутил над ним губпродкомиссар Носов, которого Губком направил в ЦК вместе с Рогозинским доложить о положении дел в Тамбове.

Они шли по Кремлевской площади, с любопытством оглядываясь по сторонам, и радостно улыбались друг другу.

— Да ты пойми, Носов, хлебный ты комиссар, ведь все как в сказке получилось. Только что в тюрьме под расстрелом с тобой сидели, а теперь по Кремлю идем, Ленина сейчас увидим!

— Я больше тебя волнуюсь, только виду не показываю. Боюсь я, вдруг что-нибудь скажу не так, осрамлюсь.

— Не бойся, все будет хорошо! Ленин чуткий и простой. Мне о нем перед отъездом Подбельский рассказывал. Держись, говорит, смелее и говори только правду.

— А Подбельский часто видит его?

— Еще бы! Нарком и уполномоченный ВЦИКа.

Они вошли в приемную в точно назначенное время.

— Владимир Ильич ждет вас,— приветливо сказал секретарь.

— Да, да, я жду вас, товарищи тамбовцы! — послышался голос из приоткрытой двери.

Рогозинский, а за ним Носов вошли в кабинет. Ленин шел им навстречу.

— Садитесь, тамбовские узники, рассказывайте! Как же это вы позволили себя запрятать в тюрьму? — Вернувшись к столу, он склонил слегка голову набок.— Я вас слушаю.

— Глупо получилось, товарищ Ленин,— ответил Рогозинский,— а сделать ничего было нельзя.

— Кратко и честно,— удовлетворенно улыбнулся Ленин.— Всё честное выражает себя кратко. Исповеди лукавых всегда длинны.

— Виноваты и мы, что мобилизованных плохо встретили,— осмелев, заговорил Носов.

— Ну, а это совсем хорошо! — Ленин резко опустил ладонь на папку.— Цюрупе с таким самокритичным продкомиссаром будет легко работать. Если, конечно, и свои местнические настроения вы подвергнете такой же самокритике.

— Нас в Тамбове горстка,— как бы оправдываясь за слова Носова, вновь заговорил Рогозинский.— А эсеров хоть пруд пруди.

— Мне Подбельский и Чичканов уже кое-что сообщили,— сказал Ленин.— Как бы там ни было, а эсеров прогнали сами крестьяне, одетые в солдатские шинели. Это показательнейший пример! Это прибавляет уверенности в нашей скорой победе! Сегодня я выступаю перед рабочими, обязательно расскажу им о позорном провале эсеровской авантюры в Тамбове! — Ленин захватил острую бородку в кулак.— А как, товарищ Носов, у вас в губернии с кооперативами?

Носов ответил:

— Ни одной частной лавки в уездах, Владимир Ильич.

— Это очень хорошо! Берите всю продовольственную организацию в свои руки. Кооператив — это место, где

встречаются интересы города и деревни, место, где начинается социалистическая торговля на селе.— Ленин внимательно посмотрел на Носова.— Ну, а хлеб лишний в деревнях все-таки есть или нет?

— Есть, но продотрядов мало,— ответил за Носова Рогозинский.

— А какие виды на урожай? — повернулся к нему Ильич.

— Урожай ожидается небывалый. Но кулаки во многих селах захватили в свои руки Советы, хотят меж собой разделить помещичьи поля.

— Был недавно у меня хуторянин ваш один, из-под Кирсанова.— Ленин откинулся на спинку кресла, вспоминая.— Кажется, Нюхнин фамилия... Лоб крышей над глазами, весь обросший. Хочу, говорит, свою коммунию делать. У него девять сыновей, столько же снох да две дочери-невесты. «Всего, говорит, на моем хуторе хватает, без кадетов и Советов жить хочу! Пусть меня никто не трогает, я никому не мешаю, свой хлеб ем! Спасибо, говорит, гражданин Ленин, что землю мужику дал, теперь мы знаем, что с ней делать, и никому не отдадим!» Я попробовал было объяснить ему, что не я землю дал, а революция, пролетариат, что этому пролетариату помощь крестьян нужна, хлеб нужен. Да куда там! Свое твердит: «Не трогайте нас, одни проживем в своей коммунии». Вот какую коммуну хотят преподнести нам сельские мироеды!

— С крестьянами трудно работать, Владимир Ильич,— пожаловался Рогозинский.

Ленин прищурился, изучая его лицо. Неожиданно спросил:

— А как вы думаете, товарищ Рогозинский, Петру Первому легко было бороды стричь боярам? А ведь он был наместником бога на земле — царь! Боялись его! — И, не ожидая ответа, продолжал: — А нам во сто крат труднее! Быть против насилия и насильно заставлять людей уничтожать остатки насилия на земле — должность архитрудная! К тому же многие рабочие еще не научились правильно разговаривать с крестьянами, а научиться они обязаны во что бы то ни стало, иначе как же крепить союз рабочего класса с крестьянством для борьбы против мироеда-кулака? Я верю, что вы пришли не жа-

ловаться на трудности, а просить помощи. И мы вам поможем...— Он ласково заулыбался, заговорщически подмигнул Рогозинскому.— Что ж, товарищ Носов пойдет сейчас к Цюрупе, а товарища Рогозинского командируем к петроградскому пролетариату.

Пододвинув листок бумаги, Ленин склонился над столом.

— Вот написал: «Прошу последний раз». Но вы мне не верьте и в Питере шепните, пусть не верят. Еще буду просить.— И снова склонился над листком.

Рогозинский уже освоился в этом маленьком кабинете, осмотрел все. Просто, ничего лишнего. Бросил взгляд на окно, в котором виднелось Замоскворечье, а дальше — бескрайнее солнечное небо, и подумал: там, за окном, огромная, вздыбленная, голодная Россия... И только этот простой и мудрый человек, склонившийся к бумаге, знает, как спасти ее от голода и от многочисленных врагов.

* * *

«Мы теперь переживаем здесь, может быть, самые трудные недели за всю революцию,— писал Владимир Ильич в тот же вечер Кларе Цеткин в Германию.— Классовая борьба и гражданская война проникли в глубь населения: всюду в деревнях раскол — беднота за нас, кулаки яростно против нас. Антанта купила чехословаков, бушует контрреволюционное восстание, вся буржуазия прилагает все усилия, чтобы нас свергнуть».

Он встал из-за стола и подошел к карте. Вот она, молодая Советская Россия, героически отбивающаяся от врагов, от разрухи и голода.

Вот они, синие стрелы, нацеленные в сердце революции, вот красные рубежи, их отстаивают русские коммунары. Но главный враг не отмечен на карте — голод. Огромные территории занял этот неумолимый, беспощадный деспот... Тамбовская губерния на карте выглядит маленьким клочком, но от нее и еще от нескольких таких губерний, может быть, зависит сейчас судьба революции...

Ленин вернулся к столу и снова подумал о Тамбове: кого туда послать? Туда надо самого энергичного. Урожай там невиданный, есть и старый хлеб, можно сломать кулаков, но нехватка организаторов и отрядов.

2

Восьмого июля 1918 года Рогозинский привез в Москву для отправки в Тамбов Первый коммунистический отряд имени Петросовета. Это был головной отряд целой армии питерцев, двинувшихся в поход за хлебом для голодной России.

Москва встретила питерцев тревожными новостями: только что был подавлен мятеж левых эсеров. Они убили германского посла Мирбаха, чтобы спровоцировать войну, арестовали Дзержинского и, захватив телеграф, успели дать несколько провокационных телеграмм.

Питерцы приуныли. Не примет их теперь Ленин, не до них ему. Хоть и сам звал, но что сделать! Рогозинский кинулся к начальнику Николаевской дороги. Пожилой седоусый железнодорожник успокоил Рогозинского: мятеж подавлен. На Пятом съезде Советов в Большом театре арестованы во время перерыва все главари мятежа.

Секретарь Ленина сообщил, что Владимир Ильич может принять товарищей питерцев в театре, так как Кремль все еще осажден эсерами.

В боковом зале театра мало было стульев, но не об удобствах думали посланцы питерского пролетариата.

Ленин вышел к ним бодрый, веселый:

— Здравствуйте, товарищи питерцы! Как доехали?

— Хорошо, Владимир Ильич! Как вы тут?

— Как с эсерами? Кончилось?

— Дзержинский жив?

— А как с немцами теперь?

Буря вопросов обрадовала Ленина — он молча улыбнулся, как бы давая им высказать все сразу.

— Дзержинский освобожден. Левые эсеры потерпели поражение. Вся их политика обречена,— отвечал Владимир Ильич.— Но утопающие хватаются за соломинку, эсеры могут еще испытать нашу силу. Надо быть готовыми. Вот вы будете в тамбовских деревнях... Не забывайте, что там до сих пор засилье эсеров, вам придется вести борьбу в трудных условиях. У кулаков много лишнего хлеба, его нужно взять для голодающего пролетариата. Но взять надо умело. Создавайте всюду комитеты бедноты, ищите поддержки середняков.— Он окинул всех взглядом и спросил: — Кто из вас раньше

работал в деревне? Вот видите... Значит, большинство из вас деревню не знает, не знает особенностей крестьянского быта, крестьянской психологии. Не вздумайте учить крестьян, как пахать, как сеять... Учите их политике нашей партии, разъясняйте настойчиво, терпеливо нашу программу, откройте ликбезы, учитесь сами и учите крестьян. А вот вам, товарищ,— обратился Ленин к молодому рабочему в форме реалиста,— придется блестящие пуговицы срезать. Крестьяне еще не научились отличать блестящие пуговицы жандармов от пуговиц реалистов. Зачем возбуждать недоверие? Итак — хлеб, хлеб, хлеб, дорогие питерцы. Знайте, что в Москве по рабочим карточкам за весь июнь мы не смогли дать даже по пяти фунтов кислого, перемешанного с мякиной и отрубями хлеба. А у вас в Питере сегодня дали по восьмушке... Ваша задача, товарищи,— дать хлеб голодающей России! Дать как можно скорее. Ведь осталось дотянуть всего несколько недель до нового урожая!

— А как же мы будем брать хлеб, Владимир Ильич? У нас нет оружия, пусть нам дадут винтовки,— сказал молодой рабочий.

— Э, батеньки мои! — улыбнулся Ленин.— А вы и не подозреваете, что у вас уже есть оружие. Замечательное оружие — большевистское слово правды! — Владимир Ильич подошел к каждому и на прощание крепко пожал руку.

Рогозинский слушал, смотрел на Ильича и жалел, что ему приходится остаться в Москве. Как бы он хотел поехать вместе с питерцами в Тамбов, ставший ему второй родиной! Но приказ партии — остаться в распоряжении ЦК.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Василий обошел всех вернувшихся с фронта односельчан. Вечерами они стали собираться на выгоне. Василий рассказал им, что Тимофей Гривцов участвовал в мятеже, вспомнил козловские события. А сам приглядывался к людям.

На третий день утром в дом Ревякиных пришел председатель Совета Потап Свирин. Худощавый, с длинным бородатым лицом, он походил на святошу-странника.

Семья сидела за столом, завтракала.

— Хлеб-соль вам,— сказал Потап, сняв старый замызганный картуз.— Не ко времю порог переступил, извиняйте.

— Садись с нами,— ответил Захар, угодливо подвинувшись на скамейке.

Василий отложил ложку, стал хмуро следить за незваным гостем.

— Что скажешь, дядя Потап? — спросил он нетерпеливо.— Ко мне али к бате?

— К тебе, Василий... Што в Совет-то не идешь? На тебя глядючи, и Андрей Филатов дома прячется. Могут разное подумать. Дезертиры, мол. Бумажка пришла в Совет. Чичкановым писана. Приди, посоветуемся. Там про тебя сказано.

Маша испуганно прижалась к Василию, заглянула ему в глаза.

— А что, в Совете посыльного нет? — вызывающе спросил Василий.

Потап помялся... Вкрадчиво сказал:

— Крестник ты мне... забыл, что ли? Вот и пришел полюбопытствовать. Какой он, мол, стал, крестник-то? Захар, вишь, помнит, а ты?.. Запамятовал?

— А я, дядя Потап, креста не признаю!

От неожиданности Потап испуганно качнулся, перекрестился.

У Терентьевны выпала из рук ложка.

— Што ты, што ты, Васятка, опомнись, окстись! Не гневи бога! — И бросила на него щепотью крест.

Захар чуть не поперхнулся. Сурово уставился на сына — дурит или вправду?

— Ну ладно, завтра приду... в ваш Совет! — жестко сказал Василий, взглядом выпроваживая Потапа.

— Зазря горячишься, Василий Захаров,— примирительно, но с явной угрозой сказал Потап, нахлобучивая картуз. И, уже обращаясь к Захару, добавил: — Зараза-то — она прилипчивая... Только и от заразы лекарствия всякие бывают.— Степенно поклонился и шагнул за порог.

— Да ты опомнись, опомнись, сынок, что говоришь-то,— просила Терентьевна.

Василий молча вышел во двор и принялся строгать новую оглоблю к телеге.

— Ты его сейчас не замай, мы с ним опосля потолкуем,— пообещал Захар.— А сейчас дело есть...

Он вышел из хаты и сел на приступку чинить хомут.

За воротами послышался веселый голос Юшки:

— Богохульники! Мать вашу бог любил! Ни праздников, ни родичей не признают! Кончай работу, всю не переделаешь!

— А ты как же думал: нынче — гуляшки, завтра — гуляшки... Так останешься и без рубашки! — сердито ответил Захар, постукивая кочедыком по кожаной обшивке хомута.— Тебе, купырю, чиню старый хомут. Васятка уговорил, я бы тебе не дал, горе-горюхино!

— Да ну? Неужто мне? Едрит твою налево и направо и чуть-чуть прямо... Спасибо, Вася, благодетель мой! Вы меня прямо обрядить всего взялись. Как бы мне от Сидора да к вам в батраки не попасть?

— Ну ты что ж, папаша?.. Вижу, за мной пришел? С дальнего фронта заходишь? — спросил Василий.

— Мать Авдотья не велела без тебя домой и глаз казать. Что ж, грит, такой высокоум стал наш Васятка, что и родней не нуждается? Отведи, грит, ему коня назад, коли нами брезгует... И опять же — вина церковного у отца Михаила на коленях клянчил. А для кого? Для тебя, мово благодетеля... Месяц караульщиком у отца Михаила был и весь труд за бутылку отдал, не пожалел!

— Пойдем, батя?

— Я оглоблю доделаю,— ответил Захар,— идите с Машей одни.

Маша вышла в новом платке, нарядная, счастливая. Изо всех окон пялили на них глаза кривушинцы. Василий чувствовал эти взгляды, молча кланялся встречным. Когда шли мимо дома Сидора Гривцова, Василий услышал шум на задворках.

Женский голос, надрываясь, орал, чтобы слышало все село: «Страхоидол проклятый! Чалдон захапущий! Ободрал все село. Люди головы клали, а ты баб по ометам шшупал! Чемерь тебя удави! А таперя своих гусей на моем огороде пасешь? Страхоидол! Видишь, защиты

нет у бабы, так ты свое гнешь, окаянный!» Сидор что-то бурчал в ответ, видимо уговаривая не кричать, а баба еще пуще расходилась: «Нет, буду, буду орать! Пусть все знают, какой ты кровосос есть! Страхоидол ты, анчутка!»

— Это соседка отчитывает мово кормильца,— хихикнув, пояснил Юшка.— Он ей с другой полюбовницей изменил... Срамное дело!

Василий молчал до самого Юшкиного дома. У канавы обернулся и окинул взглядом село...

Вот она, родная лапотная Кривуша! Всюду саманные хатенки, издали похожие на кучи навоза. Только несколько кулацких каменных домов, крытых железом, возвышаются над этой навозной стихией.

2

Из хаты Юшки высыпали подростки, запрыгали возле Василия, а старший, Панька, белокурый парень, солидно заломив козырек большого картуза, крикнул им:

— Чего крутитесь, пошли на канаву! Маманька не велела мешать. Доброго здоровья, дядя Вася!

— Здравствуй, Паша, здравствуй! Скоро в солдаты, брат! Какой герой-то вырос, а!

Маша расцеловала всех своих братьев и сестер и первая пошла в хату.

— Сначала погляди-ко, какой терем твоему коню отгрохал,— счастливо заговорил Юшка, направляя Василия на подворье.— Мне бы теперь сошку да тележку, и я сам се барин! Там и коровка, глядишь, сама прибежит. Где лошадью пахнет — там жди корову.

Вороной мерин из полутьмы саманки сверкнул белком глаза и снова уткнулся в наскоро сколоченный ящик со свежей травой.

— Панька у меня за конюха. Пасти не пускаю, боязно: налетят, отберут. А травы нарвать нетрудно. Ну, пойдем теперь к Авдотье, заждалась.

Теща, увидев зятя, низко поклонилась ему, утерла фартуком губы, поцеловала в лоб.

— Умница ты наш, соколик желанный... Пришел-таки, а я все глаза проглядела — думала, забыли вы меня,

старую, а отойти от дома мне никак неможно... Минутки слободной нету.

Василий подал Авдотье отрез черного сатина.

— Ах ты, господи, как же мы тебя благодарить-то будем?

— Вы уж отблагодарили, мамаша.— И Василий указал глазами на жену, перешептывающуюся с отцом.

— Совет вам да любовь, детки,— перекрестилась Авдотья.— Садитесь за стол, угощу вас, чем бог послал.

Юшкино жилье показалось теперь Василию еще более убогим, чем раньше,— видимо, потому, что за три года скитаний много хороших домов повидал он на Донщине, на Украине...

Стол с исскобленной ножом крышкой уже врос в глиняный пол. К нему придвинули от стен качающуюся скамью, а сбоку — можно сесть на старый крашеный сундук, стоящий на кирпичах, которые Юшка тайком выломал из церковной ограды.

— Что на стол смотришь? — перехватил Юшка взгляд Василия.— Доски потоньшели? Так им и надо: не поддавайся! А сучки-то держатся, кубыть железные! Они мне сродни. Меня все скоблят, кому не лень, а я все торчу на белом свете. А ну, Авдотья, накрывай сучки!

— Давайте посидим так, без угощения,— предложил Василий,— мы ведь недавно завтракали.

— Не обижай, Вася, милый, не обижай. Чем богаты, тем и рады.— Авдотья нагнулась к сундуку, громыхнула большим ржавым замком.

Юшка кинулся ей на помощь, craналег — и замок со скрипом подался. Со дна сундука Авдотья достала белую скатерть, велела Маше накрыть стол. Потом в ее руках оказался небольшой сверток из пожелтевшей от времени газеты, перепоясанный пестрой тряпицей, видимо оборкой от старой юбки. Из свертка, к удивлению Василия, теща извлекла две блестящие, почти новые вилки и две такие же хорошие чайные ложечки — приданое от Авдотьиных богатых родственников.

— Чаи мы не пьем, вилками тоже делать нечего, так вот и лежат они тут,— оправдывалась Авдотья, закрывая сундук.

— Авдотья! Мать твою бог любил! — вдруг сердито заговорил Юшка.— Не мы одни так живем! Все мужики, как на станции, сидят и ждут чево-то... Всё по заветным уголкам да по узелочкам попрятали до красного дня. Вот придем к постоянному месту жительства, в хоромы долгожданные вломимся, накроем стол из красного дерева скатертью-самобранкой, и — доставай тогда вилочки-тарелочки из заветных сундучков, втыкай в любую лакомству, кушай на здоровье, дорогой товарищ человек! А мужик — он человек! — Юшка достал из-за божницы черную бутылку. — Вот и дождалась эта бутылочка моего благодетеля, вот и вилочки дождались хороших рук!

Василию показалось, что глаза тестя горят каким-то мудрым и грозным огнем, который сжигает его изнутри, и Василий с уважением подумал: такие вот бедняки за советскую власть на смерть пойдут.

— Стакашков у нас нету. Не напасешься их. Железо-то, оно попрочнее.— Юшка налил в железную кружку кровяно-красной жидкости и подал Василию.

Авдотья поставила на стол вареную картошку, достала из печки противень с пышками и, набросав их в фартук, тоже поднесла к столу:

— Ешьте, дорогие мои, от всей души старалась, да только мука-то таперича грубая.

— Ничаво, крестьянский желудок подкову перетрет,— пошутил Юшка.

Василий выпил с Машей пополам, взял пышку. Юшка налил себе немного, глотнул одним махом, крякнул. Потом подал Авдотье и принялся затыкать бутылку:

— А это Захару с Василисой. С собой возьмете.

Авдотья подняла кружку:

— Я и без вина, детки, пьяная, только для такого дорогого гостя выпью всё до дна!

— Пей, мама, пей. Сладкое вино, как причастие,— весело сказала Маша.

Авдотья выпила, утерлась фартуком:

— Может, лошадка выручит нас из нуждишки да из долгов. Земля таперь есть, а своя земля и в горсти мила. Только вот Юхим мой колготной да непутевый. Скажешь ему: давай долги сочтем, а он: э, мать, чаво их считать-

то! На том свете угольками расплачусь со всеми!.. А таперь с конем извел нас... На печке, где спит, проломал стенку и стекляшку туды вставил. Ночью фонарь со свечой вешает у лошади и смотрит в ту стекляшку. Среди ночи Паньку будит: «Панька, а Панька! Что-то мерин всхрапнул. Не заболел ли? Подь глянь!» Бежит малый, а вить поспать охота, с улицы стал поздно приходить.— Авдотья, захмелев, разговорилась, а Юшка, склонив голову набочок, смотрит на нее добрыми детскими глазами и, старательно разжевывая пышку, смеется над ее словами.

Василий следит за тестем. Вон его жилистые, сухие, узловатые руки... Сколько они переделали дел для других? Сколько стерлось на этой коже мозолей? И чем только жив этот человек? Ведь, кажется, в доме давно уже шаром покати, а дни бегут, и жив Юшка, да еще и шутить не перестает.

И вспомнился Василию берег Дона под Воронежем, где стоял он со своим полком... Сухой горячий песок... Из него, казалось, и расти-то ничто не может, но зеленовато-сизые огоньки чабреца видны по песку. Сухие, корявые корни пластаются, уходя глубоко в землю: это они достают оттуда по капельке сок для душистых зеленосизых цветочков...

Что нужно Юшке для счастья? Чувство справного хозяина? Лошадь, корова, крепкие саманные стены? Да, всего этого с избытком хватит на его сегодняшнюю мечту. Но Ленин хочет сделать Юшку хозяином России, а не хозяйчиком клочка земли с ветелкой на канаве. Он видит батраков в авангарде огромной армии крестьян, переделывающих жизнь деревни. Сколько потребуется лет, чтобы поднять Юшку до такого сознания, чтобы вырвать его из темного мужицкого царства жадности, равнодушия и набожности? Ох, нелегко будет это сделать!

3

Прежде чем пойти в сельсовет, Василий зашел к Андрею Филатову.

На завалинке сидел отец Андрея — Семен Евдокимович, сутулый богатырь грузчик, некогда таскавший на спине по двенадцати пудов.

— К Андрюшке? — хрипло спросил Семен Евдокимович, кашляя.— Он к Мычалиным побежал. Позгоди.

Василий сел рядом.

— Как же вы, дядя Семен, власть Потапу отдали?

— А кто ее отдавал?.. Сам взял. Мне, што ли, ее, власть-то? Я буквы ни одной не знаю. И все так. Вот и оказалось: власть-то никому не нужна. Мужику не власть — земля нужна!

— А Потапу она зачем, власть-то?

— Кто ж его знает. Для почета, знать. Он любит почет. И Сидор любит.

— Эх вы, темнота! Ведь мы коммуну с вами должны создавать.— Василий сердито раздавил сапогом окурок, встал.— Некогда мне ждать, дядя Семен. Скажи Андрею, чтобы в Совет шел.

В сходной избе сидели Потап и Сидор. Василий, не глядя в сторону Сидора, подошел к председателю:

— Где бумага из Тамбова?

— У меня она,— послышался голос Сидора.— Ты што же, не опознаешь меня аль здоровкаться не хошь?

— Стало быть, не хочу... с контрой не знаюсь.

— Это кто контра? — привстал с лавки Сидор.— А ты знаешь, мы с Потапом — советская власть? Опчеством выбраны!

Василий резко повернулся к Сидору, сунув руку в карман:

— А ну сядь, кулацкая власть! Сынок твой восстание в Тамбове поднимал, холуем у генерала был! А ты тут командуешь?

— В волость поеду жаловаться! — брызгая слюной, крикнул Сидор.

— Без волости обойдемся. Давай бумагу!

Сидор злобно бросил листок под ноги Василию и выскочил из избы.

— Это кто же тебе, Василий Захаров, такую полномочию дал с выбранной властью так гутарить? — И без того длинное лицо Потапа еще больше вытянулось, он цедил слова сквозь зубы.

— Пролетарская революция дала полномочия! — не сдерживаясь, крикнул Василий.— А вы что же думали? Мы власть для вас завоевали? Обрадовались? Баб да старых дураков умаслили! Власть захватили, грамотеи!

— Одумайся, Васька! — крикнул Потап.— С огнем играешь! Против опчества идешь! Сходку соберу!

— А мы сейчас свою, пролетарскую, сходку соберем,— заметив мелькнувшую в окне фигуру Андрея, сказал Василий.— Андрей! — обернулся он к запыхавшемуся другу.— Давай бедняков и фронтовиков собирай на сходку. Революция беднякам власть дает, комитет бедноты избирать будем! У меня декрет Ленина с собой есть.

— Все понял,— обрадовался Андрей.— Сейчас всех облечу!

Проводив Андрея, Василий сел на лавку, ожидая, когда уйдет Потап. Тот все еще сидел за столом и растерянно наблюдал за Василием.

— Ну, а ты чего ждешь, дядя Потап? — уже мягче спросил Василий.— Не в бедняки ли записаться хочешь?

— Я председатель Совета, меня выбрали, я должон службу нести. И по той бумаге Совет тебе поможет комитет избрать.

— Комитеты бедноты избирают бедняки. Мы без вас обойдемся.

— Ну хорошо,— угрожающе встал Потап.— За самоуправство опчеству ответишь! А мне не велика корысть, хлеб убирать пойду.

В дверях Потап чуть не столкнулся с вооруженным человеком.

— Скажите, кто председатель сельсовета?

— А тебе зачем? — недовольно буркнул Потап.

— Продотряд разместить. Я начальник отряда.

— Пусть вон самозванец размещает! — метнул Потап злобный взгляд на Василия и скрылся за дверью.

— Вы кто? — спросил вошедший Василия.

— Организатор бедноты.

— Ревякин? — радостно поднял белесые юношеские брови начальник отряда.

— Да... Откуда ты меня знаешь?

— Я Панов, из Петрограда. Мне Чичканов про вас сказал.

— Ну вот и хорошо. Вовремя явился, товарищ Панов. Ох как вовремя! Я ведь сейчас сельсовет разогнал.

— Зачем же? — насторожился Панов.

— Как зачем? Для кулаков, что ли, власть завоевывали?

— Он разве кулак? Не похож как будто.

— Много развелось волков в овечьей шкуре. Поживешь — увидишь.

— Тогда пролетарское спасибо! — Панов крепко пожал руку Василия.

— Весь отряд из Питера?

— Нет, из Питера один я. Отряд тамбовский. С завода.

— Занимайте сходную избу и амбар. Сена настелим. Спите на здоровье. Не зима! А сейчас помогай, товарищ Панов, кривушинской бедноте власть отнять у кулаков.

4

Захар не пошел на собрание. До самого вечера ходил по подворью, не зная, что делать, за что взяться. Ждал сына, чтобы поговорить откровенно, начистоту. Но сын пришел не один. Молодой парень в военной форме приветливо протянул Захару руку. Сразу видно — городской.

А Василий вернулся разговорчивый, веселый.

— Хотели и тебя в комитет, батя, да ведь нельзя из одной семьи двоих.— Он сел за стол, усадил рядом Панова.

— Кого же еще-то сосватали? — хмуро спросил Захар.

— Андрей Филатов, Кудияр, Мычалин Сергей и вот товарищ Панов из продотряда... Питерский рабочий.

— Как же тебя, сынок, кличут? — поинтересовался Захар.

— Алексей,— ответил Панов, усердно работая ложкой.

— Военный?

— Нет, я учился в реальном, потом на завод работать пошел. На Семянниковский. Слыхали про такой?

— Нет, не слыхали... Где нам? Не обессудь, что ужин плохой.

— Да у вас царский стол! Если бы вы знали, что мы едим в Питере! Дети пухнут!

— О господи,— перекрестилась Василиса.

— Оттого и голодают,— строго сказал Захар,— что креста не признают и богу не верят.— И метнул на Василия уничтожающий взгляд.— Господь карает за грехи...

Панов переглянулся с Василием, отер губы.

— Спасибо, Захар Алексеевич, Василиса Терентьевна, спасибо. Наелся как следует. Давно не ел домашней каши. Пойду проверю, накормили ли моих бойцов.— И встал из-за стола.

— Не на чем,— буркнул Захар. Он ждал, что гость перекрестится, но не дождался.

...Василий проводил Панова до ручья, бегущего по Кривушинскому оврагу.

— Ты понимаешь, Алексей, отец хороший мужик, честный, но...

— Не объясняй, понимаю.

Захар ожидал Василия на крыльце, загородив собою дверь:

— Так ты что же... коммунистом стал?

— Да, батя. За большевистскую правду буду бороться, пока сил хватит.

— Так-так... А может, пожалел бы отца-то? Не срамотил бы на все село?

— А может,— в тон отцу ответил Василий,— отец признает сына взрослым? У него у самого уже семья...

— Ну что ж... знать, и я перед богом виноват. Не совладал, упустил. Пороть поздно... Эх, горе-горюхино! — едва слышно заключил он и, сгорбившись, ушел в избу.

Василий закурил, постоял на крыльце, всматриваясь в тревожную темноту села.

Тихо подошла Маша:

— Как же я-то, Васенька?

— Чего тебе?

— Неужели ты кресту не веришь, в бога не веришь?

— Не верю...

— Как же мне-то?

— Коли любишь — с безбожником жить будешь.

— Грех тебе, Вася, сумлеваться во мне. На смертушку страшную пойду за тобой.

— Ну вот и хорошо! — Василий ласково обнял ее.

...А Захар долго еще ходил по избе. Крестился, просил бога вразумить непутевого сына и каждую молитву заключал своим неизменным: «Эх, горе-горюхино!»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

С вечера к сходной избе потянулись девушки и молодки. Продотрядчики успели перемигнуться с ними... И вот они уже тут как тут. Жаль, нет гармошки или балалайки, а то бы... Но и «под язык» петь и плясать можно. Тонкий девичий голосок несмело запел:

Сирень-ветка, сирень-ветка,
сирень-ветка хороша,
кто в любови понимает,
тот целует не спроша.

Бойкий звонкий голос молодухи ответил:

Я плясала, плясала,
с меня шаль упала!
Ребятишки-шваль,
поднимите мою шаль!..

Продотрядчик Петька Курков, конопатый курносый крепыш, самый молодой в отряде, выскочил из избы, заломил картуз набок, выпустив на волю курчавый чуб.

— Здравствуйте, дорогие товарищи девушки! — Он жеманно поклонился.— Привет вам от рабочего класса, пролетариата, то есть. И от меня, Петьки Куркова, лично персонально!

— А ты нешто рабочий класс? — смеясь, спросила кудрявая рыжая молодка.

— Я, можно сказать, артист.., из рабочего класса, а отец мой тамбовский железнодорожник. И я хоть артист, а могу фуганить, рубанить, дыры хорохорить, фортепьяны фортепьянить.

— Ха-ха-ха...

— А нам сказали, что вы грабители.

— Это, дорогие девушки, наговор. У грабителей животы за ремень выползают, а у меня видите? — Он сунул руку за широкий обвислый ремень.

Девчата захохотали.

Его окружили, жадно ловя глазами крепкие плечи и милое курносое лицо с залихватским чубом. Даже часовой, шагавший вокруг хаты, остановился послушать, как Петька точит лясы.

Панов следил за Петькой через окно. Покачал головой и сказал политкомиссару Забавникову, пожилому рабочему, сидевшему рядом на лавке:

— Прямо настоящий артист. Ему бы на сцене выступать.

— Придет время — будет выступать,— ответил тот.

А Петька уже плясал вприсядку, похлопывая ладонями то по земле, то по груди, а то и по «сиденью», вызывая этим взрывы смеха и вольные шуточки молодок. Он плясал под общий наигрыш и ритмичные удары в ладоши, а изредка в этот шумовой оркестр вплетались и бесшабашные голоса частушечниц.

И — кинулась рыжая в круг к Петьке:

Конфеты ела,
похрустывала...
Меня мил целовал —
я не чустывала...

Петька вошел в азарт, подскочил, ухнул и тоже запел:

Как дед бабку
завернул в тряпку,—
поливал ее водой,
хотел сделать молодой...

А та, рыжая, подплыла к Петьке павой и, заглядывая в глаза, тоненько так затянула:

Милый мой, для тебя,
еще раз — для тебя,
а еще для кого —
я не сделаю того...

— А что, товарищ Панов,— заговорил комиссар Забавников, поглядывая в окно,— почитать бы им что-нибудь... Как думаешь, будут слушать?

— Пригласи,— ответил Панов.— Только керосину в лампе мало. Кулаки пожгли. Видать, ночами заседали.

Пожилые продотрядчики сидели на корточках у порога, в их руках мигали красные огоньки цигарок. Они увлеклись весельем, покрикивали, подбадривали Петьку, поджигали стоящих рядом молодок на пляску. А их и поджигать не надо — сами рвутся.

На улицу вышел Забавников и, дождавшись конца пляски, громко объявил:

— Приглашаем вас, барышни, к нам в гости. Мы вам хорошую книжку почитаем.

Приглушенный говорок пробежал по кругу и замер где-то за Петькиной спиной.

— А то што ж... и это дело! — вызывающе ответила рыжая плясунья, взмахнув платочком, который слетел с ее головы во время пляски.— Што ж, пошли, девки, побаски слухать?

— Пошли!

2

В ту же ночь задворками, по огородам, к дому Юшки крадучись шел Сидор.

Дверь Юшкиной избы оказалась открытой.

— Есть кто дома? — тихо спросил Сидор, сунув голову в темный проем двери.

— Есть, есть, проходи. Кто там? — ответила Авдотья.

— Это я... Сидор.

— Батюшки-матушки,— растерялась Авдотья.

— Што дверь-то ночью нараспашку держите?

— А чего у нас красть-то? Духоту да смехоту, как отец скажет?

— Где сам-то?

— Да все с конем, все с конем. Слышишь? Как с человеком гутарит! Чуть языком не облизывает. Садись на лавку. Темно у нас, как в погребе, свечка вся сгорела.

Сидор молча нащупал лавку, сел.

— Упадом падает мой мужик. Я уж говорю ему: чем так убиваться, лучше батрачь всю жизню. Таперь вот рыдван ищет, с ног сбился. Утром в Ивановку бегал. Услыхал от кого-то: у Завидона рыдван за ригой валяется старый — и побег. Вернулся — ноги едва волочит. Лег на лавку: дай, грит, полушубок. Даю. А он его не под

голову, а в ноги. С ума спятил отец! Грит, ноги-то работали, им отдых нужон, а голова бестолковая заслужила того... Вот она и есть — духота да смехота... От кого их прятать?

— Ай кто пришел, Авдотья? — спросил Юшка, появившись в дверях.

— Сидорушка к нам пришел, отец, кормилец наш.

— А, советская власть! Какая нужда в ночь пригнала? В батраки больше не наймусь. Ты бы вот, советская власть, рыдванчик мне спроворил. Хоть завалященький...

— А что, если я с этим и пришел к тебе? — с ухмылкой сказал Сидор.

— Врешь! Свой старый не отдашь, а в селе нет даже ступицы гнилой нигде. Я все обрыскал.

— А вот и отдам,— испытывая Юшкино терпение, ухмыльнулся Сидор.

— Не пойму я тебя: куда ты гнешься, куда ломаешься?

— А вот и понимай: телегу тебе даю. Время, Юхим, пришло другое. Давай забудем старые несогласки. По земле теперь родниться надо. Ведь в одну землю-то сохи втыкаем. А еще то ли будет!

— Да ты што?.. И вправду рыдван дашь? — обрадовался Юшка.

— Зря слов не бросаю. Приводи завтра своего вороного и запрягай.

— А не попятишься опосля? — все еще не доверяя, подошел к Сидору Юшка.

— Вот те крест.— Сидор махнул в темноте пальцами перед лицом.

— Погодь, погодь, а што я должон тебе за рыдван делать? Не даром же...

— Даром, Юхим. Я вить твои труды помню, не забудь и ты мое к тебе благоволение... Тебя-то в комитет выбрали?

— Васятка от нашей родни.

— Еще кого же почитать?

Юшка сказал. Он механически отвечал на вопросы, а думы его были далеко. Он хорошо помнит Сидорову телегу... каждую чекушечку помнит. Сколько копен свозил на ней с больших Сидоровых полей!

— Решили небось чево?

— А? — очнулся Юшка.— Решили-то?.. Завтра общая сходка. Хлеб собирать голодающим.

— Ишь, хлеб понадобился! А они его пахали, сеяли? — И он засуетился, заторопился.— Ну, ты завтра за телегой приходи. Да не забудь, коль что... Спросит кто — скажи: даром, мол, отдал... и вещички те... совсем отдаю. Не забудь!

3

Кривуша приютилась на склонах большого оврага, как бы прячась от холодных степных ветров. От сходной избы, что у моста через ручей, видны почти все избы, окруженные желтыми шляпками подсолнухов.

Панов внимательно разглядывал село. Рядом с коренастым, плечистым Василием он казался совсем юнцом. Худоба бледного его лица особенно бросалась в глаза.

— Тихо тут у вас, никаких классовых боев,— сказал он мечтательно,— как на курорте. Воздух чистый.

— Подожди, увидишь и классовые бои,— пообещал Василий.— В тихом омуте черти водятся.

К ним подошел комиссар продотряда Забавников — высокий, сутулый кузнец — и по-отцовски положил руку на плечо Панова:

— Люди уже собираются.

К сходной избе группами и поодиночке шли мужики, тревожно поглядывая на повозку с пулеметом, стоявшую у амбара. Любопытные женщины сидели на завалинках ближайших домов. Шушукались, щелкая подсолнухи, сердито сплевывали лузгу. Ребятишки вертелись тут же, они успели выкупаться в грязном ручье у моста и теперь старательно приглаживали мокрые вихры.

Из сходной избы продармейцы вынесли ветхий качающийся стол, кое-как установили его на земле перед толпившимися кривушинцами, накрыли красным сатином. К столу подошли Панов и Забавников.

Василий стоял неподалеку. Глаза его отмечали каждое движение в толпе, он видел, что в стороне вокруг Сидора и Потапа собралась вся сельская знать и кое-кто из середняков. Беднота теснилась у самого стола, поче-

сывая затылки и весело переругиваясь, а за спинами, словно прячась от света, гомонили, пыхтя самосадом, осторожные середняки...

— Товарищи крестьяне! — Панов поднял руку.

Толпа разом затихла, кто-то в задних рядах крикнул: «Погромче! Не слыхать!»

— Товарищи крестьяне села Кривуши! — заговорил ломающимся баском Панов.— Вчера по декрету рабоче-крестьянского правительства у вас в селе вместо кулацкого, контрреволюционного Совета создан революционный комитет беднейшего крестьянства. Председателем комитета бедноты избран фронтовик товарищ Ревякин.

Панов оглянулся на Василия, как бы указывая, что вот, мол, он, ваш председатель, а из толпы, оттуда, где стояли Сидор и Потап, послышались злые выкрики:

— Самозванец!

— Кто его выбирал?

— Мы не признаем!

— Совет есть, с нас хватит!

Панов отыскал глазами бедняков:

— Товарищи, вы выбирали комитет бедноты?

— Выбирали! Чего там скулят толстосумые? — ответил одноногий фронтовик Сергей Мычалин.— Кто там сумлевается? Иди суда! — И он поднял над головой суковатую палку, заменявшую ему костыль.

— Товарищи! Власть на данном этапе принадлежит только пролетариату и беднейшему крестьянству — самым решительным борцам против капиталистов и помещиков. Только эти классы обеспечат всему народу справедливость и мир!

— Обеспечили! Всех мужиков угнали воевать! — крикнул женский голос с завалинки.

— Слыхали! Голытьба нас обеспечит?! Ха-ха-ха...

— Товарищи! — Голос Панова стал жестким и злым.— Войну нам навязала Антанта. Капиталисты Америки, Франции, Англии испугались, что советская власть крепнет. Так неужели мы, русские люди, сдадимся на милость Антанты? Не будет этого! Неужели мы станем на колени перед свергнутыми классами? Нет, не станем! Смерть буржуям!

— Буржуи соль нам давали, а ты привез сольцы? — ехидно пропищал голосок со стороны.

— Вот прогоним беляков от Каспия — соли сколько хочешь будет у нас, товарищи! Так что все подобные выкрики на руку нашим врагам. Крестьяне должны держаться пролетарской власти, а не цепляться за сплетни мироедов. Товарищ Ревякин, зачитай список комитета бедноты.

Василий подошел к столу. Перечислив всех членов комитета, сделал небольшую паузу, окинул толпу строгим взглядом:

— Кто комитету не будет подчиняться — перед революционным законом ответит!

Забавников почувствовал, что эта угроза как-то придавила мужиков: нахмурились и без того хмурые брови, опустились недоверчивые, колючие глаза. Он натужно кашлянул, как бы предупреждая Василия, что теперь будет говорить он.

— Товарищи! Декрет о комитетах бедноты подписан Владимиром Ильичем Лениным. Сейчас товарищ Панов, начальник нашего отряда, расскажет вам про товарища Ленина.

Панов понял ход мыслей Забавникова: надо разрядить напряжение. Упоминание имени Ленина оживило толпу.

— А он его самолично видел али как? — спросил Юшка, протискиваясь в передние ряды.

— Да, товарищи,— с радостной улыбкой заговорил Панов,— я видел товарища Ленина и даже говорил с ним.

По толпе легко порхнул вздох удивления, люди заработали локтями, пробираясь ближе к столу.

Ораторы оказались окруженными плотным кольцом.

— Тады, милый человек,— попросил Юшка,— давай выкладывай все по порядку: какой он, что говорил, что наказывал?

— Ну, раз по порядку, так по порядку,— улыбнулся Панов.— Слушайте. Нас, питерских большевиков, направили с заводов на Тамбовщину для укрепления советской власти. Дали нам паек на дорогу, да что тот паек? Кое-кто детишкам оставил его дома. Один из нас не выдержал — гимнастерку на толчке у станции променял на хлеб. Узнали мы, спрашиваем: на что обменял свою большевистскую твердость? На кусок хлеба? Может ли

такой человек думать о тысячах голодающих? Исключили мы его из своей дружины и в Питер вернули с позором.

— Ты про Ленина, про Ленина сказывай,— с нетерпением вставил Юшка.

— Доехали до Москвы, нас прямо к Ленину на беседу.

— Высокий он собой-то? — крикнул кто-то из задних рядов.

— Ростом он невысокий, товарищи, но великого ума человек. Одним словом, вождь мирового пролетариата и душевный человек. Глянул на меня — пуговицы, говорит, у тебя на шинели блестящие, крестьяне могут тебя за жандарма принять, срежь их. А я, надо вам сказать, в реальном учился раньше, шинель-то со мной и на завод пошла.

— Так про шинель и сказал Ильич-то? — удивился Юшка.

— Так и сказал. Спросил нас, кто бывал в деревне. Крестьян, говорит, не лезьте учить, как пахать, как сеять, они сами знают, а грамоте их учить надо обязательно.

— Вот это верно!

— Велел сказать вам, что в России сейчас многие города и целые губернии голодают. Верю, говорит, что крестьяне поймут нужды пролетариата, сдадут излишки хлеба, спасут революцию. И еще товарищ Ленин велел из собранного хлеба выделить часть местным беднейшим крестьянам и бывшим батракам.

— Вот, едрена копоть, даже про меня не забыл! — восхищенно крикнул Юшка.

— На прощанье каждому из нас руку пожал...

— А как же пуговицы-то? — спросил кто-то из задних рядов.

— Срезал я пуговицы с шинели в тот же день,— весело ответил Панов.

Этот веселый тон передался толпе, люди закашляли, зашевелились.

— А теперь, товарищи, разрешите зачитать вам обращение губернского продовольственного комитета.

Панов вынул из кармана печатную листовку, разгладил ее на столе и начал читать:

— «Крестьяне! Сытый голодного не разумеет,— говорит русская пословица,— но вы — крестьяне, вы, как никто другой, знаете, что такое голод! Русский пахарь, гнувший веками спину над тощей нивой, привыкший недоедать целыми веками, русский крестьянин знает, что такое голодная жизнь, и знает, как «хорошо» живется голодному человеку!

Крестьяне! Страна охвачена волной анархии, голод костлявой рукой охватил целый ряд губерний. России грозит не столько внешний враг, сколько внутренний враг — царь-голод!»

Он остановился, чтобы передохнуть, и, словно в ответ ему, в первых рядах послышался дружный тяжелый вздох.

— «Царь-голод воцарился над страной. В целом ряде мест на человека выдается по два-три фунта хлеба в месяц.

Так дальше жить нельзя!

Губернский продовольственный комитет вынужден организовать отряды, чтобы отбирать хлеб у кулаков и зажиточных крестьян. Хлеб признан государственным достоянием, и вы, крестьяне, должны помочь нам получить этот хлеб, вы должны заставить отдавать государству то, что ему принадлежит по праву, вы отдавали на алтарь отечества все, что у вас было, вы отдавали ваших детей, и вы же, знающие весь ужас голода, должны отдать свои излишки голодающим братьям...

Губернский продовольственный комитет знает, что крестьяне нуждаются во многих предметах первой необходимости, и он решил идти навстречу законным требованиям крестьян и принимает все меры к тому, чтобы получить побольше мануфактуры и железа для того, чтобы передать это тем крестьянам, которые дадут хлеб.

Крестьяне, вы знаете, что такое голод!
Дайте голодным хлеба!

Тамбовский губернский
продовольственный комитет».

Не успел еще Панов спрятать листовку в карман, как из толпы вышел Потап Свирин.

— Граждане крестьяне! — крикнул он хриплым голосом.— Правду зачитал нам начальник! Сущую прав-

ду. Знаем мы, что такое голод, и не оставим в беде своих! Вы меня в Совет выбрали, и я от нашего опчества скажу: по пять фунтов со двора мы могем собрать. Правильно говорю?

— Правильно! Верно! — раздались голоса.

— Ты, гражданин Свирин, погоди голосовать-то! — крикнул в ответ Василий.— От общества будет говорить комитет бедноты.— И, уже обращаясь ко всем, продолжал: — Товарищи! Продотряд пришел к нам не милостыню собирать, а взять излишки хлеба у тех, у кого они есть.

— У кого они сейчас, излишки-то? — послышался пискливый голосок из толпы.

— Комитет бедноты поможет отряду искать излишки. Норма установлена на каждого едока до нового урожая. Сверх этой нормы — все надо сдать.

— А грабиловки не будет? — пробасил кто-то, прячась за спинами бедняков, и этот голос сразу возбудил толпу. Гул все нарастал, трудно было разобрать последние слова Василия.

— А ну! Тихо там! — грозно крикнул Андрей Филатов.— Хватит тараторить! Решать толком надо! Мы, комитетчики, предлагаем такую резолюцию.— Он вынул голубоватый листок из кармана и прочел: — «Мы, жители села Кривуши, сознавая всю тяжесть настоящего тяжелого момента, когда со всех сторон враги трудового народа ополчаются на нашу Октябрьскую революцию, когда эти гидры и толстосумы еще мечтают ездить на плечах трудового крестьянства и городских рабочих, мы заявляем: смерть всем буржуям, Коммуне слава! Долой всемирных разбойников! Да здравствуют труженики всего мира! Не дадим голоду задушить революцию, клянемся схватить костлявую руку голода и отвести ее от нашей революции, обязуемся сдать все излишки хлеба, а у кого их нет — оторвать от своего рта по десять фунтов с едока. Московские и питерские рабочие отвоевали власть у царя и помещиков, дали нам, крестьянам, землю, а мы дадим им хлеб, спасем их от голодной смерти. До нового урожая остались считанные дни. Доживем, товарищи! Дадим хлеб голодающим!»

— Кто за эту резолюцию? — крикнул Василий.— Поднимите руку!

Толпа притихла. Оглядываясь друг на друга, почесывали затылки, прятали руки в карманах, чего-то выжидая. На Юшку и других бедняков, поднявших руку, зашипели: «А вы чего давать будете? Блох своих?»

И вдруг там, где стояли Сидор Гривцов и Потап Свирин, замелькали над головами руки. Кривушинцы разом загомонили, затолкались, неловко и осторожно поднимая вверх крючковатые, черные от земли руки.

Взгляды Василия и Панова встретились.

Василий улыбнулся одними глазами, словно говоря: «Вот тебе и классовые бои. Враг очень хитер!»

...С вечера Кривуша настороженно притихла, а ночью заскрипели двери амбаров и зашуршали по высохшему за день навозу тяжелые шаги. Мужики прятали хлеб.

4

Кланя — так звали кудрявую рыжую плясунью, приглянувшуюся продотрядчику Петьке Куркову,— жила вдвоем с матерью, Аграфеной Ивановной, которую шутя прозвали Агромадой Ивановной за ее могучее телосложение и силу.

Кланя пошла в покойника отца — худенького мастерового Каллистрата. Каллистрат, как рассказывают, был бродячим жестянщиком. Бряцая засаленным ящиком с инструментами, он ходил по селам и выкрикивал: «Банки-жестянки, кружки-ведружки, ухваты-рогачи ко мне волочи!» Ему несли на починку железную утварь, он целый день сидел где-нибудь в холодке у хаты и стучал на все село своими железяками. Зарабатывал хорошо, но вдруг запивал, спускал все до копейки в шинке, угощая всякого встречного-поперечного. Когда не на что было пить, он выпрашивал чарку у мужиков, потешал их за это похабными рассказами или плясал по любому заказу.

Однажды в шинок зашла Аграфена, тогда еще молодая вдова. Мужики уважали Аграфену, даже побаивались ее силы. Ей уступили место у стойки. Она взяла полштофа водки для плотника, починившего ей рамы, и повернулась было к двери, но услышала знакомый противный голос Прони — богача, домогавшегося ее любви:

— Агашка! Посмотри, как жестянщик на пузе плясать будет!

Она оглянулась. Каллистрат стоял на коленях, держа руки за спиной, а ему в раскрытый рот, как в лейку, лили из чарки водку. Как только Каллистрат закрыл рот, Проня сделал свирепую гримасу и, схватив за чуб, ткнул жестянщика к земле:

— Пляши теперь на пузе!

Тот упал на живот, дрыгая ногами.

Аграфена подскочила к Проне и хлестнула по его скуластому лицу ладонью так, что он ударился головой о стенку. От изумления все ахнули.

Как щенка, за шиворот подняла Аграфена Каллистрата. Встряхнув, сказала:

— Пойдем со мной.— И потащила к двери.

За ней кинулся с кулаками Проня, но его схватили мужики, восхищенные поступком Аграфены.

С раскрытым от удивления и испуга ртом шел Каллистрат, покачиваясь из стороны в сторону, не смея вымолвить слова, будто у него отнялся язык. Может быть, ему сквозь хмель почудилось, что это родная мать тащит его с вечерки домой.

Проснулся в незнакомой избе, долго тер лоб, вспоминая вчерашнее. Аграфена вошла с кружкой в руке:

— Похмелись, Каллистрат, кваском... Отпился ты водки.

— Что так? — нехотя беря кружку, спросил он, вглядываясь в лицо Аграфены.

— У меня жить будешь. Струмент твой принесла от Алдошкиных, он в амбаре. Вот там и мастери. Когда в поле уйду, старуха моя за тобой досмотрит. Любо не любо, а на посмешку тебя не дам, не отпущу! У меня силы хватит! — И взяла из его трясущихся рук кружку.

— А коли я не согласный? — вяло спросил Каллистрат, передергивая плечами.

— А не согласный, то уходи из села... Совсем уходи! — угрожающе ответила Аграфена и вышла из избы.

Она дотемна пробыла в поле, а когда вернулась, Каллистрат мирно постукивал в амбаре, мурлыча какую-то песенку. Бабка зорко поглядывала на него из окошка...

И по селу засудачили бабы, завистливо поглядывая на Каллистрата: золотые руки в дом привела Агашка! Что ж ей не богатеть теперь!

...Когда народилась Кланя, Каллистрат первый раз за долгий перерыв напился пьяным. Аграфена простила ему на радостях.

Каллистрат стал заправским мужиком-хозяином, а нет-нет да и вскипит его бродяжья душа — сорвется и пьет. Однажды его и Аграфену пригласил сосед, Потап Свирин, на крестины. Аграфена отказалась и ушла на ручей полоскать белье. Вскоре Каллистрат прибежал за ней уже хмельной, дурашливый.

— Не галди, не пойду,— твердила Аграфена, продолжая азартно стучать тяжелым вальком по белью. Каллистрат расставил руки, желая прервать ее работу и обнять, но поскользнулся на мыльном помосте, угодил виском о сваю и свалился в воду. Аграфена вытащила его бездыханного, позвала людей. Стали откачивать, но Каллистрат был мертв. Аграфена увидела его остановившиеся глаза, побелевшие губы и упала в обморок.

...Клане было шесть лет, когда похоронили отца. Зачастил к ним сосед Потап Свирин. То утешить вдову, доказать ей, что она не виновата в смерти Каллистрата, то помочь по хозяйству, а то и просто в гости с сынком, которому прочил в невесты Кланю... Прочил, прочил, да и уговорил Аграфену отдать дочку ему в снохи. Только недолга была радость Потапа.

5

Петька Курков столовался у Аграфены. Однажды после ужина Кланя заманила Петьку в канаву, что за ригой, и, нацеловавшись досыта, вдруг спросила:

— Знаешь, я какая?

— Какая? — улыбнулся Петька.

— Полюблю — засохну!

— А что, никого еще не любила?

— Нет.

— А мужа-то?

— Да какой он был муж. Немощный, ледащий... раздразнил только, да и удавился.

— Как удавился?

— Да так... повесился в амбаре. Болезненный был.

В мать, наверно. Она тоже померла недавно. А меня-то он любил! Страсть как! Ну и... видит, что не совладеет со мной... Я не хотела за него, да маменька заставила. Потапу угодить хотела. У нее с ним давно это... как свои все равно.

— Какой Потап? Свирин?

— Ага, сосед наш, вон его дом.— И она прижалась к Петьке, тиская его пальцы в своих мягких ладонях.

Потом, подняв на него жадные глаза, спросила:

— А ты не ледащий, Петя? — и лукаво хихикнула.

Он схватил ее на руки, закружил.

— Хочешь, утащу в ригу?

— Эй, эй, хватит баловать! — соскочила она с его рук.— Рано жениться. Два дня знаешь, а норовишь все враз сцапать.— Она села на траву, кусая колосок.— Сядь лучше, расскажи про себя, какой ты?

— Какой? Полюблю — засохну! — передразнил он ее.

— Не похоже, Петя. Легкий ты на словах, по глазам вижу.

— На словах легкий, зато на деле тяжелый. Офицерье в Тамбове разоружал знаешь как? Влетаю в дом: кто тут который и почему? И наган на стол!

Кланя приласкалась к Петьке, положив голову на его грудь.

— А это что у тебя? — ощутив в нагрудном кармане какой-то предмет, спросила она и полезла рукой.

— Это, Кланя, я целый сад с собой вожу.

— Какой сад? — Она вынула небольшой черный кисетик.

Он отнял у нее, развязал.

— Видишь, семена? Осенью вернусь домой и сад посажу. Не простые тут семена, Кланя... ученый дал. А получилось чудно.

— Чудно? Расскажи.

— Я в Козлов хлеб с продотрядом привез из Никифоровки. Недавно это было совсем. Ну, пошел город посмотреть. Гляжу — сад большой. Яблочки, вишни. А я по садам с детства любил лазить. Эх, думаю, покушаю барского яблочка, ничего, что зеленое! Сойдет с голодухи. Цап с ветки и в рот, а из-за кустов дядька с седой бородкой: «Это что ж ты, разбойник, делаешь?» — «Ничего, го-

ворю, барин, для революции на два зеленых яблочка пострадаешь!» И чавкаю себе спокойно. Он подошел и говорит: «Не барин я, а садовод, а, во-вторых, ты с опытных яблонь плоды сорвал, семян сколько загубил».— «Еще не загубил, говорю, вот наковыряю себе в карман и дома сад посажу».— «Темнота, говорит, кто же зеленые семена сажает? Идем, дам тебе хороших семян...» Отвалтузит, думаю, дома-то. Там, глядишь, у него подмога. «Идем, идем, говорит, не бойся». Эх, была не была! И чего у него там нет, мать честная! Достал он мне из разных пакетов по нескольку семеночков — и вот в этот кисетик. С меня дурь-то и слетела. «Прости, говорю, барин, то есть гражданин садовод. По темноте, по глупости забрел». Смеется: «Вали, говорит, сажай сад, товарищ красноармеец».

— Как интересно, Петя!

— Вот пойдешь за меня, вместе сад сажать будем, а то мои старики слабые стали, жениться мне пора.

— Ой, что ты! Куда я из родного села пойду? Заведешь да бросишь.

Петька недовольно вскочил с канавы, одернул гимнастерку.

— Эх, заболтался я с тобой, Кланя. Комиссар теперь проберет! — Потом, помолчав, добавил: — Завтра с вашего края начнем, с Потапа Свирина.

— У нас-то с маманькой не берите!

— Женщин мы не трогаем. А вот у Потапа ковырнем. Небось знаешь, где спрятал? — И он с улыбкой притянул Кланю к себе.

Она податливо повисла на его руках, нехотя проговорила:

— Чужую рожь веять — глаза порошить, Петенька.

— Все равно найду!

— Жадюга он,— уклончиво сказала Кланя.— Хоть и помогает нам, а жадюга. Ненавижу я его, как жук в навозе копается с утра до ночи. Небось и хлеб под навоз спрятал. Дня три коровник чистил. Неспроста.

Петька схватил ее на руки, поцеловал.

— Ох и хитрый ты, Петька. Засохну по тебе.

Петька донес ее до риги и, поставив на землю, убежал прочь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Юшка ездил на своем коне, радостно дергал сшитые из обрывков кожи вожжи. Кто в эти дни мог сравниться с ним счастьем?

Он и не подозревал, что так много найдется любителей на его подводу. Тому отвези, того привези, и все что-нибудь платят. Вот когда зарабатывать начнет Юшка! Не то что у Сидора.

Хорошо вдовушки угощают самогонкой, щедро, язви их корень! Частенько стал Юшка возвращаться с извоза пьяным. Панька распрягал лошадь, ругал отца, а тот и не думал обижаться. Влетал в хатенку с плясом: «Ходи, изба, ходи, печь, хозяину можно лечь, можно лечь, можно спать, можно женушку обнять!»

Но на этот раз Юшка перебрал, видно. Заснул прямо на телеге. Лошадь стояла у плетня, лениво доставая губами густую траву.

Продотрядчики шли мимо. Петька Курков подошел к телеге.

— Эй, братцы, да это Юшка спит! Мертвецки пьян! Летит его батрацкая душа в рай, а мы ее ждем в Совете. Вот какой он нам помощник. Ну, погоди, пьянчуга, сейчас мы тебя проучим. Хлопцы, айда сюда!

Аккуратно сняли Юшку с телеги — он только буркнул что-то, дрыгнув ногой,— положили у плетня и привязали его за веревочный пояс к колышку. Сели на телегу и поскакали к дому Потапа.

Василий, Андрей Филатов, Сергей Мычалин уже были во дворе Потапа и жарко спорили с недавним председателем Совета. А из сеней испуганно выглядывали две худенькие дочери хозяина.

Василий зачитал решение комитета бедноты: у Потапа Свирина реквизируется одна лошадь для вдовы красноармейца, погибшего на фронте.

— Что ж,— тяжело вздохнул Потап.— Вдове нужна лошадь. Ребятишек куча. Я сам хотел ей отдать. А хлеба больше нет. Сход решил по десять фунтов с едока — я по двадцать отвез. Вон, спроси у Сергея. Отвез я, Сергей?

— Верно, привез вчера,— ответил Сергей, шагнув деревянной ногой к Потапу.— Только ты што ж себя со всеми равняешь? Сход для середняков постановление сделал, а не для кулаков.

— А меня кто же в кулаки-то записал? Я Аграфене каждый год помогаю. Спроси ее, сколько хлеба ей дал? Вон он, мой хлебец, где.

— Не ври, Потап! — крикнул Андрей Филатов.— Знаем, сколько у тебя было хлеба и сколько Аграфене дал. Спрятал сколько, вот про што скажи!

Потап покачал головой:

— А еще правду ищем, мужики! Сами правду топчем!

— Ах ты кровосос! — вспылил Сергей Мычалин и закостылял на деревянной ноге к Потапу.— Ты правду трогаешь? А есть она у тебя? А ну ставь свою правду рядом! — И он вскинул деревянную ногу на порог.— Моя правда вот она, ее видать! Всем видать! А твоя где? Ну?

Во двор с гиком влетел на подводе Петька Курков с товарищами.

— Привет беднейшему крестьянству и его деревянной ноге! — весело крикнул Петька, видя, как Сергей задрал ногу на порог.— Мы готовы грузить хлеб гражданина Свирина.

Василий узнал Юшкиного коня и с тревогой спросил Петьку:

— А тесть где?

— Спит у плетня. Пьяный в доску.

Потап криво усмехнулся, Василий заметил эту усмешку и грозно шагнул к нему.

— Хлеб излишний показывай!

— На свою голову окстил крестничка,— пробурчал Потап, глядя мимо Василия.

— Ты зубы не заговаривай! Говори, куда спрятал хлеб?

— Вон он, в ларе. Сами видали. Я не прячу.

— Норму оставил, а остальной где? Где, спрашиваю?!

Потап молчал.

Петька подошел к Потапу, легонько дотронулся до его плеча пальцами и вкрадчиво спросил:

— Так, значит, нет лишнего хлебца, папаша?

— Нету, нету,— ища поддержки, ответил Потап.— Все у меня на виду, сынок.

— Крест положи на живот,— приказал Петька.

Потап помедлил, покосился на продотрядчика, но перекрестился.

— Та-ак,— раздумчиво протянул Петька.— А если найду? — И пытливо уставился на Потапа.

Тот несколько мгновений колебался, потом выдохнул:

— Ищи.

— Так... Значит, папаша, если на твоем дворе я хлеб обнаружу, то он не твой. Ведь мог сосед зарыть у тебя во дворе? Конечно, мог! Ну и тогда хлебец этот будет принадлежать голодающему пролетариату! — Засучив рукава, он оглянулся, ища глазами лопату.— Ишь и лопаточки не видать у тебя на дворе, папаша. Сломалась, что ли? Или сосед утащил, когда хлеб зарывал?

— По суседям ходит лопатка,— нехотя ответил Потап.— Эй, Мотька! — крикнул он дочери.— Где наша лопата?

— Я почем знаю! — злой голос из сеней.

— Дяденька, сходи, пожалуйста, к соседям за лопаточкой,— подчеркнуто вежливо попросил Петька Алдоню Кудияра.

Пока Алдоня был у соседей, Петька разыскал вилы у дверей и зашагал по двору, втыкая их в землю. Потом остановился у кучи свежего навоза, покрутил рукой перед носом, понюхал, как фокусник, и с силой воткнул вилы в навоз.

— Све-ежий навозец. И духом хлебным отдает.

Потап нетерпеливо переступил ногами, отер рукавом взмокший лоб:

— Чего навоз-то разваливаешь? Складывать за тебя кто будет?

Петька оглянулся, подождал, что еще скажет Потап. Вдруг решительно скомандовал:

— А ну, братцы-пролетарцы, налегни на вилы, на лопаты! — И заработал вилами.

Через несколько минут под навозом обнаружилась старая дверь. Петька, вспотевший, но радостный, дурашливо наставил вилы, как винтовку, и гаркнул на дверь:

— А ну, кто тут который и почему?

— Вот он куда запрятал! — Василий поднял дверь.— Вот где хлебец гноят, проклятые!

Потап осел на порог, схватил себя за волосы и зарыдал:

— Грабители! С голоду уморить хотите!

Вслед за ним заголосили его дочки.

Петька вынул первый мешок из ямы и с улыбкой сказал:

— Смотрите, братцы, как о соседском хлебе убиваются!

Пять мешков быстро очутились на подводе. Василий подошел к Потапу, протянул бумагу и карандаш:

— Распишись, контра... Пять мешков. А за обман народа с тебя еще контрибуцию слупим! Завтра решение представим.— И, подождав, пока Потап накорябал трясущейся рукой буквы, жестко сказал: — Выводи коня!

2

Маша увидела отца у плетня и — к нему.

— Батя, батя! — испуганно закричала она.

Юшка хотел было вскочить, но почувствовал, что кто-то его держит за пояс.

— О господи, что с тобой, батя? — Маша отвязала его от кола.

Юшка протер глаза:

— А где вороной, Манюшка?

— Какой вороной?

— Да повозка моя!.. Я на телеге ведь был, помню.

— А кто привязал тебя к плетню?

— Не знаю. Конокрады увели? А-яй-яй, голова садовая! Догулялся!

— Идем домой, папаня. Может, Панька распряг? — Маша помогла встать ослабевшему отцу и повела под руку домой.

Авдотья привыкла видеть Юшку таким — она не удивилась, не стала ругать. Кинула молча на лавку полушубок. Юшка повалился на лавку и застонал от головной боли.

В избу вошли Василий и Панов.

— Ты что же, отец, Сидору продался? — подошел Василий к тестю.— За гнилую телегу душу продал? Эх, ты!

Юшка откашлялся, хрипло заговорил:

— Васятка! Мать твою бог любил, вороной пропал. Конокрады увели, а меня к плетню веревкой привязали.

— Эх ты, вороной-пегий! Скоро и самого к Сидору под печку черти затащат. Цел твой вороной. На нем мы пять мешков хлеба от Потапа привезли. Почему не явился с подводой? Решению комитета не подчиняешься? Завтра к Сидору поедешь с нами.

Юшка с тревогой уставился на Василия:

— Это зачем меня-то к Сидору? Я у него полжизни батрачил, другого найдите.

Василий покачал головой и с укором сказал:

— Дешево же ты ему продался! За гнилую телегу! А мы ведь ее все равно реквизировали у него. Не дождался ты. Вот и постановление комитета есть.— Он достал лист бумаги из кармана, прочел: — Телегу кулака Гривцова реквизировать и передать бывшему его батраку Олесину Ефиму Петровичу.

Юшка осоловело смотрел на бумагу, которую читал Василий.

— Его надо в подкулачники записать. Все улики налицо,— подсказал, улыбаясь, Панов.

— Это кого в подкулачники? — приподнялся Юшка.— Варить-то вари, да посолить не забудь! Ты еще ростом мал, сынок, чтобы меня подкулачником обзывать. Я самый что ни на есть батрак,— разозлился он.

— Эх, отец, отец, из стороны в сторону ты качаешься, то к нам, то к Сидору,— с укором сказал Василий.— А я-то тебя чуть не богатырем почитал.

— Закачаешься,— жалобно ответил Юшка.— Один я, што ли, качаюсь? Вся Расея-матушка качается от власти к власти.

— Ну, тогда вот что.— Василий твердо положил руку на стол.— Впрягайся в телегу сам и езди. Может, тебе Сидор и лошадь даст. Пошли, товарищ Панов.

Авдотья кинулась на колени:

— Помилуй, Васенька, помилуй его, дурака непутево-

го. Верно ты говоришь, продался он за телегу да за эти... как их,— запнулась она.

— Ну, говори, говори, мамаша,— поднял ее Василий с пола.— Чего еще подарил ему Сидор?

— Да барахлишко принес ему... спрятать, а потом совсем отказал.

— Что за барахлишко?

Маша метнулась к отцу.

— Да что же ты, папанька, делаешь? Сам ведь рассказывал... Из Тамбова, грабленое! Тимошка грабил.

— И ты молчал?! — подступил Василий к Юшке.

Юшка безнадежно заскреб свой затылок:

— А ну, Васятка, зачти еще разок этую бумажку.

— Слушай, слушай, прочту еще разок: «Кривушинский комитет бедноты постановляет зарегистрировать вороного мерина, приведенного из Козлова, за крестьянином Олесиным Ефимом Петровичем. Телегу кулака Гривцова реквизировать и передать бывшему его батраку Олесину...»

— Этую бумагу, завтра первым делом зачти, а потом уж я... все выскажу, мать его бог любил.

Василий недоверчиво поднял на него глаза:

— Ничего не скроешь?

— Все выложу! Только мерина приведите.

3

Сидор стоял среди двора и молча наблюдал за людьми, входившими в его ворота.

— Здорово, Юхим Петров! — поприветствовал Сидор Юшку.

— Здравствуешь, коли не хвастаешь,— грубо ответил Юшка.— С непривычки уши закололо.

Сидор настороженно оглядел Юшку, кашлянул. Василий срывающимся от злости голосом сказал Андрею:

— Читай решение комитета.

Андрей зачитал бумагу нарочито медленно, почти по слогам, чтобы дать Юшке прийти в себя.

— Опоздали вы со своим приказом,— ухмыльнулся

Сидор.— Я без вас об нем порадел. Он давно на моей телеге вдовушек катает.

— Не порадел, а купить норовил! — не выдержал Василий.— Купить норовил, чтобы он подлость твою против революции не выдал.

— Это какую подлость? — побледнев, спросил Сидор и обернулся к Юшке: — Юхим, что он мелет, твой зятек-то, а?

— Не мелет, а правду говорит! — Голос Юшки неестественно зазвенел от волнения. Он сорвал с головы картуз и, распаляя себя, бросил его под ноги: — Ты мои мозоли считал, когда я на тебя хрип гнул? Телегой мне глотку заткнуть хотел, когда у своего горла веревку почуял! — Юшка наклонился и перешагнул через свой картуз, направляясь к Сидору.— Тимошка барахла награбил, а ты прятать мне принес?! Панька! Неси барахло! — крикнул Юшка, и из-за ворот с узлом выскочил его сын Панька.

Юшка развязал платок, и оттуда вывалились сапоги, туфли, красные галифе.

— Вот они, обуванки-одеванки городские! Судить его надо по всем статьям, мать его бог любил! Гражданы-товарищи, хватит нам хрип на него гнуть! Судить!

Сидор вдруг рванулся к Юшке и изо всех сил ткнул кулаком в зубы:

— Будь ты проклят, холоп!

Сидора схватили продотрядчики. В избе, у окна, диким голосом вскрикнула жена Сидора. А Юшка медленно встал, отер с губы кровь.

— На, пощупай и мой кулак! — Шагнув к Сидору, ударил жилистым железным кулаком по уху и, обернувшись к мужикам-комитетчикам, устало добавил: — Первый раз за всю жизню человека ударил.

— Да какой он человек? Змей он ползучий,— крикнул Сергей Мычалин.

— В Тамбов его, в Чеку!

— Имущества лишить грабителя!

Быстро запрягли жеребца. Связанного Сидора положили на телегу, Юшка сам напросился в кучера.

Сидор лежал на спине головой к передку, а по бокам сидели продотрядчик с винтовкой и Юшка.

— Все забыл, ирод! Помещика вместе разоряли, а теперь что делаешь?

— Туда вместе шли, правда. А оттуда врозь, ты на подводу воз навьючил, а я на руках икону принес да косу ржавую...

— Бога побойся, Юшка,— уже зловеще поднял голову Сидор.— Господней расплаты остерегись!

— Мы всю жизню расплачиваемся. За каждый шаг свой ответ держим. На тот свет я не собираюсь, а на этом тебе расплата пришла! За все мои слезочки, за все мозолики!.. Эй, но! Воронок, поднатужься!

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Петька Курков постучал в знакомую дверь и дурашливо крикнул:

— А ну, кто тут который и почему?

Кланя открыла дверь и кинулась к нему на шею.

— Что ты, что ты... матушка увидит! — забеспокоился Петька.

— Не увидит, Петенька! Одни мы тут. Потап ее увел. Об уборке сладиться пошли. Завтра ведь хлеб жать пойдем. Тогда я уставать буду, Петя.

Он поцеловал ее и взял на руки.

— Пойдем на свою канаву.

Кланя торопливо замкнула дверь и юркнула на подворье.

За ригой — поросшая густой травой канава, а за канавой — стена ржи. Задумчиво шелестят тяжелые колосья от тихого вечернего ветерка, навевая радостное ощущение полноты жизни...

Кланя положила рыжую голову на колени Петьки. Закрыв глаза, она мечтала о своем, бабьем, а Петька чиркал спичку, прикуривая цигарку.

— Хоть коробком спичек одарил бы,— тихо, просительно сказала Кланя,— ночью дома зажечь свечку нечем.

Петька осторожно просунул руку ей за пазуху и, щекоча груди, уложил там коробок спичек.

— На, не жадный я.

— А тебе-то...

— Нам дадут еще. У меня и кремень на случай есть.

— Постой, постой, тише,— шепнула она.— Мне почудилось, во ржe есть кто-то.

— Трусиха. Это мышей кошка ловит.— И он пустил ей в лицо струю дыма.

Кланя закашлялась, отвернулась. Петька затянулся еще раз, погасил окурок и склонился над Кланей, жадно целуя ее...

Сзади метнулся кто-то. И не успел Петька обернуться — острый нож вонзился ему между лопаток...

Увидев, как Петька повалился на спину, раскинув руки к ногам двух черных ссутулившихся людей, Кланя дико вскрикнула и покатилась на дно канавы.

2

Очнулась Кланя в каком-то амбаре. Под нею была подстилка, разостланная на сене. Огляделась. Во все щели пробивались лучи утреннего солнца. Вспомнив все, вскочила на ноги и кинулась к двери.

Дверь заперта. Кланя забарабанила кулаками:

— Откройте! Эй, кто там, откройте!

Никто не отвечал.

Кланя заглянула в щелку. Незнакомый дом. И дальше все незнакомо.

«Убили Петю, убили»,— неотвязно стояло в голове, раздирая страхом и болью Кланино сердце.

Она поглядела наверх. Железная крыша над глухими рублеными стенами. Неужели никто не услышит? Надо кричать еще и еще! И Кланя кричала что есть мочи.

Но никто не отвечал, никто не подходил к амбару. Кланя снова припала к щелке, внимательно разглядывая подворье, и вдруг оно ей показалось знакомым. Приникла к другой щели, откуда виднее дверь дома.

На пороге сидела девочка и, ковыряя в носу, поглядывала в сторону амбара.

— Девочка! — закричала Кланя.— Девочка! По-

дойди поближе. Что же ты, не слышишь, как я кричу?

— Слышу,— тихо ответила та.— Ты сошла с ума, мне Мирон сказал. Кричи сколько хочешь. Завтра он тебя в Танбов увезет. А сейчас они в поле все ушли. Одна я тут.

Мирон? Племянник Потапа? Так это дом Потапова брата! И ей все стало ясно. Они, они убили Петьку! Сумасшедшей объявил, чтобы никто не подошел к амбару!

Она беспомощно села у дверей и, прижав голову к коленям, затряслась в горьких рыданиях. Что-то твердое почувствовала на груди... Спички, коробок спичек! Петькин подарок! Она вынула коробок из-за пазухи и, еще не сознавая, для чего, подтащила к дверям охапку сена.

Руки тряслись от страшной решимости — спички ломались. Наконец — огонек! Она встала на колени, принялась раздувать, но пламя и без того взметнулось во всю дверь. Кланя отступила от огня, наблюдая за красными языками, и чем дальше отступала, тем яснее начинала понимать, что толстая амбарная дверь сгорит и упадет не раньше, чем выгорит в амбаре все. Она кинулась тушить, отбросив горящее сено ногой от двери. Но пламя переметнулось на сеновал.

Лицо Клани исказилось от страха...

И, помимо воли, вырвался истошный дикий крик:

— Люди! Помогите! Помоги-и-те-е!

3

Аграфена была недовольна, что допоздна задержалась у кума. Ругала захмелевшего Потапа, а он отмалчивался, сопел. У калитки они разошлись. Аграфена тихо подошла к окошку своего дома, постучала. «Спит как убитая! Нацеловалась, бедовая...» И снова постучала. Дернула дверь. Зашла со двора, протянула руку на перекладину и — обмерла: ключ лежит над дверью. Значит, ее нет дома? Негодница!

Аграфена вышла за ригу, громко позвала. Тихий шелест ржи был ей ответом.

Не заходя в дом, она побежала к Потапу.

Тот пугливо и нехотя открыл дверь.

— Найдется, найдется, куда она денется. Шашнями, гляди, займается... Ну, я спать, спать... завтра чуть свет в поле. И ты не проспи.

Аграфена вернулась домой, подождала еще, а дочери все не было.

Обошла еще раз подворье. Позвала. Никого. И — кинулась в продотряд...

Искали по всему селу, прочесали все задворки, но Клани и Петьки нигде не нашли.

На рассвете Панов приказал обойти все дворы и объявить крестьянам, чтобы искали по полям.

...А Петька лежал во ржи, недалеко от села, на участке Ревякина Захара. Лежал на спине с распоротым животом, из которого торчал пучок спелой ржи. Голубые холодные глаза его смотрели в чистое, залитое летним солнцем небо, полуоткрытый рот будто хотел произнести какое-то очень нужное слово. В ногах валялся пустой кисетик из-под семян. Семена, рассыпанные убийцами, затерялись в рыхлых комочках влажной от утренней росы земли.

Захар нашел Петьку по широко примятому следу во ржи — нелегко было тащить его убийцам! Увидев труп, Захар остолбенел и долго не мог сойти с места, только крестился и шептал молитву. Потом кинулся к телеге. Схватил вожжи и погнал лошадь к селу.

4

Запыхавшийся, потный, прискакал в волостной Совет Панька Олесин и сбивчиво рассказал секретарю Совета о случае в Кривуше.

— Комиссар Панов велел позвонить в Тамбов, чтобы чекисты приехали скорее.

Секретарь долго крутил ручку аппарата, чертыхался, а Панька нетерпеливо переминался с ноги на ногу, умоляюще заглядывая в глаза секретаря.

Наконец Тамбов ответил. Панька дождался, пока секретарь повесил трубку, поблагодарил его и опрометью выскочил из избы.

Назад ехал тише. Запаленный конь кашлял, мотая головой. Панька знал, что отец теперь неделю будет отчитывать его за быструю езду. Пусть! Панька готов на все... Ведь от него зависит сейчас и судьба Клани, ее будут искать чекисты. Панька не знал, как назвать свое чувство к этой бойкой молодухе, только понимал, что ему будет и жизнь не в жизнь без нее. Он даже не ревновал к Петьке — пусть только она живет!

В Ивановке Панька остановился у большого колодца, влил воды в корыто, прибитое к колодезному срубу, и напоил коня.

— Люди! — донеслось до его слуха.

Панька насторожился, схватил повод.

— Помоги-и-те-е!— Охрипший голос просил, умолял.

Панька вскочил на коня. А конь не хотел больше скакать. Панька изо всех сил бил пятками по бокам, направляя мерина на крик, но тот продолжал бежать легкой трусцой.

За поворотом Панька увидел дым над амбаром и совсем близко услышал:

— Люди, помогите!

Соскочил с коня, подбежал к двери. Увидев замок, заметался, ища что-нибудь тяжелое. Стареньким ломом поднятым в траве, Панька сбил замок и распахнул дверь. К его ногам ничком упала обессиленная женщина с растрепанными волосами.

А в амбаре с притоком свежего воздуха взметнулось к самой крыше пламя.

Девчонка, сидевшая у дома, взвизгнула и побежала вдоль села.

Панька оттащил женщину от амбара, посадил ее и вдруг испуганно отпрянул: перед ним была Кланя. Та самая Кланя, которая снилась ему всегда, та самая...

Кланя безудержно кашляла, еще не в силах поднять лицо на своего спасителя. Панька помог ей стать на ноги.

— Паша... это ты? Скорее отсюда... Убьют...

Он подвел ее к коню, подсадил, велел держаться за гриву. Дернув повод, побежал к лощине...

В перелеске, неподалеку от Светлого Озера, Панька остановился и, виновато улыбнувшись, сказал:

— Передохну чуточку.

Кланя слезла с коня, села на траву. Слезы радости потекли по ее лицу.

— Не плачь, Кланя,— тихо попросил Панька,— чего ж теперь.— И по-мужски сдвинул брови к переносице.

Она медленно поднялась, глядя на него немигающими влажными глазами, и горячо поцеловала в губы...

— Милый Пашенька, спаситель ты мой, родненький! Куда ж мне теперь деться?

— Домой отвезу, Кланя...

Из-за леса донесся набат,— видимо, в Ивановке звали людей на пожар.

— Нет, нет,— испуганно проговорила она,— домой не вернусь. Боюсь чего-то, сама не знаю...

— Домой надо, Кланя.

— Нет, нет, Паша, милый, не пойду домой. Увези меня в город, спаси меня! Как мать за тобой ходить буду, голодная согласна жить, не бросай меня одну! Погибну одна!

Панька смотрел на нее широко открытыми глазами и почти не слышал ее слов: его впервые в жизни поцеловала женщина.

5

Панька остановился у сходной избы и позвал Василия.

— Ты где так долго пропадал? — недовольно спросил Василий.— Позвонили?

— Позвонили. Приедут. Дядя Вася, отойдем подальше. По секрету надо.— Ведя в поводу коня, Панька пошел от сходной избы и заговорил сбивчиво, торопливо, непонятно...

— Ты что, пьян, братец? — остановил его Василий и недоуменно взглянул в глаза.

— Крест святой, правда, дядя Вася... Она на Светлоозерском хуторе осталась, у тети Сони Елагиной.

— Откуда ты тетю Соню знаешь? — смутился Василий.

— Мы с тетей Настей вашей прошлый год у нее были. Мельница стояла, мы за мукой туда ходили.

— А почему ты сюда Кланю не привез? Она сама рассказать должна.

— Боится она, дядя Вася, трясется вся. Погибну с голоду, говорит, а не пойду в Кривушу.— И едва слышно добавил: — И я с ней в город ухожу.

— И ты? Зачем?

— Нельзя ее одну отпускать, дядя Вася... Сделает что-нибудь над собой с тоски-то. Хочет, чтобы я с ней всегда был.— И Панька, краснея, опустил голову.

— Любишь? — коротко и тихо спросил Василий.

— Не знаю, дядя Вася. Только нельзя ее бросать одну. А рассказать она и в городе может. Мы прямо в Чеку сразу пойдем. Пока у Парашки остановимся, я с собой провиант возьму.

— Отведи коня домой, простись с матерью.

— Нельзя мне прощаться с мамкой, заревет она. Лучше ты ей опосля скажешь.

— Ну ладно. Зайдешь ко мне. Записку в Губисполком дам, работать вас устроят.

— Спасибо тебе, дядя Вася.— И Панька одним махом взлетел на коня.

Через полчаса Панька с сумкой за плечом стоял у окна дома Ревякиных. Василий вынес записку, проводил до канавы, за которой начинался большак, и крепко поцеловал его.

— Ну иди, Паша, береги Кланю.

И добавил, когда Панька отошел подальше:

— Тете Соне поклон передай.

6

На другой день в избу Аграфены вошли двое чекистов и члены комитета бедноты. Василий подробно повторил Панькин рассказ.

— Господи, господи,— твердила Аграфена,— припомнить дайте, дайте припомнить.— Она смотрела в одну точку и все твердила: — Дайте припомнить... Да, да! — И наконец подняла глаза.— В тот самый день! Знал он! Знал, кобель! Все знал! — закрутила головой, запричитала. Потом встала с лавки.— Идемте! — И шагнула к двери.

По ступенькам Потапова дома поднималась медленно, тяжело переставляя ноги, будто все еще обдумывая что-то. В дверях избы качнулась, но собралась с духом и хрипло, словно кто сдавил ей горло, спросила:

— Ты знал, Потап?

Потап увидел за ее спиной чекистов, крестясь, попятился в передний угол к образам — настолько была страшна в этот миг Аграфена.

— Кобелиную свою любовь мне носил, стервец! На, возьми ее назад! — Она вцепилась в его горло огромной своей рукой.

Потап ударился головой об икону. Зазвенело разбитое стекло, замигала качнувшаяся лампадка.

Мужики едва оттащили Аграфену, но острые ее ногти успели глубоко расцарапать горло Потапа. Он сидел на лавке, тяжело дыша и размазывая рукой кровь на горле.

Аграфена вырывалась из рук мужиков, тащивших ее к двери, выкрикивала Потапу проклятья, топая огромной ногой:

— На край света беги, Потап! В землю зарывайся! Убью, задушу все равно, стервец поганый! Не жить нам вдвоем на этом свете! Чего вы меня держите? Убейте его! Или меня убейте!

Когда двое с винтовками подошли к Потапу, она еще злее закричала:

— В канаву его! В канаву!

* * *

«Дорогой товарищ Ленин! — писал Алексей Панов в Москву.— Вы просили писать Вам. Вот я и пишу. Назначили меня начальником продотряда. Комиссар у меня — пожилой, опытный рабочий, он прибавляет, что нужно, к моей молодости. Хочу поделиться своими впе-

чатлениями. В деревне со времени организации комитетов бедноты началась гражданская война. На историческую арену вышел новый класс — деревенская беднота,— так ли я понимаю события? Этот класс помогает нам в сборе хлеба для революции и воюет против кулаков.

Кулаки зверски убивают наших. Из нашего отряда погиб веселый паренек тамбовского завода Петр Курков. Мы схоронили его со всеми почестями. Собралось на похороны несколько сот крестьян. Мой комиссар выступал с речью. Крестьяне молчали.

С крестьянами работать очень трудно, непонятные они какие-то для меня, но я стараюсь понять, как советовали Вы.

Завтра поведу свой отряд в другое село. Клянусь, что и там выполню задание партии честно. Вагон хлеба добудем!

До свидания, товарищ Ленин.

Питерский рабочий — Панов».



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

За Кривушей, на взгорье,— барская усадьба и ветряная мельница. Теперь там нет барина. По пустым комнатам рыскают мыши, и только в одной из пристроек сентябрьскими вечерами горит лампа. Там живет с семьей бывший управляющий австриец Пауль, который согласился работать на мельнице: «Людям мололь муки». Он добросовестно собирал батман и добровольно взялся взвешивать зерно, которое возил в амбары Кривушинский комитет бедноты с артельного тока. А по вечерам Пауль радушно угощал кренделями «собственного изготовления» сторожей комитета бедноты, охраняющих амбары.

Всех помольщиков Пауль встречал улыбкой и всем говорил: «Я поздравляль вас с короший урожай».

В один из теплых дней бабьего лета на мельнице было шумно, празднично. На этот раз приехало много женщин, они то заливались смехом, шушукаясь на подводах, то пели песни — раздумчивые, тягучие, зовущие куда-то далеко-далеко, где все новое, другое, хорошее...

Мужики, сгрудившись у дверей, вспоминали разные

истории, не забывая зорко следить за «чередом». Акимка Грак, разудалый парень с отвисшими губами и синяком под глазом, уже в который раз с наслаждением пересказывает последнюю драку на престольном празднике:

— Он меня задел? Задел. И я поперву слегка его пхнул. Он не отстает. Не лезь, говорю, а то искалечу. Не унимается... Тут я его... кэ-эк плюхну в хрюшку — носопырка-то его и хрясь! Кровища кнутом заплетается. Хватит, думаю, пора пожалеть. Поднял его шапку, надел на него. Иди, говорю, пока в ярость опять не взошел.

Соня Елагина смолола свои два мешка и сидела с теткой на подводе, ожидая соседей, чтобы вместе ехать домой. Она молча грызла семечки, презрительно наблюдая за мужиками.

Не мил ей никто после той радужной встречи с Василием. Почему он какой-то другой? Не грубый, как эти, а... Какой же он? И сама не могла ответить, только тихо улыбалась... И ведь видела-то всего один раз, а готова искать хоть на краю света.

Акимка Грак со своим бахвальством чуть не прозевал очередь, кинулся к мешкам. Кряхтя и гримасничая, он заковылял, перегнувшись под мешком, к весам.

— Грак, иди подкрепись,— потешались над ним бабы.— Соску иди пососи, припасла для тебя!

— Ох и тяжел, бабы, новый хлеб! Ни в жисть такого не таскал,— незлобиво ответил Грак, вернувшись за вторым мешком.

— Это тебе с перепугу показалось,— съязвила грудастая баба.— Наверное, продотряд увидел и животом ослаб.

— А вон они и вправду едут! Васька Ревякин со своей босотой.

— Тащи, Грак, скорей, а то отберут.

— Тоже, видать, на мельницу... Гляди, без очереди норовят.

— А то как же! Так их и пустили!

Соня оглянулась, увидела Василия, шагающего рядом с первой подводой. Рука потянулась к платку, чтобы поправить прическу, сердце бешено заколотилось.

Грак посмотрел на обоз и хихикнул:

— Да это наш Васюха, хлеба краюха! Какой же от него страх! Пусть кулаки трясутся, он на них зол, а я

к нему скоро в армию запишусь! — И побежал со вторым мешком к весам.

— Продотряд не собирается уходить? — спросил кто-то.

— Незаметно. Нового хлебца много, весь на учет ставют.

— Весь заберут,— отрешенно покачал головой седовласый старик.

Василий подошел к мужикам, поздоровался, прикурил.

— Ты, Василий Захаров, говорят, совсем закомиссарился,— грубовато сказала та же грудастая баба, что пугала Грака продотрядом.

— Здравствуй, тетя Уля,— вежливо ответил Василий, окинув взглядом всех женщин. Глаза его искали кого-то в толпе.

— Гля, гля, девки,— заворковала тетка Уля,— он еще не совсем закомиссарился. Ишь как на вас глаза пялит! Выбирает, знать.

Василий заметил Соню, но не показал виду. Шагнул к весам, где стоял австриец Пауль с мужиками:

— Как идут дела?

— Корошо, очень корошо! Вас, Ревякин, сейчас прикажете? — подобострастно спросил Пауль.

Василий оглядел выжидающие лица мужиков и громко, чтоб перекрыть шум жерновов, ответил:

— В общий черед станем.

Мужики довольно крякнули, отозвали Василия к возам, угостили новым самосадом.

Когда Сонина тетка тронула свою лошадь вслед за светлоозерскими мужиками, Соня спрыгнула с телеги, быстро подошла к Василию. Ее решительный, требовательный взгляд удивил его.

— Здравствуй, Соня...

— Здравствуй, Вася,— и молча смотрит не отрываясь, будто ласкает его лицо ресницами.

— От Клани новость какая?

— Нет,— усмехнулась она,— так, подошла поглядеть на тебя.

Потом нехотя отвернулась и пошла за подводой.

Насмотрелась и ушла. Больше не оглянулась ни разу. Зачем подходила? Что выискивала на его лице? Что хо-

тела сказать и не сказала? А может, сказала, да не расслышал, не понял?

Василий смотрел ей вслед, пока не скрылась из виду, а когда скрылась, почувствовал себя так, будто она отняла у него что-то, взяла вот сейчас, здесь, не дотрагиваясь до него, взяла! Унесла с собой. И не будет теперь Василию покоя...

— Да... в такую красотку и влюбиться не грех,— положив руку на плечо Василия, сказал Андрей Филатов.— Только Маша твоя не хуже.

Василий сделал вид, что недослышал.

— Пойдем пока имение барское посмотрим,— сказал он.— Ведь власть мы с тобой как-никак. Может, тащат оттуда что. А нам коммуну тут создавать.— И первый зашагал от мельницы к усадьбе.

2

Недаром светлоозерцы говорят про Соню Елагину, что она пошла в мать.

Ее родительница — дворянка Глафира Алексеевна — была гордой, своенравной красавицей. Захватив своего мужа, помещика Бибикова, с горничной, она презрительно плюнула ему в лицо, напилась с горя коньяку и в ту же ночь выехала в Тамбов, к брату. Кучер Еремей, который за большое вознаграждение согласился ехать ночью, на середине пути уговорил барыню заночевать в хуторе — дорогу начинала затягивать метель. Продрогшую хмельную помещицу на руках внес в горницу высокий, сильный вдовец — ставщик Макар Елагин.

Ночью, в пьяном угаре, Глафира Алексеевна с мстительной, горячей страстью отдалась Макару, а утром уехала, даже не подняв на него глаз. Еще тоскливее потянулись ямщицкие дни, уже и забыл Макар о чудаковатой барыньке, как нежданно-негаданно прискакал кучер Еремей.

— Барыня тебя кличет, Макар. Помирает она. Дочь у ей народилась... от тебя будто.

Всю дорогу Макар молча вздыхал и крестился. Потом, как во сне, брел по коридорам, сопровождаемый зловещим шепотом господ. Невидящими глазами смотрел на бледно-восковое лицо Глафиры Алексеевны.

— Макар, помираю... Волю свою... при батюшке... Твоя, Макар, дочь... Софьей назвала, фамилию твою записала. Поди с батюшкой к прислуге, возьми ее. Загубят ее тут, как меня загубили. Прощай, Макар. Береги дочку. Молись за меня.

Макар упал на колени, прижался губами к ее холодеющей руке и зарыдал.

— Не надо, Макар... Ты не виноват, прощай.

Поп положил руку на плечо Макара:

— Не мучь ее, раб божий. Простись и иди.

Макар опомнился у повозки, держа в руках укутанного в дорогое одеяльце ребенка. Еремей перекрестил Макара, усадил его поудобнее и погнал лошадей по грязным осенним улицам Тамбова.

Прощаясь с Макаром на хуторе, Еремей вынул из-за пазухи карточку, подал хлопочущему возле ребенка Макару:

— У барина украл. На грех пошел... Помни ее!

Макар спрятал карточку в сундук.

...Трудно, ох как трудно было бы Макару одному растить дочку, если бы не сестра-бобылка, заменившая Соне мать. Выросла на славу девка, замуж вышла за хорошего, справного человека, да война сделала ее вдовой. Даже фамилия мужа — Трегубова — не успела пристать к Соне. Так и осталась она для всех Елагиной.

Такова история Сони. И хотя жители Светлого Озера знают Сонину мать только по карточке, но барскую кровь в ней признают и всегда говорят ей, что пошла она в мать. А Макар каждый раз, когда приезжал летом в Тамбов, привозил на могилу Глафиры Алексеевны полевые цветы и подолгу стоял здесь, шепча молитвы, которые повторял в ту безрассудно-ласковую ночь.

3

Макар услышал вкрадчивый стук в дверь и вышел в сени:

— Кто там?

— Я, Карась, открывай! Что долго дрыхнешь? Светло уж!

— Мне гудка нет, скоко хочу, стоко и сплю,— недовольно ответил Макар, впуская Карася.

Вошли в избу, оглядели друг друга — долго не виделись. Сели к столу.

— Есть кто дома?

— Никого. Баба к племяннице в Тамбов ушла.

Карась вынул бутылку самогона, заткнутую тряпкой, потянул носом:

— У меня, брыт, на сухую язык не работает, в горле першит, а разговор длинный. Давай, брыт, закуску! — Он выглянул в окно на подводу, оставленную у ограды, и крякнул.

— Ты что-то дюже веселый. Чему радуешься? — спросил Макар, нарезая пирог с капустной начинкой.

— В Москве опять начали большаков бить. Даже самово Ленина поранили тяжело. Мы тоже теперь в долгу не останемся! Из Кривуши продотряд уехал?

— Уехал, в Волчки.

— Про Чичканова слыхал?

— Слыхал, а что?

— Да так. Жив он еще?

— Жив, а чего ему.

— Понятно. На то и власти, чтоб жить всласти.— Карась криво усмехнулся.— Почту все еще возишь?

— Вожу, а что?

— Письмишко в одно местечко завезешь. Тебе там ящичек дадут. Мне его доставишь.— Он налил в кружку самогона и подал Макару.

Тот кружку взял, но поставил на стол:

— Ты меня, Васька, не впутывай в такие дела. Я свою жизню честным хочу прожить.

— Неужели советская власть нравиться стала? — процедил сквозь зубы Карась, пододвигая к себе кружку.

— Хорошего чуть, но и плохого она мне не сделала,— ответил Макар.

— А лошадей сколько отобрали?

— Осталось и мне. На дело хватит, а там еще наживу.

— Ишь вить, всю жизню в холодке хошь прожить? В солдаты не брали — сливошник, революцию без тебя сделали... А теперь и за свою же землю воевать лень? Думаешь, другие тебе ее завоюют? На ладошке поднесут? Вот начнется заваруха скоро... Я первый тебя как дезертира расстреляю!

— Ну чего ты ко мне пристал?

— Пей, а то напомню, какой ты честный!

— Чего еще? — насторожился Макар и взял кружку.

— Пей, потом скажу.

Макар выпил, отщипнул пирога:

— Говори, послухаю.

Карась налил себе, выпил, рассмеялся:

— А ты, брат, перетрухнул! То-то! Кто с Карасем однова сошелся, тот от него просто не отстанет. Вот как у меня поставлено!

— Ты, говори, говори... бей, коль намахнулся.

Карась медленно вынул из кармана портсигар, открыл его и протянул Макару. Там лежали самодельные махорочные сигарки, скрученные из газетной бумаги. Макар взял одну, прикурил.

— Портсигарчик-то Чичканова! Вишь надпись? — хвастливо сказал Карась, прикуривая.

— Ты говори, не виляй, Вася.

Карась сделал несколько глубоких затяжек, поднял смеющиеся глаза на Макара:

— Хлеб голодающим был нужон? Нужон. А ты мне привез спрятать, чтоб не отобрали. Об том могёт босота узнать, если постараться.

Макар разинул рот, словно нечем было дышать.

— Как? Ты могёшь на меня донесть?

— Ну-ну!.. Зачем доносить? Мы с тобой еще долго дружками будем. Это я так... к примеру. Чтоб ты не хвастался, будто честный. На земле честных быть не могёт. Говорят, даже ангела на небе с грешных попов взятки стали брать.

Макар молчал, опустив голову.

— Ну что? Выходит, договорились? — И Карась снова протянул Макару кружку с самогоном.

— Первый и последний раз с тобой якшаюсь.— Макар опрокинул кружку, шумно потянул носом над кусочком пирога.— Привезу — и все. Тогда меня не замай. Дай душе отдых. Я и так стал спать плохо.

— Я иной раз совсем не сплю и то молчу.— Карась жадно поедал кусок за куском и, как удав, пялил на Макара глаза.— Сидора-то Гривцова расстреляли, слыхал?

— Да ну?

— Вот те и ну! От его сына, от Тимошки, письмо я получил. Готовь, грит, Вася, гостинцы. Скоро приеду свататься. Родня, грит, собралась хорошая.

— За ково свататься?

— Экий ты, Макар, тугодум! Это только слова, а за словами — дело спрятано. Вот привезешь ящичек-другой, тогда тоже в сваты попадешь, а то и в родню запишем.

— Нет, Вася, ни в сваты, ни в родичи не желаю. Стар я для тайных дел. Лучше не приневоливай. Привезу — и крышка.

— Ну ладно, ладно, старина, не будем загадывать. На вот письмецо. В шапку, понадежней спрячь. Спросишь: «Гражданин Федоров болен или здоров?» Скажут: «Здоров как бык». Вот тогда и вынь письмо. Понял? Повтори.

Макар повторил глухим, недовольным голосом. Насупился, почесал затылок:

— Эх, Васька, зря ты меня в эти дела впутываешь.

— Довольно ныть! Кто-то идет.— Карась быстро спрятал под лавку бутылку.

— Здравствуйте,— небрежно сказала Соня.— Батя, поди сюда.— И скрылась в полутьме сеней.

Макар тревожно шагнул за порог:

— Что стряслось?

— Да ничего. Что ты такой испуженный? В Пады меня не завезешь? Я Матрене-портнихе платье шить отдам. Она лучше городских шьет. Помнишь платье в горошек?

— Нет, дочка, не управлюсь я с Падами. Вон Васька тебя возьмет, он из Падов.

Соня недовольно поморщилась:

— Тогда я лучше верхом поеду, дай седло.

— Вчера Архип взял, в Тамбов уехал.

Соня задумалась.

— Ну ладно, скажи этому... Я за узелком схожу.

Карась услышал стук наружной двери, глянул в окно. Соня шла, гордо покачивая плечами.

— Вот это краля! — воскликнул Карась и прищелкнул языком.— Чья это?

— Будя глаза-то пялить! — недовольно ответил Макар.— Это дочь моя... Соня.

— Да ты что же, старый хрен, такую ласточку прячешь?

— Сама прячется.
— Куда ты ее послал?
— Домой пошла. За узелком.
— Как домой? А это чей дом?
— Тот дом ее... От мужа остался.
— А-а... вдова! — Карась потер руки.
— Ты, Васька, мотри не хамлетничай. Она с тобой в Пады поедет. Мне-то не резон крюк делать, а ты возьми ее да мотри. Упреждаю: не хамлетничай. Убью за нее.
Васька гыгыкнул, встал:
— Убьешь? Да ну? Вот теперь ты мне начинаешь нравиться. Люблю смелых и решительных.— Он хлопнул Макара по плечу и шагнул к двери.— Так не забудь: «Гражданин Федоров болен или здоров?» — «Здоров как бык!..» — И Карась ухарски подмигнул Макару.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Тимофей Гривцов третий месяц жил в небольшом уездном городишке Кирсанове, в ста километрах от Тамбова.
Он добрался сюда товарным поездом, убежав от Парашки с документом Василия.
Начальник кирсановской милиции Антонов, будущий главарь «Зеленой армии», знавший имя Гривцова по сообщениям эсеровского центра, принял его снисходительно, определил на одну из явочных квартир около вокзала. С первых же слов он дал понять Гривцову, что хоть Александр Антонов еще и не генерал, но в адъютантах уже нуждается. Сам Антонов жил неподалеку от уездного исполкома и следил за каждым шагом ответственных работников, имея своего человека в уземотделе.
Тимофею Гривцову Антонов поручил следить за газетами, быть на явках с второстепенными лицами и вести переписку с тамбовским подпольем. Антонов выдал ему подложный паспорт — так что Тимофей свободно разгуливал по городу и успел завести себе шмару, как презрительно называл он свою толстую глуповатую любов-

ницу из кирсановских мещанок. Иногда Антонов брал Тимофея с собой в Рамзинский женский монастырь, расположенный в лесу на островке. Здесь брат Антонова — Дмитрий — читал монашкам свои сентиментальные бездарные стишки, а сам Антонов водил Гривцова по острову и объяснял, где что можно спрятать и по какой тропинке можно скорее пройти к переходу через узкое мелкое русло реки. Возил и в Чернавку, к озеру Ильмень, где в камышах было спрятано оружие.

И все же Тимофей чувствовал, что Антонов многого не доверяет ему. Болтливый братец Дмитрий куда щедрее. Он иногда запросто заходит к Тимофею и начинает высказывать свое отношение к какому-нибудь событию, думая, что Гривцов знает все. А тот, ловко лавируя, выуживает из непризнанного поэта далеко не поэтические тайны... Потом в разговоре с Антоновым он очень тонко показывал свою осведомленность, чем в конце концов покорил хитрого и скрытного «начальника милиции». Антонов стал чаще встречаться с ним, иногда даже заходил к нему с заведующим горкомхозом Беловым, чтобы угостить того самогонкой, которую под покровительством Антонова гнала хозяйка явочной квартиры. Антонов сам не пил, но угощал Белова щедро и принуждал Гривцова составить компанию.

Был смысл угощать этого человека! Алексей Степанович Белов, здоровенный мужчина, с широкими треугольными бровями, свисавшими на глаза, попал в руководящий состав прямо из грузчиков, не умея ни читать, ни писать. По распоряжению Антонова Белову сделали в кирсановской типографии печатку-факсимиле, и он пришлепывал эту печатку к бумагам на реквизицию имущества. Иногда Антонов просто брал эту печатку у ее владельца и штамповал чистые листы на всякий случай.

Однажды Антонов пришел к Гривцову не в духе:

— Сняли моего Белова. В Иру председателем коммуны послали. Жалко. Побольше бы нам таких в Кирсанове попадалось! — И впервые выпил с Гривцовым.— А ты что хмурый?

— Письмо получил. Отца расстреляли. Батрак продал. Они вот действуют, а мы сидим! — вспылил Гривцов, хмелея.— Сидим и ждем, когда до нас доберутся. В хоронючки играем! А на дворе уж осень. Зима скоро.

Антонов сердито втянул голову в плечи и криво усмехнулся:

— Вот вас, шустрых, и разогнали быстро в Тамбове. Торопливость, господин офицер, нужна при ловле блох.— Он встал, надел милицейский картуз, поправил на боку маузер.— Посмотрю, посмотрю, как ты умеешь дело ускорять. Завтра подводу пришлю, в Трескино к Токмакову поедешь. Он унтер-офицер, дезертир, я сделал его милиционером. Такая характеристика тебя удовлетворяет? Ну так вот, вместе с ним сформируй в этом селе конный отряд милиции. Человек тридцать. Официально — для охраны хлебных складов. Вот и увидим, Тимофей, на что ты способен,— уже миролюбиво улыбаясь, заключил Антонов и подал руку.

Гривцов пожал руку своего нового хозяина без особого удовольствия, а оставшись один, стал проклинать себя за мягкотелость. «Надо было всех их тут взять в свои руки! — твердил он себе.— Я и по чину старше всех!»

На другой день он был уже в Трескине.

Токмаков понравился Гривцову. Невысокий, собранный, быстрый в движениях унтер-офицер говорил смело и резко. Хитрые татарские глазки его прощупывали Гривцова целый вечер, а утром Петр Токмаков откровенно предложил Гривцову начать восстание без Антонова. «А далеко бы пошел этот хитрый татарчук в армии»,— невольно подумал Гривцов, но предложение Токмакова принял без энтузиазма.

— Раз уж Шурка все нити собрал в свои руки, пусть действует сам, посмотрим на него,— уклончиво ответил он.— Давай сообщим ему через Заева, что все готово, пора начинать...

2

Однажды из села Иноковки в кирсановскую Чека заехал с почтой ямщик Антон Косякин. Он зашел в кабинет брата Алексея, который несколько месяцев работал в Чека, и взволнованно поведал о своих подозрениях. Начальники волостных милиций Заев и Лощилин последнее время стали пересылать через него пакеты Антонову со строгим приказом вручить лично. И сегодня утром к нему

домой зашел Заев с каким-то рыжим парнем, оба пьяные, и велел передать Антонову вот этот пакет. Когда они ушли, с улицы прибежал младший сын Косякина, тринадцатилетний Федюшка, и сказал, что дядьки, которые заходили в дом, пошли бить коммунистов. «Откуда ты узнал?» — спросил Косякин сына. Оказывается, Федюшка сидел на ветле, высматривая лошадей за канавой, а дядьки шли по тропинке, и один, что помоложе, сказал: «Теперь начнем бить коммунистов». А у другого, когда он закуривал, выпала из кармана вот эта бумажка.

На оброненной бумажке чекист увидел план-чертеж пути, связывающего Иноковку с Рамзинским монастырем, и слова: «Люди готовы, лошади оседланы, пора».

Алексей велел брату сидеть в кабинете и никуда не уходить, а сам с пакетом и чертежом пошел в уком партии.

А за ямщиком Косякиным и за подъездом Чека следили неусыпно зоркие глаза антоновских милиционеров.

Посыльный из исполкома долго и безуспешно стучал в пустую квартиру Антонова.

Тогда чекисты кинулись в милицию.

Там остались только подставные лица из бывших дезертиров, на которых Антонов не надеялся.

3

Перед вечером, в сумерках, Гривцов, запыхавшийся и злой, ворвался без стука в комнату Токмакова.

Тот отстранил от себя обнимавшую его женщину и встал:

— Тебе чего тут?

— Провал! Повальные аресты! А ты обнимаешься! Эх, все вы тут...— Гривцов матюкнулся, не стесняясь любовницы Токмакова, и, махнув рукой, выскочил из комнаты.

Токмаков догнал его и засверкал неверящими дикими глазами:

— Какой провал? Говори толком. Где Шурка?

— Шурка твой успел сбежать, а вот Заев и Лощилин попались. Заева в нижнем белье у полюбовницы захватили. Теперь нас всех выдадут. Доигрались в хоронючки, ми-ли-цио-не-ры! — презрительно протянул он последнее слово.

— Постой! А кто же нас продал? Кто разнюхал?

— Иди узнай, господин унтер-офицер! — издевательски осклабился Гривцов.— Пошли вы... с вами пропадешь тут! — И он направился к конюшне.

— Куда ты? — крикнул Токмаков.

— В родные места уеду. Там у меня верные люди есть. И пулемет найдется.

— Ну постой, постой, не пори горячку,— примирительно подошел к нему Токмаков.— Это хорошо, что ты в своих селах народ подымешь. А я тут... Потом сойдемся вместе, а? Может, и Шурка где объявится? Небось в Караул подался! Или в Рамзу. Я знаю все его места.

Рассудительность Токмакова поостудила пыл Гривцова. Он мирно попрощался, взял свой походный мешок и поскакал к пойме реки Вороны, славящейся своими зарослями, болотами и оврагами.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Ощетинились стерней поля, заморосили сентябрьские дожди. Закурлыкали в небе журавли, улетая на юг.

Кривушинские мужики стали чаще собираться у сходной избы. Обсуждали сельские дела, заставляли грамотных читать губернскую газету, которую завозил к ним вместе с письмами Макар Елагин. Лист с бюллетенем о здоровье раненного эсерами Ленина зачитали до дыр; приставали к Макару: может, он чего еще знает, «акромя газеты»? Но тот молча пожимал плечами.

Василий однажды вручил Макару письмо на имя Ленина от кривушинской бедноты.

— Смотри, товарищ Елагин, не затеряй,— строго попросил он,— письмо государственное. Скорейшего выздоровления Ильичу желаем. Понял?

— Как не понять!..

Притихли, спрятались в своих каменных берлогах кривушинские богачи — слишком свежи были в их памяти судьбы Сидора и Потапа. А тут еще красный террор объявлен после покушения на Ленина. Даже на выборы нового сельского Совета не пошли — сказались больными.

Комитет бедноты провел в Совет своих членов. Андрея Филатова избрали председателем Совета, Василий Ревякин, как секретарь сельской партийной ячейки, состоящей всего-навсего из трех коммунистов, взялся организовывать коммуну. Василий жалел, что из села ушел продотряд. С ним было как-то спокойнее и веселее. Учет обмолоченного хлеба в селе комитет бедноты успел провести вместе с отрядом, а вот коммуну создавать придется одним.

На уездный съезд совдепов и комитетов бедноты Василий поехал с Андреем. Там он увидит Чичканова, расспросит у него все про коммуну.

Возницей напросился Юшка, ему очень хотелось повидать в Тамбове сына Паньку, сбежавшего без его благословения с беспутной Клашкой.

Всю дорогу до Тамбова Василий рассказывал Андрею про Парижскую коммуну. О ней он из книжки узнал в госпитале. И вот запомнил на всю жизнь.

Юшка слушал и покачивал головой. Удивленно восклицал: «Чудно!» В его голове никак не умещалось, что счастье можно дать всем людям. Да и счастья-то на всех не хватит! Редкая это штука — счастье. Из поколения в поколение только сказки о счастье сказывают. «Неужли и хромовые сапоги с калошами всем дадут в коммунии? И кашу с молоком каждый день? Не верится...»

Дослушав рассказ Василия до конца, Юшка сделал свое заключение:

— Мудер хранцуз. У нас по-евойному не получится. У нас вить того нет, чтобы отдать лишнюю рубашку... А отнять — этого скоко хошь! Разбойный народ!

— Не наговаривай на себя! Ты ведь — народ. Разве ты разбойник? У нас еще лучше получится, папаша! У нас власть советская, а у них буржуи были кругом.

— А наши-то господа куда же подевались? Все в Москву с золотишком определились. Мне Сидор говаривал: «Деревянные столбы, грит, мы, дураки, вам ставили. Вы их подгрызли, а наши дети железные поставют — об них вы зубы сломаете!» Тимошка-то, чай, опять в комиссарьях ходит да на меня зубы точит. И Сидор небось откупился.

— Не нагоняй, Ефим, страху. Мы пужаные, не боимся,— ответил за Василия Андрей.— На краю света врагов своих половим и прикончим. Ты знаешь нашу заданию? Мировая революция по всем материкам!

— Без матерка-то, понятное дело, русскому человеку скушновато. Я сызмальства материться учился у отца.

— Да ты про какой материк-то далдонишь? — спросил Василий.— Андрей про иноземные страны говорит, а ты...

— А вы чаво на меня напали? — осердился Юшка.— Коль хошь знать, я есть самый чистый коммунар! Меня хучь тут прямо на повозке в список вставляй. Коммуна, знамо дело, хорошая штука для нашего брата. Артелом-то все скорее выходит. Артелом можно мою саманку на руках в коммунию отнести.

— А ты сомневался, Андрей, что в коммуну никто не пойдет. Вот тебе третий коммунар! — весело сказал Василий.

— Не третий, а первый,— настойчиво потребовал Юшка,— это твой батя, Захар преподобный, коммуны боится, как черт ладана...

— Ну ладно, ладно, первый будешь. Так и запишем: первый кривушинский коммунар Ефим Петрович Олесин. Громко, далеко слышно будет!

— Так и надо. Шептаться-то в батраках надоело. И-эх! Сдвинулась матушка Расея с места! Где только пристанет?..

2

После первого заседания съезда, проходившего в «Колизее», Чичканов позвал в президиум Василия.

— Ну, как работает кривушинская беднота? — спросил Чичканов, усаживая Василия возле себя.

— Об коммуне мечтает, товарищ Чичканов. Да вот не знаем, с какого конца начать. Нам бы устав почитать или брошюру какую.

— Я тебе лучше адресок дам. У нас в Тамбове в архиерейском особняке, за больницей, коммуна организовалась. У них и устав себе спишешь, и своими глазами коммунаров увидишь. Люди хорошие. Приглядись, как они устроились, как действуют. Кривушинскую экономию

вместе с мельницей за вами закрепим. Только решение собрания нам сразу вышлите. Панова проводил в Волчки?

— Проводил. Скучно без рабочего класса стало,— с улыбкой ответил Василий.— Он все растолковывал с ленинской точки...

— А тебе пора самому все понимать с этой точки. Ты сколько лет в школу ходил?

— Приходскую закончил. Писарем малость работал.

— Ну вот, теперь образовывайся сам. Зайди в редакцию газеты, она в присутственных местах размещается, на втором этаже. Там есть такой Максимилиан Хворинский, он стишки пишет и библиотекой заведует. Скажи, Чичканов велел отобрать все новые брошюры для Кривуши. И читай себе на здоровье. Все ясно? Действуй.— Он пожал руку Василия.— Я иду, меня ждут.— И ушел в соседний зал.

Василий разыскал Андрея среди делегатов и утащил с собой в редакцию. В кабинете, который им указала женщина, никого не оказалось.

— Посидите, Хворинский скоро вернется.

Они вошли в кабинет, сели на стулья, придвинутые к столу у окна, оглядели стены, увешанные плакатами.

Через несколько минут дверь открылась, и вошел длинноволосый мужчина с испитым желтым лицом. Василий узнал Максимку Хворова, с которым когда-то вместе учился в кривушинской школе.

— Максимка! И ты сюда? Андрей, глянь, кто пришел! Ты где же пропадал, Максим, эти годы?

Максим Хворов позволил себя обнять, поздоровался с друзьями и, снисходительно улыбаясь, спросил:

— А вы сюда зачем?

— Да вот к Хворинскому послал Чичканов за брошюрами, а его нет. Ждем сидим.

— А он уже здесь,— продолжая улыбаться, сказал Хворов и сел за стол.— Я вас слушаю.

Василий и Андрей недоуменно переглянулись, потом уставились на Максима.

— Это зачем же ты оборотнем сделался? — недовольно спросил Андрей.— Аль под француза подстригся? — кивнул он на волосы Максима.

— Да нет, товарищи дорогие,— обиделся тот.—

Я поэтом стал, стихи пишу. Ну, мне в Питере один дружок посоветовал псевдоним взять — Максимилиан Хворинский. Так лучше звучит.

— Звучит, может, и лучше, а доверия тебе от нас теперь не будет, хоть обижайся, хоть нет,— сказал Андрей.— И мы тебя так звать не будем. Нас, слава богу, крестил русский поп.

— Ну ладно, ладно,— уговаривал Максим Андрея.— Сдаюсь, виноват, хватит об этом. Зовите, как хотите. Скажите только, как поживает Кривуша? Давно там не был.

— Вот коммуну создаем! — гордо ответил Василий.— Чичканов велел тебе отобрать для нас все новые брошюры.

— Отберу, обязательно отберу,— дружески хлопнул Максим Василия по плечу.— Не торопите меня. Давайте лучше вспомним про былое... детство вспомним. Помнишь, Вася, как мы с тобой закон божий учили? Батюшку как передразнивали? А случай с Андрюшкой никогда не забуду... Петр Иванч Кугушев... Помните? По письму урок вел. За окном, помню, метель, а мы пишем: пришла зима... Зима пришла... И вдруг ты, Андрюшка, во весь голос: «Петр Иванч! У Алдошки вша на затылке полозиит».— Максим весело захохотал, подбрасывая рукой длинные волосы, спадающие ему на лоб.

— Теперь в гости к нам приезжай, на открытие коммуны,— пригласил Андрей.— Мы у тебя там сразу гриву отстригем, товарищ Хворинский.

— Приеду, обязательно приеду. Может быть, даже очерк про вас напишу в газету.

— А ты могешь? — спросил Андрей, удивленный.

— Конечно, могу! У меня вот даже книжечка стихов в Питере вышла.— Он достал из ящика желтенькую книжечку в несколько листков.

Василий и Андрей подержали ее в руках, прочли обложку и с уважением вернули Максиму.

— Давай, Максимилиан, пиши про нас,— облегченно сказал Василий.— Раз так звучит лучше, нам все одно.

Максим Хворов открыл шкаф, набрал с десяток брошюр и подал Василию.

— Про коммуну тут есть? — спросил Василий.

— Тут нет. В Комиссариате земледелия есть положение о трудовых коммунах. Зайди туда.

Когда вышли на улицу, Андрей, морщась, сказал:

— Не знаю почему, не нравится он мне. Своего роду-племени стыдится. На стишки кровное имя променял.

— Черт с ним, с оборотнем,— резко сказал Василий.— Нам с тобой не до него. Ты вот что не забудь: вечером к Парашке сходи. Мне неудобно, а ты разнюхай, не появился ли Тимошка? Может, он письма ей откуда пишет?

3

Так же скупо светило над Кривушей сентябрьское солнце, как и сто и двести лет назад; так же моросили осенние дожди, как будут моросить и через сто, и через двести лет, но в те дни кривушинские бедняки вершили неповторимые дела. Увлек Василий бедняков жить коммуной. По окрестным селам пополз слушок: «Васька Ревякин в барские хоромы бедноту свою прет».

А в Кривуше толковня по домам: неужели кто осмелится в барский дом поселиться? А как это — вместе жить? Может, и баб совместно пользовать?.. Ухмылялись мужики, судачили бабы, проклиная босоту.

К сходной избе, где проходило организационное собрание, стеклось все село. Окружили кривушинцы бедноту, словно собирались на приступ идти. Заглядывали в окна, стучались в дверь, свистали пьяные детины из толпы. А в самой избе душно было от горячего дыхания взволнованных людей, от горького дыма самосада. Бабы ругались на курильщиков, вырывали цигарки, но появлялись новые.

Василий за столом, накрытым красным коленкором, медленно, по пунктам читал устав коммуны:

— «Коммуна имеет целью наиболее равномерное удовлетворение всех жизненных потребностей своих участников путем рационального применения технических средств и рабочих сил в полном соответствии с основными принципами социалистического строя...»

— Повтори!

— Слов много, сразу не поймешь! — крикнула бойкая жена Андрея Филатова.

— Ты нам, Васятка, своими, кривушинскими словами обскажи все как есть,— почтительно добавил Захар, сидевший у стола.

Василий оглянулся на Андрея, ища помощи, но тот пожал плечами.

— Это, одним словом, про технику, товарищи... Плуги, значит, там, другие всякие машины... Надо их применять, и тогда жизнь будет лучше.

— Вот таперь ясно. Валяй дальше!

— «В жизни коммуны неукоснительно проводится следующее начало: а) все принадлежит всем, и никто в коммуне не может ничего назвать своим... Каждый...»

— Э-э! Стой, стой! Повтори, повтори! Как это там?

— Все принадлежит всем...

— А это как же понять: все и всем? Курица, на что глупая, и та — навоз в сторону, а зерно в клюв...

— Что ж, и баба моя всем принадлежать будет? — спросил Кудияр.

— Ха-ха-ха! — дружно захохотали на заднем ряду бабы.

— Она у тя дюжа тоща!

— Скусу в ей нет!

— Ха-ха-ха!

— Тихо, товарищи.— Василий кашлянул и, набычившись, сказал: — На посмешку такое дело не позволю! Понимать надо! Все всем — это значит, что скот, инвентарь — общие, столовая — общая... Одним словом, каждое семейство одинаковые права заимеет. А баба твоя никому не нужна,— сказал он, повернувшись к Кудияру.

— Читай дальше!

— Ясно, давай, бузуй дальше!

— «Каждый в коммуне обязан трудиться по своим силам и получать по своим нуждам, что может дать коммуна».

— Вот это нашими словами сказано!

— И понятно все сразу: хошь — работай, хошь — нет, а получай скоко хошь!

— Райская жизня!

— Товарищи, товарищи, потише! Вот как раз вы и не поняли.— Андрей снова вышел к столу.— Трудиться по силам. Если есть сила — трудись, нет силы — отдыхай.

А кто лешего валять на печке думает — не выйдет! Друг за дружкой следить будем!

— Оно понятно, да как узнать, что живот болит, примерно?

— Дохтора надо выписать в коммуну! — засмеялись бабы.

...Дотемна засиделись, все на свете забыли,— так взволновала бедняков новая жизнь, в которую звал их Василий. Разговорились даже те, которых считали молчунами, и все словно оттягивали самый решающий момент, когда потребуется поднимать руку.

Но этот момент наступил.

— Если всем все понятно, то будем, товарищи, голосовать. Кто за то, чтобы создать нашу кривушинскую коммуну? Поднимите руку.

Первыми осмелели Юшка и Сергей Мычалин, за ними потянулись Семен Евдокимович, Алдошка Кудияр, братья Лисицыны, Аграфена.

Василий глянул на отца. Тот сидел, опустив голову, ковырял пальцами заплатку на коленке.

— А ты, батя, чего ждешь? — сердито спросил Василий.— Особого приглашения?

Все вдруг опустили руки и метнули взгляды на Захара.

— Каждый за свой живот в ответе,— не подымая головы, ответил Захар.— Я вам не мешаю. У меня Василиса хворая, коммуне лишний рот. Попреки слухать не хочу.

— Да что ты, Захар! — крикнул Семен Евдокимович.— У Юшки вон псарни целая кибитка, и то берем на свой харч. Давай пишись и ты.

— Нет, мужики, погожу трошки.

— Это что же? — встал Кудияр и подошел к Василию.— Нас агитируешь, а свово отца в тень прячешь?

Василий побледнел. Сейчас все может рухнуть. Возглас Кудияра внес смятение в души бедняков. Это видно по людям, уже прячущим свои глаза от глаз Василия.

— А мы с ним поделились давно! — громко сказал Василий, метнув взгляд на отца.— Как я в партию вступил, так и поделились. Я за него не отвечаю теперь. У меня свое имущество, с каким я в коммуну иду!

Захар удивленно и жалобно посмотрел на сына.

— Правда, што ли, Захар? — зашумели за спиной.

— Правда,— ответил он.— Отделил я его.

Андрей встал:

— Товарищи, как советская власть на селе, я подсчитал голоса. Одиннадцать семейств стали членами коммуны. Предлагаю назвать нашу коммуну именем Карла Маркса, так как он первый про коммуну говорил. Кто за это?

Все, что говорили в сходной избе, через несколько минут было известно всем жителям Кривуши, толпившимся вокруг. Под их ногами земля была притоптана и засыпана серой шелухой подсолнухов.

— Значитца, скоро на новоселье? — заговорщически подмаргивали здоровенные парни, шнырявшие в толпе.

— Кутнем на радостях!

Вышедших из избы коммунаров встречали настороженно, рассматривали другими глазами — будто те, став коммунарами, переменились даже лицом.

— Ну, а когда же в хоромы переезжаете? — спрашивали любопытные бабы.

— Васька Ревякин себе самую хорошую хоромину возьмет.

— Вы за ём смотрите, обведет вас, шельма!

4

Тяжело было бросать обжитые углы. Ох как тяжело.

Даже видавшие виды мужики смахивали слезу, прощаясь с родным подворьем. Больше, чем на свадьбу, собиралось народу у каждой избы, откуда увозили свое барахлишко коммунары. Голосили бабы, как по покойникам, провожая родственников на барскую усадьбу, стоявшую за Кривушей на взгорье.

Только Юшка весело шагал рядом со своей телегой, которую теперь вместе с лошадью он сдавал в коммуну.

— Что взревелись, едрена копоть? — ругал он баб, окруживших Авдотью.— На второй етаж мне жребия выпала. Над Кудияровой головой плясака отдирать буду. А вы орете, дурьи головы! Авдотья моя скоро королевой будет! Наряжу в шелка! Вы от зависти лопнете!

На усадьбе, у дороги, почти весь день стоял бывший управляющий австриец Пауль, встречая повозки коммунаров.

— Я поздравляю вас новосельем,— твердил он и цепкими глазами рассматривал ветхий скарб, который везли в имение коммунары.

А вечером, когда угомонились уставшие за день новоселы, Пауль пришел к Василию.

— Мне давно пришел разрешение ехать на родину, Австрия. Но я — хозяин. Я не любил бросить хозяйство на произвол. Я ждал хозяин. Теперь вижу — экономия попаль в корошие руки. Я поздравляю вас! Теперь отправьте моя семья на станцию.

Василий вежливо усадил Пауля на оставшийся от барина венский стул и долго расспрашивал о хозяйстве. Австриец ничего не скрывал, он даже дал дельные советы, с чего начать восстановление хозяйства.

На другой день Василий принял у него мельницу, поставив туда заведующим младшего сына Семена Евдокимовича — Михаила, а сам с коммунарами взялся за очистку конюшен и коровника, аккуратно складывая навоз в кучи. Бабы радовались ровным дощатым полам, целые дни мыли и скоблили, наводя порядок в комнатах.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Чичканов оторвался от бумаг, устало откинулся на спинку кресла. Подведены итоги борьбы за хлеб по всей губернии. Не очень-то радостные итоги, но работа повсеместно налаживается. Все чаще стали приходить в Губсовдеп энергичные, преданные советской власти люди, готовые выполнить любое задание. Без них невозможно руководить губернией. Их честная информация о положении дел на местах — самое дорогое для руководства. Побольше бы таких людей! Заменить бы ими старых чинуш во всех учреждениях, но не доходят до всего руки.

Главное сейчас — хлеб. И картофель. Только что получена вторая телеграмма ЦК: отгрузить во что бы то ни

стало три миллиона пудов картофеля. Во что бы то ни стало! Он, председатель Губисполкома Чичканов, отдаст все силы, чтобы выполнить это задание партии.

Чичканов встал с кресла, подошел к окну. В открытую форточку пахнул бодрящий сентябрьский воздух...

На столе зазвонил телефон.

— Я слушаю... А-а, это ты, Сергей?

В трубке Чичканов услышал веселый голос своего старого друга, Сергея Клокова, с которым вместе учился в реальном, вместе охотился в былые времена на уток и зайцев в пригородных лесах. Теперь Клоков — руководитель учетно-контрольной коллегии, «глаза и уши» председателя Губисполкома.

— Эх, Миша,— послышалось в трубке,— сам сидишь день и ночь и меня изводишь. Ну, хоть денек-то можем мы отдохнуть или нет? Завтра воскресенье. Давай махнем на озера... по уткам, а? Оторвись на денек!

— Нет, Сергей, не могу. И тебя не пущу. Не время. Наши с тобой утки пусть жиреют до будущего года. Зайди вечером ко мне с отчетом, а про уток пока забудь... Не горюй, доживем до лучших времен.

В трубке послышался глубокий вздох и усталый голос:

— С тобой наработаешься до упаду, не доживешь!

— Вот передо мной телеграмма... Тяжело раненный Ленин встал с постели раньше срока, чтобы работать, а ты... Вот послушай, что кирсановцы пишут ему в телеграмме: «Дорогой Ильич, мы, бедняки деревень и городов, съехались на уездный съезд Советов в тот великий день, когда ты встал с постели и принялся за работу и строительство социализма. Мы приветствуем дорогого вождя и даем клятву, что всю свою силу отдадим на борьбу с черным интернационалом. Черному стану — красная смерть!..» Вот так, товарищ Клоков! Заходи, жду.— И Чичканов опустил трубку на рычаг.

Задумчиво провел ладонью по лицу. Ничего, ничего, придет время, и отдохнем, и поохотимся, и в кругу семьи чай попьем спокойно, а сейчас... Он перевернул папку с отчетом и взял циркуляр Комиссариата земледелия о коммунах. «В настоящее время,— прочитал он,— вопрос о коллективной обработке земли самой жизнью выдвинут на первый план. На местах, как в России, так и в Сибири, коммуны возникают одна за другой и служат

доказательством того, что идея коммунального хозяйства приобретает все больше и больше сторонников... Но надо следить за тем, чтобы коммуны организовывались согласно закону о социализации земли, чтобы они строились действительно на трудовых началах... Коммуны под руководством Совдепов должны повышать культурный уровень своих хозяйств и служить примером для окрестного населения...»

На уголке циркуляра Чичканов размашистым почерком написал: «Всем председателям коммун...»

2

Дверь широко распахнулась, и в кабинет быстрыми шагами вошел Подбельский.

Чичканов встревоженно встал. Обычно Подбельский телеграфировал о своем приезде заранее, его встречали на вокзале. А сейчас... Значит, в Козлове серьезные события. Чичканов испытующе изучал лицо Подбельского. Впалые, с нездоровым румянцем щеки, усталые сердитые глаза...

— Ты хорошо знаешь председателя Козловского исполкома? — тихим, охрипшим голосом спросил Подбельский. Он тяжело опустился в кожаное кресло перед столом.

— Лавров настоящий большевик,— коротко ответил Чичканов.

— И председатель Чека Петров настоящий,— перебил Подбельский,— оба настоящие, а нам от этого не легче. Петров влево загнул — до преступлений. Лавров вправо шарахнулся. А простые смертные всему этому делу свою окраску дают: из-за власти, мол, подрались.

Подбельский провел длинными сухими пальцами по ежику жестких волос, потер высокий морщинистый лоб, поправил усы. За всеми этими движениями Чичканов угадал крайнее волнение Подбельского.

— Так какие же результаты?

— Один день расследования, а я так измучился, дорогой земляк,— недовольным тоном ответил Подбельский.— Пришлось говорить с людьми, которые явно примазались к партии. Петрова славословят явные подлецы и проходимцы. Я понял, что его пролетарской рукой, в

которую мы вложили меч, руководила не его голова. Безграмотный, упрямый кузнец Петров, «Теренч», как его прозвали в Козлове, заучил одну только фразу: «За революцию в мировом мачтабе!» А редактор, этот хитрый пройдоха Мебель,— фамилия-то какая! — хорошо изучил характер Петрова, он решил в своих корыстных целях столкнуть его с Лавровым. Во время мятежа Мебель прятался вместе с Петровым где-то в лесу, а теперь стал болтать о связи Лаврова с эсерами. Мол, Лавров потому и шел смело к мятежникам, что знал: не убьют своего. А теперь, мол, Лавров их покрывает... Петров дал своему коменданту Брюхину безграничные полномочия. Начался террор по всему уезду. Брюхин уничтожал не столько контру, сколько тех, кто не нравился Петрову и ему лично. Двадцать второй номер в гостинице, где разместил свой кабинет Петров, стал страшилищем для козловцев.

— Что же смотрел Лавров! — возмутился Чичканов.

— Он не смотрел. Он вызвал военкома и с его помощью арестовал Петрова и его коменданта.

— Правильно сделал.

— Вот тебе и правильно! Мебель — газетчик! Он не замедлил послать в «Известия» корреспонденцию о новом «мятеже эсеров», возглавляемом Лавровым. Козловские коммунисты были введены в заблуждение. Они освободили Петрова и арестовали Лаврова. Лавров теперь в ВЧК, в Москве. Сегодня пойду к прямому проводу. Буду говорить с Яковом Михайловичем Свердловым. Безусловно, Лаврова отпустят, но подумай, дорогой товарищ Чичканов, как все это выглядит, как об этом говорят в народе? И я сейчас волнуюсь уже не из-за Лаврова или Петрова. Меня тревожит возможность появления в других местах «лавровщины» и «петровщины», как называют это теперь козловские товарищи.— Он помолчал, разглаживая усы, потом встал, подошел к окну.— Недостаток образования и партийной культуры — и впредь самая опасная болезнь для многих наших честных, преданных, настоящих, как ты говоришь, большевиков. Об этой своей тревоге я обязательно расскажу Свердлову.— Подбельский закашлялся, зашагал по кабинету. Его худая, высокая фигура ссутулилась, словно на плечах была тяжелая ноша.

Но вот он подошел к столу, выпрямился:

— Надо послать людей на места. Проверить кадры в уездах. Пока тебе одному сообщаю: ЦК эсеров взял новый, подлый курс. Эсеры повально идут в нашу партию, чтобы изнутри разложить ее.— Подбельский захватил пальцами кончик усов, пощипал, словно что-то вспоминая.— Владимир Ильич, как никто другой, понимает сложность настоящего момента. Врачи не разрешили ему выходить на работу, но он не послушался. Ходит с перевязанной рукой... Вот так-то, дорогой земляк товарищ Чичканов. Зови Миллера и Бориса Васильева. Поговорим о кадрах.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Холодный бездорожный октябрь.

Каждое утро, еще не умывшись, Василий выходил из коммунарского двухэтажного дома и тревожно смотрел в сторону мельницы. Помольщиков приезжало все меньше и меньше. Но, видно, не только бездорожье держало мужиков дома.

Неужели за грозными слухами, которые третий день беспокоят коммунаров, стоит настоящая опасность? Василий шел в сельсовет к Андрею, но и тот ничего определенного не знал.

Прошло еще несколько настороженных, мрачных осенних дней. И вдруг на мельницу приходят двое неизвестных в галифе и кожаных куртках. Наглые, руки держат в карманах. Увидев Василия, окликнули:

— Эй, председатель, зря храбришься! Распусти мужиков из коммуны, пока не поздно! Отдай мельницу обществу!

Подойти к ним Василий не решился, молча прошел мимо.

А вечером из Кривуши вернулся взбудораженный Андрей:

— Плохие вести, Василий. Я посылал верхового в волость... Восстания в Большой Липовице и Покрово-Марфине. Под Отъяссами два дня назад убиты моршанские

руководители Лотиков и Евдокимов. Телефонные провода порваны, волостного убили. В Воронцовском лесу, говорят, много дезертиров. У них пулемет даже есть. Хлеб с продпунктов мужикам раздают. Наши мироеды в Большую Липовицу поехали.

— И Долгов тоже? — спросил Василий.

— Его не видели.

Ночью мужчины-коммунары собрались в квартире Василия. Юшка и Семен Евдокимович присели на корточках у порога, тихо переговариваясь. Юшка был в новых штанах и новом картузе, отобранных у Сидора.

— По ночам, Василь Захарч, свои сельские стали рыскать по усадьбе,— заговорил Сергей Мычалин.— Я сторожил вчера, Турова Ивана и Долгова Федора видел. «Што-то, говорю, мужики, поздно ходите?» А они: «Заблудились мы, заблудились». А сами смеются. Отошли подальше и говорят: «Скоро бить вас зачнем, коммуны́!»

Хоть и немало Василий под пулями в окопах сидел, а жутковато стало. Глянул на своего друга Андрея, тот тоже голову опустил, насупился, обдумывает что-то. Юшка стащил картуз с головы, мнет его.

Семен Евдокимович развел своими саженными руками:

— Оружьев у нас маловато, обороняться нечем, а то бы и я старинку вспомнил.— И браво качнул богатырскими плечами.

— Какой там обороняться,— мрачно сказал Алдошка.— Разозлим только. Давайте располземся пока по домам, переждем.

— Это тебе есть куда расползаться,— ехидно ответил Юшка.— А я за угол своей саманки на радостях рыдваном задел. Мне одно теперь: горе горюй, а руками вой.

— Правильно,— вступился Андрей.— Обороняться надо, пока патроны есть.

— А в центре власть чья? — беспокойно спросил Алдошка.

Ему никто не ответил.

Василий прошелся по комнате, вглядываясь в лица коммунаров. Вот они, главы одиннадцати кривушинских бедняцких семей. Каждый сейчас взвешивает, насколько дорога ему новая жизнь, каждый понимает, что отреза-

ны пути к старой. И еще — каждый проверяет, хватит ли у него смелости до конца бороться за новую жизнь?

Василий остановился против тестя и как можно внушительней произнес:

— Хорошо ты, папаша, сказал: горе горюй, а руками воюй. Нам отступать, товарищи коммунары, некуда. В кабалу к кулакам идти? У кого есть охота? Мне вот товарищ Панов сказывал, как их Ленин напутствовал, когда к нам провожал. Эсеры, говорит, могут еще испытать нашу силу, но коммуну им не сломить! Товарищ Чичканов нам помощь окажет, коль что. А нам держаться надо!

— Мне покойник отец завсегда твердил: лучше упади брюхом, только не духом! — вставил Юшка.

Андрей рванулся к окну и шикнул на Юшку. Василий погасил лампу.

— Что там?

Разглядели несколько фигур, которые мельтешили в полутьме у амбаров.

— В ружье! — крикнул Василий.

Коммунары побежали вниз. С улицы раздалось несколько выстрелов. Зазвенело разбитое стекло, заплакал проснувшийся Мишатка. Маша заткнула разбитое окно подушкой и взяла сына на колени.

Василий и Андрей первыми выскочили на улицу и выстрелили в сторону амбаров. В сыром осеннем воздухе выстрелы прозвучали очень гулко. В Кривуше залаяли собаки, в овраге послышался тайный пересвист. Василий и Андрей выстрелили еще раз.

Между амбарами нашли связанного сторожа Ермакова. Во рту у него кляп, ружья нет. Он долго отплевывался, чертыхался.

— Все свои, сельские... Щелчка по кашлю опознал. Добре пинками били, больно. И Долгов был... Хрюкал, как боров.

После короткого совещания коммунары решили оставить на усадьбе двух сторожей — Кудияра и Семена Евдокимовича. Остальные повели скот в хутора к надежным людям. Весь следующий день вооруженным обозом развозили хлеб с мельницы по хорошим знакомым Андрея Филатова, а в ночь повезли на дальний хутор овец.

Вернулись только перед рассветом и не узнали своего

двухэтажного дома. Не осталось ни одной рамы, ни одной двери. Избитые, перепуганные женщины и старики кое-как перетащили свои узлы в маленький разваленный домик, где при помещике жила прислуга. Бандиты увели двух коров, которых оставляли, чтобы было молоко детям, постреляли гусей и кур, увезли последнюю муку. Подыхайте, мол, с голоду.

Из домика выскочили навстречу матери, жены. Плачут, умоляют вернуться в Кривушу. Пришел Семен Евдокимович, который оставался за сторожа. Полушубок его порван, под глазом синяк.

— Вам, начальники,— сказал он Андрею и Василию,— оставаться тут больше нельзя. Алдошка Кудияр со своей бабой в Кривушу сбежал, ружье бросил. Все теперь разбрешет им, сучий сын! А там целая банда собралась.

— Батя,— Андрей подошел к отцу.— Возьми с собой в Кривушу Дашу с маленьким. А мы с Василием в Волчки махнем, к Панову.

— Нет, Андрюша, обоим нельзя людей бросать. Скачи один. Ружье оставь, возьми мой наган.— Василий протянул ему револьвер, пожал руку.— Пусть Панов в Тамбов сообщит или сам с отрядом...

Андрей взял револьвер, сунул за пазуху и, хлестнув коня длинным поводом, помчался с усадьбы.

2

Захар уже не в силах был бежать, но страх за жизнь сына все гнал и гнал его к коммуне.

Захар смирился, что сын стал коммунистом, он понял, что коммунисты делают в селе хорошее дело, а наказывают только тех, кто заслуживает того своими волчьими делами. Теперь Захар спешил в коммуну. Из буерака он выползал на четвереньках, оскользаясь на грязном откосе и с опаской оглядываясь на Кривушу. Когда увидел скачущего по полю Андрея, настолько обессилел, что не смог даже крикнуть ему, чтоб тот вернулся. Через вишневый сад Захар брел, держась за стволы, за сучки, исступленно шепча молитвы.

Его заметил Юшка, подбежал к нему, взял под руку.

— Сынок, Васятка, прячься скорее,— едва слышно заговорил Захар.— Тимошка Гривцов с пулеметом суды едет. Тебя ищет. Убьет, сынок, прячься.

Василий схватился за повод, хотел садиться на коня, но в стороне, куда поскакал Андрей, послышалась частая стрельба. Коммунары притихли. Андреева Даша зарыдала, припав к плечу свекра.

— Поздно, сынок, не ускачешь. Прячься тут, пересиди трошки.

— Скорее, Васятка, скорее, мать твою бог любил! — крикнул Юшка, таща Василия за рукав.— Под печку спрячем, под печку, где картошка засыпана...

— Товарищи коммунары! — Василий побледнел, под глазом задергалась жилка.— Не могу вам помочь. Сами видите. Прощайте. Уходите в Кривушу, вас не тронут.— Он отдал повод Сергею Мычалину и кинулся к разграбленному двухэтажному дому.

В подвале темно и душно. Юшка торопливо отгреб картошку от печки, там показалось отверстие.

— Скорей лезь, скорей!

Василий нырнул в темноту, ударился раненой ногой о какую-то доску, чертыхнулся. Юшка завалил лаз под печку картошкой и убежал. Все затихло. Василий уткнулся ртом в полушубок — душил кашель от пыли.

Вскоре он услышал, как наверху по пустым комнатам бегают люди и гулко хлопают выстрелы. А вот и подвальная дверь тихо скрипнула... Хрустнула под чьим-то сапогом картошина.

По спине Василия пробежали мурашки.

Сиплый голосок:

— Ванька, пальни в печку! Можа, туды залез, дьявол!

Оглушительно громыхнул над головой выстрел. На шею посыпалась глина.

— Нигде нет. Как скрозь землю провалился. Наверно, ускакал тоже, проклятый!

— А картохи-то скоко припасли! Надо приехать набрать возок.

И ушли...

Захар стоял среди мужиков-коммунаров, собранных Тимошкой Гривцовым, и машинально твердил молитвы.

Женщин и детей Карась загнал в домик, у двери поставил бандита с обрезом.

— Где Васька Ревякин? — крикнул на коммунаров Гривцов и хищно передернул щекой.

— Убёг,— ответил Семен Евдокимович.

— Куда? — Тимошка положил руку на эфес шашки, болтавшейся на боку.

— А я почем знаю. Я за ним не бегал.

— Ах, ты не знаешь? Гришка, всыпь ему плетей!

Горбоносый пьяница Гришка Щелчок сорвал с Семена Евдокимовича шубу и изо всех сил хлестнул по спине плетью. Съеденная потом рубашка расползлась, оголив богатырские лопатки грузчика. Красные змеи одна за другой легли крестом на теле коммунара.

— Ну, вспомнил?

— Убёг, говорю,— прохрипел Семен Евдокимович.

— За что отца бьете? — крикнул младший сын грузчика Михаил.— Лучше меня секите!

— Гришка, заткни ему глотку! Всыпь неочередных, коль выпрашивает.

Гривцов подошел к Захару, взял за грудки:

— А ты зачем сюда приперся? Ты же не в коммуне!

— Машу пришел взять, тяжелая она. И Мишатка больной.

— Говори, куда Васька убег? Не скажешь — убью!

— Коль господь бог твоей рукой водит, Тимоша,— покорно ответил Захар,— то стреляй, все одно.

Гривцов дернул его за бороду, свалил с ног и стал бить носком сапога:

— Мово отца не жалели, сволочи, так и я вас, проклятых, не жалею! — заорал он, рассвирепев.

Подскочил к Юшке, ткнул ему дулом нагана в живот и сквозь зубы процедил:

— А с тобой, иуда, у меня особый разговор будет! Сымай отцовы штаны. Ну!

Юшка перекрестился, снял штаны.

— У нево и исподники-то черные, как штаны,— засмеялся Карась, указывая плетью на Юшку.

— Через всю Кривушу в исподниках на виселицу поведу! — крикнул Тимошка, отшвыривая ногой штаны, которые снял Юшка.— Отведите его в мой амбар. Захара в сходную избу заприте. А вы, проклятые, подыхайте тут с голоду вместе со своими женами и детьми!

Гривцов вложил наган в кобуру, подошел к повозке, на которой стоял пулемет.

— Поехали! — крикнул он бандиту, державшему дверь, и первый прыгнул на телегу.

Юшку и Захара окружили бандиты. Толкнув в спину прикладами, повели с усадьбы. Из домика с криками выскочили женщины, таща на руках детишек. Авдотья кинулась за конвоирами, но поскользнулась и упала в дорожную грязь...

3

В ту суровую осень на Тамбовщине то тут, то там вспыхивали кулацкие мятежи, которыми руководили сбежавшие из городов офицеры и агитаторы эсеровского центра, специально посланные в уезды.

Почувствовав пропасть под ногами, они настолько озверели в своей слепой мести, что не брезговали самыми жестокими мерами.

В селе Ямберна кулаки живыми сожгли на костре братьев Половинкиных: Семена — за то, что был секретарем сельской партячейки, Дмитрия — за участие в комитете бедноты. Одиннадцать коммунистов того же села подверглись страшным пыткам.

Тарадеевские кулаки по шею зарыли в землю председателя волкомбеда и раскаленным железом ослепили его. Средневековый смрад повис над селом...

Живыми топили в колодцах, отрубали топорами головы, вешали, стреляли людей, которые собирали по селам хлеб голодающему пролетариату, людей, осмелившихся строить новую жизнь на селе.

Мятежи в Моршанском, Кирсановском, Шацком, Борисоглебском и Тамбовском уездах унесли сотни жизней первых коммунаров (так называли тогда всех коммунистов и сочувствующих им). В десятках волостей были разграблены хлебные склады. Хлеб, с таким трудом собранный для голодающих, кулаки снова зарывали в землю, а то и просто сжигали на месте.

Головы многих мужиков-середняков, точно флюгера, вертелись то в одну, то в другую сторону; они не успевали еще решить, идти ли с мятежниками, как выстрелы раздавались уже с другого конца села, и они запирались

на все задвижки и «пережидали». Но, пожалуй, самым страшным было равнодушие, с каким наблюдали иные мужики за расправами над коммунистами. А то и сами помогали мироедам.

— Что же вы делаете, мужики? — обращался к ним коммунист, которого они били.— Ведь для вас же лучшей жизни добиваемся.

И слышал равнодушный ответ:

— Откедова мы знаем, кому ты лучшего хошь? Покедова не видать от вас...

Сколько же надо было иметь мужества, стойкости, чтобы с честью носить имя коммуниста!

4

Василию нечем было дышать. Мучила жажда. Раненая нога ныла от сильного ушиба, нужно было освободить ее, чтобы не затекала. Лежать дольше не было смысла. Уж лучше погибнуть на просторе, на глазах людей, чем задыхаться в этой конуре!

Начались приступы кашля. Сколько он тут лежит? Нет, надо на воздух! Он стал двигать здоровой ногой, чтобы отпихнуть картошку от лаза, но в это время послышался скрип двери.

Бросило в жар. У ног зашуршали картошины, и едва слышный, но очень знакомый голос тещи позвал:

— Васятка, а Васятка? Это я, Авдотья. Вылазь скорее!

Она помогла ему вылезти, подала пузырек с водой, кусок хлеба. Пока он жадно глотал из пузырька, Авдотья торопливо рассказывала:

— У Маши схватки от страху были. Думали, выкинет, ан обошлось. Лежит она. И Мишатку знобит: простыл, видать, дюже. А ты уходи скорей, уходи, пока Долгов из Кривуши не вернулся. Следят за нами, даже хлеба не велят из села носить. Пропадем тут все. Юхима и Захара забрали, убить грозятся. Про Андрея не слыхать. Иди, сынок, скорее, иди, пока луна не вышла.

— А лошади нет?

— Все забрали, все... Ничегошеньки не оставили, собаки! Беги, сынок, беги скорее! Долгов опять придет, весь день тут торчал, вынюхивал.

Опираясь на плечо Авдотьи, Василий встал, прошелся. Ногу ломит, но идти надо.

С трудом выбрался из подвала, отдышался на воздухе. Авдотья обошла усадьбу, проверила, нет ли где засады, и вернулась к Василию:

— С богом, сынок, нет никого. Иди. Грязи-то сейчас меньше. Приморозило вроде.

Василий поцеловал тещу и, хромая, зашагал в темноту. Авдотья долго еще стояла на месте, беззвучно плача, а Василий тащился по саду едва-едва, от яблони к яблоне, от куста к кусту.

Вскоре за кустами показалась рига Артамона Ловцова. А что, если отлежаться до полуночи в этой риге? Будь что будет. Василий зашагал по слегка примороженной, но еще вязкой пахоте.

Вот и ворота. Почему они открыты?

— Свят, свят,— проговорил кто-то в воротах,— господи помилуй. Кто это ?

Василий угадал голос Артамона Ловцова.

— Иди, Артамон, выдавай Тимошке. Все равно теперь. Бежать не могу.

— Никак ты, Захарч? — удивился Артамон.— Господи! Да как же ты попал суды? Иди в избу, отогрейся. Щец хлебни горячих.

— Сын твой все равно выдаст. У Тимошки небось служит.

— Да вить трус он, батюшка, Митрофан-то мой. Дезертиров-то ловят да стреляют, вот он и прячется в лесу с Карасем. А совесть в ём ищо господь не убил, отца слухается.

— Артамон, знаешь небось... мой отец жив?

— Отпустили его. Мужики отстояли. Плетьми отделался. А Юхима в амбаре держит Тимошка. И бьет дюже.

Артамон довел Василия до дома, открыл дверь. Старуха узнала председателя коммуны, запричитала:

— Что ж ты, старик, делаешь-то, погубишь нас всех. Митроша придет сейчас.

Артамон цыкнул на нее:

— Пусть идет. Налей щей Захарчу. Подкрепиться ему надо. Бог милостив.

Не успел Василий доесть щи, как с жалобным писком

открылась дверь. Митрофан увидел Василия и остолбенел в дверях.

— Ну, чего дверь-то расхлебенил? — строго сказал Артамон, взмахнув лохматыми бровями.— Не узнаешь, что ли? Он мой гость. И ты его не видишь, понял?

Митрофан сжался, напружинился, неловко сунул обрез под лавку.

— Ужинай и ложись спать,— продолжал поучать сына Артамон.— Я Захарча отвезу до дальних хуторов, а там бог ему судья.

Митрофан молча мотнул головой, разделся, сел к столу, кося глазами на Василия.

— Пойдем, Захарч!

Когда вышли во двор, Василий попросил Артамона:

— Ты лучше дал бы мне коня. Я верну. Зачем тебе со мной тащиться?

— Эх, Василий Захаров, ты ведь крестьянин, а говоришь так. Да я лучше на своей хребтине тебя отвезу до Тамбова, токо бы лошадь в надеже стояла, под рукой была.— Артамон усадил Василия верхом, взял повод и повел коня на огороды.

5

Юшка валялся на полу темного амбара, в котором знал каждую щелку, каждую дощечку. На том самом полу, который пропитан его потом за долгие годы батрачества. Он не плакал, не стонал, хотя чувствовал острую боль во всем теле. Он только дрожал от холода, лязгая зубами, и тупо смотрел в угол, часто дыша, словно ему не хватало воздуха. И вспоминал... Сколько раз приходилось Юшке спасать отчаянного хозяйского пацана от родительского гнева! Сколько добра он сделал этому выродку Тимошке! А для чего? На этот вопрос нет ответа. Кипит что-то в сердце, словно вместо крови туда влили горячую жидкость. Тело дрожит, а сердце горит. И Юшка вдруг почувствовал себя совсем другим, будто только на пятидесятом году жизни он стал совершеннолетним, взрослым, мужественным человеком, который понимает, что дело не в коне и не в телеге, о которых он так мечтал и которые так желал иметь на своем подворье. Их могут дать, могут отобрать. Нет, не в них смысл!

И не в дурашливом балагурстве спасение от трудностей жизни. Балагурство — самообман... Тогда в чем же смысл?

Юшка вспомнил, как впервые в жизни ударил по уху своего обидчика Сидора Гривцова и после этого почувствовал себя человеком свободным и сильным. Так вот в чем смысл! В схватке с врагом, в борьбе за то, чтобы вот эти честные, мозолистые руки не были протянуты к Сидору за куском хлеба, того хлеба, который сами же вырастили, вымолотили и ссыпали в мешки... Чтобы эти натруженные руки могли защитить семью, друзей, себя, чтобы они могли вцепиться в горло врага! Нет больше Юшки-батрака, есть коммунар Ефим Олесин!

Он приподнялся на локтях, прислушался. Неужели никто не выручит его из беды, не выпустит из этого капкана? Живы ли Василий, Андрей? Что с женщинами, с детьми, которые остались в коммуне? Что с ним сделают эти изверги? Все эти вопросы наплывали один на другой в его разгоряченном мозгу и еще больше терзали душу.

Кто-то быстрыми шагами подошел к амбару. Загремел замком. Ефим, превозмогая боль, привстал. Что это идет: смерть или спасение?

Через распахнутую дверь увидел серый туман и догадался, что наступает утро. Но и этот серый свет загородила темная фигура.

— Выходи! — грубо сказала эта черная тень голосом Гришки Щелчка. Ефим почувствовал удар в бок тяжелым сапогом. Значит, пришла смерть.

Дрожа от холода, он медленно поднялся на ноги, перекрестился.

— Ну, иди, иди! — грубо толкнул его Щелчок.— Поздно про бога вспоминать!..

Щелчок завел Ефима за дом. У покосившейся старой ветлы стоял Тимошка в окружении своих дружков. Увидев Юшку, Гривцов насупился, раздул ноздри. В руках его — веревочная петля.

— Становись на колени, иуда!

Ефим подошел совсем близко к Гривцову и посмотрел на него такими ненавидящими глазами, что тот невольно попятился и схватился за эфес шашки:

— На колени, говорю, иуда!

— Сам ты иуда, поганец!

Ефим Олесин распрямился. Он уже не дрожал. Теперь все его тело горело огнем.

— Вешай, вешай скорей, Тимошка! — исступленно закричал Ефим.— Не стану на колени! Вешай! На эту ветлу я тебя подсаживал, голопузого, а теперь ты меня подсади, да повыше.

Дружки Тимошки подскочили к Юшке, надавили на плечи, пригнули к земле. Гривцов накинул ему на шею веревку и, повернувшись к друзьям, выхватил из ножен шашку:

— Тяни!

Веревка, перекинутая через сучок ветлы, натянулась, захлестнула тощую шею. Ефим что-то хотел крикнуть, но было поздно — из горла вылетел только хрип.

Едва лишь старенькие грязные лапти оторвались от земли, Гривцов рубанул шашкой по веревке, и тело Ефима рухнуло на землю.

— Сымите с него веревку! — приказал Гривцов.— Пусть очухается. Второй раз вешать буду. Одного раза ему мало, иуде.

Сквозь тяжелый звон в ушах Ефим услышал эти слова, но не понял их. Не понял их зловещего смысла. Одна мысль занозой застряла в мозгу: почему так долго не приходит смерть? Или вправду говорят, что мертвецы в первые минуты все слышат? Он почувствовал, как кто-то царапает его шею холодными руками. Перед глазами поплыли в круговороте бесконечные черные ветлы по необъятному черно-синему небу.

6

Отряд Панова скакал по полю вслед за Андреем. Случайные сельские лошади, которых набрали продотрядчики, плохо слушались седоков, спотыкались на пахоте.

Много упущено времени, надо торопиться! Андрей никак не мог подладиться к чужой лошади, подпрыгивал, больно оседая на худую хребтину, но терпеливо гнал и гнал, не останавливаясь. Рядом с ним неуклюже прыгал комиссар Забавников.

А Панов, совсем не умевший ездить верхом, сидел на тележке, запряженной парой рысаков. Он гнал тачанку,

по дороге, не теряя из виду отряд. С ним сидели два волчковских милиционера, придерживая пулемет.

Панов развернулся около усадьбы коммуны, заехал за мельницу, откуда видна была вся Кривуша. «Скорей, скорей, братцы»,— шептал он, следя за отрядом, который, как было условлено, обогнул Кривушу и мчался теперь к дому Сидора Гривцова. Лошадь Андрея выскочила к дальней риге Сидора, Панов дал несколько очередей по-над селом, потом подъехал к ограде кривушинской церкви — снова очередь. А продотрядчики уже окружили дом Сидора.

...Когда со стороны коммуны послышалась пулеметная стрельба, Гривцов подумал, что это Васька Карась вернулся из объезда соседних сел, куда сам послал его поднимать панику. Но вот застучал пулемет и у церкви. За ригой послышались храп лошадей и ружейные выстрелы. Тимошка понял, что окружен красным отрядом.

Пули засвистели над головой. Не успел он оглянуться — дружки разбежались кто куда. Гривцов сунул шашку в ножны и сделал несколько прыжков к дому, но пуля свалила его с ног.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Глухой полевой дорогой Василий добрался до Падов.

Село просыпалось. Горласто перекликались молодые петухи, на выгоне мычали собранные пастухом коровы, а в лесу, за речкой, путалось меж деревьев глухое осеннее эхо. Где-то совсем близко забумкало пустое ведро о колодезный сруб. Василий перешагнул подмерзший за ночь ручей и по огородной стежке поднялся к дому сестры.

Давно не был Василий у Насти, не любил он ее мужа, Ивана Кулькова, скрытного, жадного мужичонку с остреньким лисьим лицом. Василий увидел, что Иван успел пригородить к дому несколько пристроек и амбарчиков. Лес рядом, а в смутное время у продажных лесников за десяток яиц можно на целый сруб бревен заготовить. Но для кого он столько нагородил? Ведь детей-то у них

нет. Василий даже приостановился, разглядывая плоды кропотливых трудов зятька, и не заметил, как тот вышел из-за угла с пустыми ведрами, направляясь к колодцу.

— Чего тут высматриваешь?

Василий сразу узнал гнусавый голос.

— Здорово, Иван.

— Здоров, здоров,— растерянно отвечал тот шурину. Глаза его бегали по сторонам, боясь встретиться с взглядом Василия.— Настя к куме за ситом пошла... А я за водой.

— У вас тут тихо? Бандитов нет?

— Чевой-то? — спросил Иван, будто не понял.

— Бандитов, говорю, нет?

— Бандитов нет, а коммунистов Карась постреливает. Тебе бы не показываться тут.

— Да уж показался. Поздно вертаться, светло.

— Ну, а у меня прятаться негде,— прогнусавил Иван. Он перехватил ведра в другую руку, загремев ими о коромысло.— Карась все мои щелки знает.

Василий молчал, выжидая, что еще скажет Иван.

— И меня убьют с тобой вместе...

— За свою шкуру трясешься? — почти шепотом спросил Василий.— А мне куда же теперь?

— Не знаю... Только я за тебя помирать не собираюсь.

Василий заметил, как из-за угла соседнего дома выглянуло бородатое лицо.

Несколько мгновений Василий стоял молча. Потом презрительно осмотрел Ивана с головы до ног и облегченно выдохнул:

— Гад ты ползучий, Иван!

И сразу стало как-то легче на душе. Он отошел от дома, свернул на тропинку, ведущую к большаку на Тамбов.

— Вася! Вася! Куда ты?

Голос сестры. Обернулся.

— Куда же ты на рожон-то лезешь, Вася?

— А куда же мне? — сердито ответил Василий.— Твой скопидом прогнал меня. За свою шкуру трясется.

— Прогнал? — всплеснула руками Настя.— Господи! Прогнал! Идол бессердечный! Анчутка! Неужели он с ними спутался? Пойдем скорее, Вася, спрячу тебя!

— Не пойду, Настя,— твердо сказал Василий.— Прощай. На тебя нет обиды. Пусть убьют лучше, а мужа твово видеть не могу.

— Господи, помоги мне, господи! Что же придумать-то, а?

— И Тимошка тут, с Карасем?

— Тимошку убили, говорят, у вас в Кривуше. Карась злой-презлой вернулся. О господи, что делать-то?

Пока они торговались, из крайней избы выскочил с обрезом в руках мужик. Василий и Настя сразу узнали кривушинского вора, горбоносого Гришку Щелчка. Настя вскрикнула, ухватилась за рукав Василия и упала на колени:

— Васенька, родненький, прости нас! Через нас ты пропал, Васенька! Прокляну его, ирода, уйду от него, окаянного!

— Стой! Руки вверх! — гаркнул Гришка Щелчок.— Вот ты где, куманек, очутился? А мы тебя в Кривуше шукали! А ну пошел!

Василий, сам не зная почему, грубо оттолкнул сестру.

— Бей, Васенька, бей, топчи меня! За ирода мово проклятого! — Она упала на землю, обняла его сапог и истерически заголосила: — Не пущу, не пущу! Стреляй, Гришка, и меня с ним вместе! Стреляй! Не пущу!

Бешено заколотилось сердце Василия — от жалости к сестре, от мысли, что вот так глупо приходится умереть. Он оторвал руки Насти и уже ласково сказал:

— Прощай, Настя, Машу пожалей.

Пошел, чувствуя за спиной холодок смерти. Он долго еще слышал, как сестра билась в истерике, но потом в ее крики вплелись гнусавые возгласы мужа. Василию хотелось оглянуться на сестру в последний раз, но Щелчок злобно тыкал в его спину ствол обреза:

— Пшел, пшел!

2

Соня третий день жила в Падах у двоюродной сестры. Она приехала сюда за платьем.

До ее слуха донесся далекий женский крик, Соня прислушалась. Крик то замирал, то возникал с новой силой. Это же в той стороне, где живет Настя! У Сони

замерло сердце. Она кинулась к двери, на ходу сорвав с гвоздя свою коротайку, и побежала к Настиному дому.

...Мужики-соседи вели Настю под руки. Иван Кульков суетливо бегал вокруг, уговаривая Настю, но она не отвечала, а когда он забегал наперед, плевала ему в лицо.

— И зачем же я, дура, пошла за ситом? — причитала Настя охрипшим голосом.— Будь вы прокляты — и сито, и ты, ирод окаянный! Оставьте вы братца мово милого! Лучше меня убейте, убейте за ирода мово окаянного!

Соня спряталась в толпу и жадно ловила все, что говорили бабы о Василии. Услышав, что его повели к Карасю, тихонько выскользнула из толпы.

Она еще ничего не решила. Она не знала, что может сделать для спасения Василия, но желание увидеть его и чем-то помочь ему овладело всем ее существом.

Сестра ждала Соню у крыльца:

— Что с тобой? Что там за шум?

— Настина брата поймали.

— Да куда же ты?

Соня не ответила, забежала в конюшню, торопливо отвязала повод Зорьки. Схватила было седло, но бросила — нельзя терять ни минуты!

Сестра удержала Соню за руку, умоляя остаться, но та упрямо отдернула руку:

— Подсади!

Настоявшаяся в конюшне Зорька сразу припустилась шибкой рысью.

На другом конце села, где жил Карась, Соня с удивлением увидела спокойно играющих ребятишек. «Значит, в другом месте... В другом! А где? Опоздаю, опоздаю...»

Соня металась по селу...

3

Василий шел, едва переставляя ноги. Пусть Гришка думает, что он совсем ослаб. Надо сохранить силы для решительной схватки. Надо собрать свою волю, свои силы, выждать удобный момент. Гришка Щелчок — измотавшийся пьяница, он не страшен в рукопашной, а выстрелить метко вгорячах он не сможет.

Из всех лихорадочных мыслей и воспоминаний больше всего беспокоило то, что прятался. Унизительно и бесполезно прятался. Если он останется жив, то никогда не повторит этого позорного шага. Лучше погибнуть вот так — на свету, на глазах людей, испытав последний раз свою судьбу — вонзив пальцы в горло своей смерти.

Щелчок шагал вслед за Василием, подталкивая в спину обрезом, и победно покрикивал на свою жертву:

— Не оглядывайся, красная сука!

Василий пробовал догадаться, куда ведет. Карась живет на окраине, а вот уж свернули от центра села вниз, к речке... В лесу, значит, прячутся карасевцы? Разогнал их из Кривуши продотряд! Молодец Андрей! Проскочил!

Прошли последний плетень. Василий увидел за плетнем остановившиеся глаза и открытый рот курносого мальчишки. Очень похож на Мишатку...

Потянулся порыжелый луг, выбитый за лето стадом, а теперь скованный первым крепким морозцем.

«У реки... А потом берегом, к Большой Липовице»,— решил Василий.

Сзади послышался звонкий перестук копыт. У Василия так и оборвалось сердце — рушилась надежда на спасение! Он резко оглянулся и увидел, что Щелчок тоже смотрит назад, разглядывая седока. Вот бы какой момент для схватки, если бы не этот всадник! Но что это! Всадник — баба! Она неслась прямо на них, стегая коня поводом. Ближе, ближе... Соня!

Она скакала прямо на Гришку, вот еще два прыжка и... Но Зорька в самый последний момент шарахнулась в сторону, дико всхрапнув.

— Куда прешь, стерва! — замахнулся на нее Щелчок обрезом.

Василий на одно мгновение увидел тревожное лицо Сони, потом спину Щелчка. Одним сильным рывком свалил его на землю. Пальцы судорожно вцепились в горло. Какой-то булькающий хрип вырвался изо рта Гришки. Несколько раз стукнул его головой о мерзлую землю. Тело Щелчка расслабло и затихло.

— Тащи меня с коня! Стаскивай скорее! — кричала Соня.— Стаскивай, а то увидят.

— Сама скачи! Я убегу! — Василий закинул за плечо Гришкин обрез.

— Говорю: стаскивай! — На него смотрели умоляющие, требовательные глаза. Василий схватил ее за руку и снял с коня.

— Скачи! Скачи скорее в Тамбов! — приказывала она.

Когда затопали копыта вдоль реки, все удаляясь, Соня испуганно оглянулась на Щелчка — не шевелится ли?— и побежала, осторожно озираясь, берегом реки.

4

Ефима привезли в коммуну.

Запавшие глаза его стояли, как у мертвеца, губы дрожали, силясь что-то произнести, и — не могли...

В пристройке, где когда-то жил Пауль, одна комната оказалась со стеклами. Ефима положили туда, настелив на пол сена.

Вскоре к Ефиму зашел Семен Евдокимович. Он неловко топтался у порога, пожелал скорее выздоравливать, а потом отозвал Авдотью за дверь.

— Держи фартук,— шепнул он. К пятку яичек, которые он бережно вынул из-за пазухи, присоединился малюсенький бумажный кулечек. — Соль... осторожнее...

Аграфена раздобыла где-то кружку сливок, Сергей Мычалин прикостылял с лепешками, завернутыми в подол солдатской гимнастерки.

Когда Авдотья разложила на соломе перед Ефимом все и рассказала, кто что принес, Ефим прослезился. Он понял, что родня его теперь не только Ревякины, но и Филатовы, и Мычалины, и Лисицыны, и Аграфена...

К вечеру Ефим приподнялся на локти и хриплым, срывающимся голосом попросил пить. Авдотья, ни на минуту не отходившая от него, принесла воды.

— Тимошку пымали? — спросил он.

— В амбар заперли. Раненый он.

Ефим слабо улыбнулся.

Авдотья начала расспрашивать, что с ним делал Тимошка, в какое место бил.

— Бил, да не убил,— ответил он.— С того света Юхим Олесин вернулся. С того света, Авдотья. Из петли

выпал. Веревка не выдержала. Отлежусь вот... Ты иди к ребятам, я посплю. Мне лучше стало.

— За ребятами Аграфена доглядит, а я с тобой тут останусь.

— Васятка-то где?

— Ночью ушел, проводила я его, а что с ним теперь — не знаю.

Ефим повернулся к стене:

— Ну, ты ложись, ложись, я усну.

Но через минуту опять спросил:

— Тимошку-то в чьем амбаре заперли?

— Я там не была, не видала.

Ющка закрыл глаза, но не спал. Беспокойная мысль овладела им: что, если упустят Тимошку?

— Авдотья, а Авдотья, ты еще не спишь?

— Нет, а что?

— Тимошку-то сторожат ай нет?

— Да, чай, сторожат... Спи уж ты!

Ефиму не спалось. Он с радостью почувствовал, как возвращаются силы в его хилое тело. Ворочался, двигал ногами, привставал на локтях, заглядывая в окно.

Ночью, когда в пустой комнате раздался размеренный храп Авдотьи, Ефим тихонько встал, дотащился до окна. Из-за облака медленно выплывала луна. «Свети, свети, милая,— мысленно просил Ефим,— всю ночь свети...» Он вернулся на свое место, полежал еще часок, потом снова встал. Ноги окрепли, он подошел к двери, попробовал ее открыть. Дверь легко подалась.

Ефим накинул на плечи зипунишко, которым его укрывала Авдотья, и тихо вышел на улицу.

Морозный воздух защекотал в ноздрях. Холодок пробежал по спине — оживил Ефима.

Крылья ветряной мельницы черным крестом вырисовывались на небе под луной. У мельницы остановился, что-то припоминая. Зашел в распахнутые настежь ворота мельницы, нашарил рукой в углу железный шкворень и спрятал под зипун.

К рассвету добрался до сходной избы. Часовой-продотрядчик узнал «висельника», пропустил его в избу погреться.

— Ты чего так рано поднялся?

— Боюсь, вы Тимошку упустите. Где он?

— Вон в том амбаре, где ты лежал. Там двое часовых. Скоро его в Тамбов повезут.

— Ну, слава богу! — Юшка перекрестился, сел на лавку. Перед ним на полу мирно похрапывали бойцы продотряда, спасшие его от смерти. Юшка каждого осенил крестом, поправил шинель, сползшую с могучей спины Забавникова.

Согревшись, Ефим вышел из избы и направился к дому Гривцовых. На улице стало светлее, Ефим издали увидел, как к амбару подъехала повозка, запряженная парой, и с нее слезли двое. Он заторопился, жадно глотая морозный воздух.

В одном из подъехавших Ефим узнал Андрея Филатова, а в другом — Панова. Ефим подошел к амбару и, задыхаясь, сказал:

— Здравствуйте, товарищи!

— Ты зачем сюда?— сердито крикнул на него Андрей.— Тебе чего тут? Лежал бы в постели! Иди домой!

— Посмотреть только, Андрюша. Со смертью своей повидаться надоть.

— Сторонись, сторонись!

Дверь со скрежетом отворилась. Из амбара донесся сдержанный кашель.

— Выходи! — скомандовал Панов.

Сначала показалась всклокоченная голова Тимофея Гривцова с окровавленными губами, потом весь он — длинный, согнувшийся, едва стоявший на ногах. Кашлянул, отхаркнув кровь,— видимо, ранен был в легкие. Слегка приподнял голову, будто хотел что-то сказать, и тяжело шагнул к повозке.

Ефим не хотел встречаться с Тимошкой глазами, не хотел потому, что боялся — ослабнет вдруг под его взглядом батрацкая душа. И был очень рад, что Тимошка ни на кого не смотрит.

Гривцов сделал еще шаг к повозке — трудно давались ему эти шаги. Теперь он оказался к Ефиму затылком. Страшная мысль, что Тимошка сбежит или его выпустят там, в Тамбове, не давала Ефиму покоя.

«Уйдет! Уйдет!..»

И Ефим, не сознавая того, что делает, метнулся к Тимошке. Прежде чем успели опомниться часовые, он вы-

хватил прут из-под зипуна и, взмахнув, ударил Гривцова по затылку.

Потрясенный тем, что сделал, выронил из рук вслед за упавшим Тимошкой свой железный прут и, как пьяный, закачался.

Его схватили под руки часовые.

— Теперь не уйдет,—сказал Ефим, и из его горла вылетели странные судорожные звуки полусмеха, полурыданий.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Василий подъезжал к хутору в сумерках.

Конечно, он мог бы еще вчера отослать Соне лошадь через своих коммунаров; конечно, можно было бы запиской отблагодарить Соню за спасение от верной смерти, но разве мог он так поступить после того, как увидел ее глаза в тот день?

Василий ехал верхом. Рядом с его Корноухим шла Сонина Зорька, на которой он ускакал тогда из Падов. Зорька громко заржала, почувствовав близко родное стойло.

Шея Василия была забинтована. Его обстреляли в Большой Липовице, когда он скакал в Тамбов, но рана оказалась легкой.

В морозном ноябрьском воздухе снова поплыло ржание Зорьки и, упав в озеро, зазвенело по тонкому ледку раскатистым эхом.

Василий обогнул озеро, чтобы не ехать по улице, стал спускаться вниз к знакомому плетню.

Открывал дверь с радостным трепетом, а переступил порог огорченный... Против Сони сидел ее отец.

Увидев Василия, Соня вскочила с места:

— Жив! Слава богу, жив! Настя рада будет страх как... А лошадь-то привел?

— Во дворе стоит.

Василий поздоровался с Макаром, снял картуз, ожидая приглашения сесть.

Макар подвинулся на лавке:

— Садись, председатель, расскажи, как дела? У нас-то вот горе. Сестра заболела. В Тамбов отвез ее к доктору. Соне без нее скушно будет.

Василий сел и, комкая картуз, опустил голову.

— Что ж дела! Еду вот... Все заново начинать,— неохотно ответил он.— Растащили коммуну.

— Правда, чго ль, Юхим Тимошку убил?

— Правда.

— Ему за самосуд што будет?

— Не знаю. В петле побываешь — убьешь.— На бледных скулах Василия задвигались желваки.

Соня бросала умоляющие взгляды на отца, но тот все сидел и все спрашивал, словно нарочно решил выпроводить Василия из дому.

— А как твои дела?

— Батя, тебя ужинать ждут. Иди! — наконец осмелилась Соня.— Нам поговорить надо, одним поговорить... про Настю.

Макар, будто опомнившись, поглядел на обоих и встал:

— Память стариковская стала. Теперь старуха отбрешет. Ну, бывайте здоровы.— Макар подал Василию руку и вышел, громко хлопнув наружной дверью. Соня заговорщически улыбнулась, вышла следом за отцом.

Василий чутко прислушивался к тому, что там делает Соня, и, услышав, как она тихо щелкнула дверной задвижкой, встал. Соня совсем не ожидала, что Василий прямо с порога обнимет ее и поцелует.

Потрясенные неожиданной близостью, оба долго и молча смотрели друг другу в глаза, словно еще не доверяя случившемуся. Василий не выдержал ее взгляда, оторвал руки от ее покатых, податливых плеч.

— Прости, Соня... От всей души... Спасибо тебе. Мне не жить бы.— Он сел было на лавку и спихнул свой картуз. Торопливо поднял его, стал старательно отряхивать. Стоял, не зная, что говорить, что делать.

Соня качнулась к нему как-то боком, задев упругой грудью его руку, и горячо прошептала:

— Что-то дешево расплачиваешься, комиссар? — Ее тихий задорный смешок рассеял сомнения Василия. Он даже в сумерках разглядел, как подернулись горячей

влагой ее озорные глаза. И, все еще не веря своему счастью, протянул к ней руки.

Осторожно, бережно обнял ее и бессмысленно зашептал:

— Соня... Соня... Милая...

Из углов избы покровительственно надвигалась на них темная осенняя ночь.

2

Какая другая радость может сравниться с радостью любящей жены, встретившей мужа, отца ее детей, после страшных событий, грозивших смертью? Маша так ласкала Василия, так заботилась о нем, так была ослеплена радостью его возвращения, что не заметила ни его погрустневших глаз, ни его сдержанности. «Пережив такое, будешь грустным! Будешь сдержанным!» — оправдывала она его даже тогда, когда стала замечать в нем что-то непривычное, новое...

Когда он рассказал, как его спасла Соня от смерти, Маша стала расспрашивать, кто она такая; узнав, что она Настина подруга и дочь ямщика Макара, Маша с благодарностью стала поминать ее имя, молилась за нее, а когда Настя пришла в коммуну проведать их, Маша просила расцеловать за нее спасительницу Соню.

Дела коммуны стали поправляться. Бригада плотников, нанятая Василием, отремонтировала двухэтажный дом, конюшню, коровник. Все стало на свое место. Коммунары повеселели.

Однажды в коммуну пришел Захар Ревякин вместе с Василисой проведать Машу. Он долго бродил по коммуне, беседовал с коммунарами, а перед уходом сказал:

— За Машей-то следить надо... Тяжело ей одной. Да и Василисе без нее тоскливо. Вместе-то им лучше будет. Принимайте, видно, мужики, и меня в пай.

И через два дня Захар Ревякин перевез свой скарб в коммуну.

А Василий все чаще стал уезжать в Тамбов — то за плугами, то за породистыми свиньями, которых он решил разводить, а то на совещания, которые длились иногда по нескольку дней. Он стал раздражительным, усталым, неразговорчивым. Он словно забыл, что скоро у Маши

будет еще один ребенок, ни разу не спросил, когда срок, как она себя чувствует... Маша молча терпела, по-прежнему ласково ухаживая за ним, но на сердце все росла и росла тревога. Она похудела, подурнела. Ей труднее становилось возиться у печки, стирать белье, к ней стали заходить то мать, то младшая сестра Фрося, вытянувшаяся и похорошевшая, вот-вот невеста.

Вечерами, дожидаясь мужа, Маша перебирала вместе со свекровью вещи в сундуке, шила распашонки из своих старых рубашек, чинила белье Василия.

Так прошла зима.

Маша совсем ушла в себя, чутко прислушиваясь к новой жизни, которая настойчиво колотилась под сердцем. Она чаще стала лежать. Перестала разговаривать с Василием. И он забеспокоился, просил прощения, что за делами совсем забыл о ней.

...Когда родилась дочка, Маша долго спорила с Василием, какое дать имя. Он настаивал — Любочкой, а ей хотелось назвать Соней — в честь женщины, которая спасла Василия от смерти. Наконец Маша сдалась: дочь назвали Любочкой.

— Нашу Любовь Васильевну встречает хорошая, теплая весна!

В заботах о Любочке и Мишатке летело время... Прошумел белой метелью в саду май, наступили жаркие дни.

Совсем неожиданно Маша узнала тайну Василия.

В тот теплый вечер она долго не могла заснуть, тихо и блаженно лежа в постели. Устала, отмывая мочалкой грязного Мишатку, укачивая в зыбке Любочку. Онемели ее руки. Хотелось полежать, отдохнуть.

Из-за печи послышался голос Терентьевны:

— Маша, ты спишь?

Не хотелось отвечать. Что-нибудь делать заставит, а руки лежат так покойно, так хорошо. В открытое окно из сада доносится щелканье соловья, веет прохладный ветерок... Что-то долго не едет Василий из волости. Не случилось ли в дороге беды? Дезертиры кругом рыскают...

Услышав шепот свекрови за печкой, Маша насторожилась.

— Опять небось к ней ночевать заехал,— тихо говорила Василиса Захару.— В прошлый раз Ефим от хуторских узнал.

— Этот теперь всем разболтает, лотоха,— сердито ответил Захар.— Маша-то ничего не знает?

— Кубыть, нет...

Маша поняла. Все припомнилось сразу: и недовольные глаза Василия, и его неласковые руки, и злые ответы, и все, все, что она прощала ему, сваливая вину на его занятость делами. «К ней ночевать заехал? К кому — к ней? Кто — она? Ах, да... Ну конечно, Соня! Спасительница! Я за нее бога молила ночами... Я молила, а они в это время... о господи!»

Маша вскочила с постели и в одной рубашке, босиком пошла за печь. Захар и Василиса обмерли, увидев Машу. Она стояла в дверях, как привидение.

— Это правда? — задыхаясь, прошептала она.

— Что правда, доченька? — кинулась к ней Василиса. — Иди, ложись, заболеешь так. Похолодела вся.— И повела Машу к постели.

Маша упала ничком на подушку и проплакала всю ночь, не слушая уговоров свекрови.

На заре приехал Василий. Вошел в дом, увидел сидящих по углам отца и мать, услышал тихие рыдания Маши. Виновато потоптался на месте.

Захар встал, злобно сверкнув на него глазами.

— Ы-ы! — промычал он сквозь стиснутые зубы и намахнулся на Василия. Но не ударил. Безвольно опустил руку и ушел из дому. Мать уткнулась в фартук, не зная, что сказать сыну.

Василий натянул только что снятый картуз и вышел.

— Сук-кин ты сын! — прошипел Захар, остановив Василия в сенях.— Что же ты с Машей делаешь? Эх ты, горе-горюхино!

— Батя,— не поднимая глаз, ответил Василий,— Соня жизнь мне спасла. Не она — убили бы меня.— И тяжело зашагал прочь.

— Чем так... лучше убили бы...— беспощадно бросил ему вслед Захар.

Василий ничего не ответил и, ссутулившись, поплелся к конюшне.

Прискакал в сельский Совет и, не слезая с коня, вызвал Андрея:

— Я на несколько дней в Тамбов. Сенокосилку буду добиваться. Так ты это... посматривай тут.

— Ты что такой бледный? Не заболел? — спросил Андрей, внимательно разглядывая лицо Василия.

— Нам с тобой болеть нельзя. Все пройдет,— и стегнул Корноухого.

Василий понимал, что не ладно у него получается в семье, но ничего не мог поделать с собой. Не в силах был оторвать от сердца Соню. И ведь не то чтобы разлюбил Машу, нет, она по-прежнему была дорога ему, как мать его детей, как родной человек, но к ней уже не тянет так, как тянет к ласковой и немножко взбалмошной Соне. Эти противоречивые мысли и чувства заслонили в его сознании все другие заботы. Он жил словно во сне, тяжело вздыхал, худел.

И пришел наконец к выводу, что ему самому не справиться со своими душевными муками, что нужен какой-то посторонний твердый, умный человек, который подскажет ему выход из этого запутанного положения.

3

То и дело звонил телефон, требовательно и тревожно. Чичканов кому-то отвечал, кого-то приглашал зайти.

Василий сидел перед ним и никак не решался начать. Даже глаз не мог оторвать от картуза, который с ожесточением мял на коленях.

Наконец Чичканов подошел к Василию, положил руку на его плечо.

— Ты за нарядом? Я не забыл своего обещания. Просил сенокосилку — получай. Расстарались для пострадавшей коммуны.— Чичканов доверительно улыбнулся.— Надеюсь, коммуна будет образцовой? — И, не дождавшись ответа, добавил: — Верю. А сейчас... если хочешь, пойдем со мной на подпольное буржуйское собрание. Там, правда, нас не ждут, но тем лучше для нас.

Василий поднял на Чичканова удивленные глаза.

— Думаешь, в городе все благополучно? Гарнизон! Милиция! Да, и гарнизон и милиция, а врагов и саботажников хватает. Купчишки прячут продовольствие, спекулируют... свой профсоюз создали! Вот мы и послушаем, что нам пророчат господа торгаши.

От стыда и раскаяния Василий готов был провалиться

сквозь землю. Кругом идет упорная борьба, кругом враги, а он — со своим личным...

Василий хрипло откашлялся:

— Как же вы про ихнее собрание узнали?

— Продагент вчера арестован, он с ними был связан.— Чичканов вынул из стола револьвер, положил в карман брюк. Кожаный картуз со звездой нахлобучил на черный волнистый чуб.— Пошли?

Василий успел уже подавить в себе смущение и теперь готов был идти за Чичкановым хоть в огонь. Он не задавал больше вопросов, хотя мог бы, конечно, спросить, почему они идут одни, не опасно ли это для жизни председателя Губисполкома.

На улице Чичканов спросил у Василия:

— Ты что же не похвалишься — у тебя дочка родилась?

— Любочка.

— И у меня есть дочка... Олечка. Наше будущее.

На Базарной улице, залитой жарким летним солнцем, они смешались с толпой. У каменного подъезда бакалейной лавки Чичканов остановился.

— Когда я войду, ты останешься у двери,— сказал Чичканов.— Наган есть?

— Есть.

Во дворе их встретил тот самый купчишка, который отдал церковное вино господам офицерам в дни мятежа.

— Вам кого, товарищи? — подобострастно пропел купец, погладив лысину.

— Кого надо — сами найдем,— ответил Чичканов. Это был пароль, сообщенный арестованным продагентом.

Купец осклабился и указал на крыльцо:

— Вверх по лестнице, пожалуйста.

На втором этаже, прямо на лестничной площадке, дверь, обитая оцинкованным железом.

Условный стук — один сильный удар.

Дверь открыли.

В полутемной комнате — десятка полтора мужчин, замерших при появлении Чичканова. Слышен только настороженный шорох.

— Здравствуйте, господа торгаши! Вы меня узнаете?

Молчание.

— Вижу, что узнаете. Я многих из вас тоже знаю. Вот

пришел послушать, что вас так беспокоит... даже собрание собрали.

Он говорил и приближался к столу, не вынимая руки из кармана. Сел на свободный стул.

— Ну? Продолжайте...

Несколько мгновений висела над столом напряженная тишина.

Василий стоял у двери, сжимая в кармане рукоятку револьвера.

— Вот метелошников нам не хватает, товарищ Чичканов,— процедил ехидный голосок.

У Чичканова вздрогнули желваки и замерли.

— Ходит слух, твой отец хорошо метлы вязал. Ты, случаем, не в него пошел? А то нам торговать нечем.— Это говорит уже другой человек, другим, более злым голосом.

Чичканов даже взглядом не повел в его сторону — словно окаменел.

Купцы осмелели:

— Чем будешь кормить горожан?

— Подохнете все!

— Властители.

Какой-то грузный купец потянулся было с кулаками.

— Хватит! — Чичканов тяжело ударил по столу и встал.— Теперь слушайте меня. Я шел сюда арестовать всех вас и отдать в ревтрибунал.

В наступившей тишине резко скрипнуло несколько стульев.

— Сидеть! Дом оцеплен чекистами,— предупредил Чичканов движение купцов. И усмехнулся, довольный.— Как видите, я кое-что умею вязать и кроме метел! Но я раздумал,— продолжал Чичканов,— в трибунале вас могут расстрелять, как заговорщиков против советской власти.— Он помедлил, оглядывая купцов.— А вы горите желанием помочь нам, чтобы горожане не подохли с голоду... Так вот...— Он тяжело опустил руку на стол.— С сего дня вы являетесь заложниками. Откроете добровольно свои тайные склады — помилуем, разрешим торговлю через кооперацию, не откроете — арестуем. Понятно?

Никто не ответил. Только злобно сопели.

— Василий, открой дверь!

Купцы зашевелились.

— Я согласен!
— Я тоже...
— Кто согласился, прошу предъявить документы для записи...
Радостное ощущение силы советской власти переполнило Василия. Он разжал затекшие на рукоятке нагана пальцы и толкнул плечом дверь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Солнце еще с горы ног не спустило, а Ефим Олесин уже вышагивал по городской улице.
Одетый в новые холщовые штаны и рубаху, он выглядел молодцевато. Кажется, что и солнце-то сегодня раньше встает по такому случаю!
Хотел Ефим прямо на подводе подъехать к вокзалу, где теперь работает смазчиком Панька, да любопытство взяло верх. Клашу посмотреть захотелось. Теперь не обернешь дело — на сносях баба, глядишь, внука Ефиму принесет.
Кланя встретила его ласково, батей назвала. Расслабло сердце Ефима — распряг лошадь во дворе, велел Клаше доглядеть, а сам пешком на вокзал.
Но что это? На перрон не пускают.
Ефим подошел к милиционеру.
— Не могу,— ответил тот.— Только по пропуску.
— Да мой сын, Панька, тут работает. К нему мне надо.
Милиционер стоял на своем.
Ефим рассердился:
— А еще говорят: батраку везде дорога! К сыну родному не пущают!
— Да пойми ты,— не вытерпел милиционер,— агитпоезд председателя ВЦИК товарища Калинина встречаем. Не можем же мы всех пустить!
— Что тут случилось? — Строгий голос заставил Ефима обернуться.
— Вот, товарищ Чичканов, он к сыну просится. Сын его тут работает.
— Вы кто? — уже мягче спросил Чичканов, рассматривая Ефима.

— Я — кривушинский коммунар, Ефим Олесин, а он меня не пущает.

— Так ты из Кривуши? Знаю, знаю вашу коммуну. И председателя Ревякина знаю.

— Я ведь и Калинину не помешаю,— умоляюще продолжал Ефим.— От батрацкого спасиба и Калинин не отвернется.

Высокий худощавый мужчина, стоявший рядом с Чичкановым, улыбнулся и мягко сказал:

— Конечно, не отвернется. Пропустите его!

— Есть, товарищ Подбельский, пропустить! — Милиционер взял под козырек.

— Давайте нашего коммунара с Михаилом Ивановичем познакомим?— предложил Чичканов Подбельскому.

— Что ж... Пойдемте с нами, товарищ...

Ефим разгладил реденькие волосики бороды.

Состав из семи пассажирских вагонов тихо подошел к перрону. Строй курсантов замер в почетном карауле.

Глаза всех встречающих прикованы к вагонам, украшенным плакатами, березовыми ветками, лозунгами: «Да здравствует пожар мировой революции!»

Из вагона, на котором нарисован рабочий с факелом, выходит невысокий человек в очках. Бородка клинышком, белая рубаха, перехваченная крученым шелковым поясом, хромовые сапоги. В руке — черная фуражка, он приветственно машет ею и улыбается широкой доброй русской улыбкой.

Ефим забыл про Паньку. Все его внимание было приковано к этому человеку. «Так вот ты какой, Калинин!— мысленно повторял Ефим, разглядывая Калинина.— По обличью — наш... Крестьянский человек!»

И не знал Ефим, что с другого крыла перрона за Калининым наблюдал Панька и шептал своему товарищу по работе: «Наш, рабочий человек... Из рабочего класса!..»

Чичканов, Подбельский, а за ними и другие работники губернских учреждений подошли к Калинину. Ефим не отставал от Чичканова. Он сам удивлялся, откуда взялось у него столько смелости.

Пожимая руки встречающих, Калинин поравнялся с Ефимом.

— А это — наш первый коммунар, бывший батрак Ефим Олесин,— отрекомендовал Чичканов Ефима.

Калинин сверкнул очками, нацелился на Ефима клинышком бороды.

— Очень, очень приятно познакомиться с тамбовским коммунаром.— Он долго тряс руку Ефима.

Ефим захмелел от радости и счастья: он шел за Калининым рядом с губернскими начальниками!

Вот уж прошли ряды почетного караула. Михаил Иванович остановился и что-то говорит курсантам.

Когда подошли к большой открытой машине, приготовленной для дорогого гостя, Ефим снова оказался рядом с Калининым.

— Поедем, товарищ Олесин, с нами смотреть строительство узкоколейки,— предложил Калинин.— Как твое имя-отчество?

— Ефим Петров!

— Садись, Ефим Петрович! Поехали!

Ефим очутился в автомобиле на мягком кожаном сиденье.

Оглянувшись на толпу людей, окруживших машину, Ефим на мгновенье увидел Панькино восторженное лицо и помахал рукой.

На северной окраине Тамбова, у тупика новой узкоколейки автомобиль остановился. Калинин оглянулся на Ефима.

— Ну как, жив? Не страшно?

— Да вить как сказать... На миру и смерть красна! А тут честь мне такая!

Чичканов поддержал Ефима за локоть, когда тот стал вылезать из автомобиля.

Их уже ожидал паровозик с одним-единственным открытым вагончиком.

Машинист ехал осторожно. И путь новый, и пассажир необычный. А дома — жена, дети.

Чичканов рассказывал Калинину о местах, мимо которых они проезжали.

Ефим слушал так, словно был тоже приезжим из дальних краев,— он ни разу не был здесь.

Проехали архиерейский лес, мост над сверкающей Цной... Показался сосновый бор...

Толпа дезертиров расположилась на вырубке завтракать. Кто сидел на пеньке, кто полулежал на траве. Кое-где мелькали платки женщин, принесших из села завтрак своим мужьям.

Кроме дезертиров, находящихся под охраной, тут были и свободные крестьяне, пришедшие на заработки. Они держались сторонкой, были лучше одеты. И уж совсем обособленно сидели на пнях местные мелкие буржуи, отрабатывающие трудовую повинность...

Строители были возбуждены скорым окончанием работ, весело переругивались, поддразнивали городских «чистоплюев»...

Показавшийся из-за поворота паровозик, похожий на самовар с длинной трубой, строители встретили радостными криками: «Рельсы! Рельсы везут!» (Уже несколько дней ждали рельсы, а их все не было.)

Но когда увидели, что следом за паровозом движется вагончик, полный людей, насторожились, притихли...

Чичканова, который уже приезжал сюда, узнали сразу. Любопытство погнало к насыпи: что за новость привез? Может, на фронт вернет?

Чичканов сошел первым, подозвал начальника охраны.

Команде люди повиновались нехотя, но, когда узнали, что приехал «сам Калинин», засуетились, подтянулись.

Михаил Иванович сошел с насыпи на полянку, где стояли строители. Попросил всех сесть, чтобы было удобнее беседовать. Сели, сомкнув строй полукольцом, и только «градские» остались стоять.

— Товарищи крестьяне! — заговорил Калинин.— Я не ошибся, назвав вас всех крестьянами?

— Нет, не ошибся! Все мужицким миром мазаны, кроме вон энтих!

— Так вот, товарищи крестьяне! Я объезжаю губернии, чтобы познакомиться с порядками и непорядками и принять надлежащие меры. Давайте поговорим. Я готов выслушать ваши жалобы, а жалобы на вас я выслушал по дороге. Только я не злопамятный, думаю, что вы уже искупили свою вину честным трудом! Не стесняйтесь, говорите. Как у вас дела дома? Не было ли незаконных реквизиций?

Строители молчали, опустив головы, думая каждый о своем.

— Я скажу,— привстал один из свободных крестьян.— Был недавно в совнархозе по делам. Что я там увидел? Сидят там наши старые враги — помещики. Советская власть нам нужная, да только зачем у власти оставлены помещики?

— Товарищи! Я так отвечу на этот вопрос: если попробовать убрать из совнархозов и других учреждений всех кулаков и бывших богачей, то надо двадцать лет чистить аппарат, и все же опять кулаки будут попадаться. Сразу всех не вычистишь. В то же время и выхода нет: не закопаешь же их всех в могилу. Сейчас наша задача — заставить их всех работать. Если они там не саботируют, а работают, то это хорошо, потому что наше желание, чтобы они работали. Мы ведь не такие злые, как они. Вот и с вами, я вижу, работают бывшие... Как они работают?

— Плохо! — раздались голоса со всех сторон.

— Научите, заставьте работать хорошо. Потом, товарищи, учтите: бухгалтеры, делопроизводители, инженеры, доктора, техники, агрономы — все люди необходимые, а новых научить нелегко и не скоро. Так что поневоле приходится мириться. И они к нам постепенно привыкнут. Сначала им досадно казалось, что «серые» с грязными сапогами вперлись во все передние комнаты, что пахло от них, «серых», а теперь понемногу стали привыкать к этому. Мы боремся с отъявленными мошенниками, которые свое белое тело вырастили на нашем поте и крови и которые до сих пор с ненавистью смотрят на нас, Олесиных, Калининых, за то, что мы осмелились оскорблять дворянскую спесь.

Мы, конечно, не учились быть у власти. Вас здесь сейчас человек триста... А скажите по совести,— из вас тридцать ведь еле-еле знают грамоту! Правильно это?

— Правильно!

— Верное слово!

— И Калинин чуть-чуть только знает грамоту. Разница только та, что он побольше сидел в тюрьме и там побольше читал!

Смех прокатился по рядам. Захлопали в ладоши.

— Когда меня избрали председателем ВЦИК, я прямо поставил вопрос, что я не знаю, как буду держаться,

ведь не привык к изысканному обществу, черт знает, может быть, еще придется с Клемансо мир заключать. Но товарищ Ленин говорит: «Ладно, не все же нам приучаться к их благородству, пусть и они немножко приучатся к нашей грубости». И, конечно, мы еще делаем много ошибок, с этим я согласен. Хороший строй государства не создается в Москве, не создается Калининым: он создается здесь, на местах, в каждой деревне, в каждой волости, уезде, губернии. Вы должны налаживать власть у себя: устраивать хозяйство.

Рабочие и крестьяне должны быть бдительны, за врагом надо следить строго, он умен и хитер, а на нас невероятно зол, более зол, чем мы на него. Народ всегда добр. Мы упустили многих из рук, мы сказали: «Иди, хороший человек». А этот «хороший» вот какую штуку выкинул. Теперь мы должны быть умней, должны расправляться, потому что каждая такая голова обойдется в десять наших...

Говорят, будто советская власть жестока. Но если я хочу быть справедливым, если я не буду кривить душой, то что же я должен сделать с теми, кто считает, что, имея десять десятин чернозема и много хлеба, он может морить голодом целые губернии? Я не буду представителем рабоче-крестьянской власти, если я не заставлю его свезти хлеб этот в голодающие губернии.

Государство можно сравнить с человеком. Если рот отказывается жевать, а желудок отказывается варить, то человек превращается в труп. Я думаю, что рабочие и крестьяне, когда захватывали власть, вовсе не имели желания превращаться в труп. Рабочие и крестьяне, избравшие меня своим представителем во ВЦИК, вправе потребовать, чтобы отдельных членов государства, которые не хотят исполнять своих обязанностей перед государством, принуждать к тому силой.

Народ не бывает жесток. В минуту вспышки он может разорвать человека, но потом плачет, что разорвал этого человека. А наши враги не жестоки, когда они у покойников выкалывают своими изящными зонтиками глаза?..

Мы захватили власть, товарищи, для того, чтобы всем жилось сносно, чтобы не был один счастливчиком — как только родился, так его в благовонную ванну опускают, а когда умирает, то его в глазетовом гробу провожают в

могилу; а другой родился на конюшне, всю жизнь гниет в этой конюшне и умирает под забором. Нас обвиняют в расстрелах, конфискациях и других семи смертных грехах. Но скажите, пожалуйста: у кого мы конфискуем? Конфискация производится у людей обеспеченных.

Мы конфискуем хлеб у сытых и отправляем его в те места, где люди голодают... У нас нет сапог для армии. И стыдно слышать, когда говорят, что наши агенты конфискуют. Калинина надо судить за то, что Красная Армия раздета, солдаты идут в бой разутые, а в это время тысячи буржуев ходят обутые в великолепные ботинки. И после этого хватает совести говорить, что советская власть давит! Нет, советская власть мягка. Мы слишком добры.

К Калинину приблизился полный усатый мужик с корзиночкой, в которой стояло два пустых горшка.

— Я согласен завтра же отвести корову по реквизиции в райпродком,— мягко заговорил он,— если на это есть декреты и если я в таком материальном положении, как говорится, выше среднего. Я был обложен две тыщи рублей временного налога. Но у нас сейчас скот считается самым драгоценным для крестьянина. Если отдам корову, то я не смогу тогда существовать, потому что кузнец теперь не кует — дай молока и творогу. Я засеял тридцать пудов ржи и с помощью молочных продуктов пока обхожусь, вот сюда ношу продавать мастерам. Но если отдам корову, то надо идти на завод... Лошадей мы теперь держать не имеем возможности, приходится коровами бороновать.

— Сколько же у вас скотины вообще?

— Две лошади, три коровы, три овцы, телка. Отдам корову — ее сварят и скушают, а я возил бы от нее молоко, этим молоком я прокормил бы сразу несколько семей.

— Уж если у вас не реквизировать, то у кого и взять? А почем вы продаете молоко?

— За горшок двадцать пять рублей.

— Неправда, дешевле тридцати — сорока нигде не найдешь,— вступил в разговор Чичканов.

Калинин недовольно покачал головой.

— Значит, если вы торгуете по двадцать пять рублей, то каждая корова дает в день семьдесят пять рублей. Помоему, вы наиболее состоятельный человек, от которого

можно взять корову. Мы-то, конечно, ни от кого бы не хотели брать. Но трудно поверить, чтобы у вас уже разорилось хозяйство.

— Корову прокормить стоит в год тысячу восемьсот рублей, а за нее платят только семьсот,— загорячился крестьянин.

— А возьмите по-старому. Сено стоило двадцать — тридцать копеек пуд. Корова съедала за зиму двести пудов. Это стоило шестьдесят рублей. А какая корова стоила по-старому шестьдесят рублей? Да только та, которая к августу телилась. Вот, значит, и прежде так было, что корова стоила дешевле, чем ее прокормить.

— Вот еще вопрос... Прошлый год была прислана бумажка, что в Совет не может пройти ни зажиточный, ни кулак, ни спекулянт, а что только наибеднейший. А эти наибеднейшие принесли много вреда.

— А я считаю, что они принесли и много пользы. Ведь они старостами во всю жизнь никогда не бывали. Весной, бывало, за пудиком хлеба к вам ходили, а в жаркое время у вас его отрабатывали. Правильно говорю, товарищ Олесин? — обратился Калинин к Ефиму, стоявшему рядом с Чичкановым.

— Да чево он плачется, Михаил Иванч,— ответил Ефим.— Он татановский аль донской, а эти села — вон они! — возле города. Торговлишкой всю жизнь промышляют. Привыкли налегке да побогаче. Понятное дело, не нравится им наша власть бедняцкая.

Калинин одобрительно склонил голову.

— Исполнительным комитетам, конечно, неприятно бывает проводить среди крестьян то или иное постановление центральной власти. Например, мобилизация: ясно, что когда мобилизуют в армию, то это очень задевает крестьян, и члены исполкома как бы превращаются в крестьянского врага, но естественно, что другого выхода нет, и избежать этого нельзя. Затем, вот твердые цены на хлеб — это тоже тяжелая обязанность. Этим особенно вызываются большие неудовольствия среди крестьян. Но, товарищи, представьте себе, что каждый из вас сядет на мое место. Наша Россия очень обширна. Есть части государства, где растет виноград; есть части, где много железа и не растет совсем хлеб; есть части, где много добывается каменного угля и тоже нет хлеба; и есть, на-

конец, части, где очень много воды, а стало быть, и рыбы и нет тоже хлеба. И вот мы из одной части требуем рыбы, железа, а им даем хлеб. Наступит лучшее время, когда хлеба будет много, когда не будет никаких реквизиций, а фабрики и заводы вместо того, чтобы приготовлять винтовки, будут приготовлять шапки и одежду, и обмен наступит естественным порядком. Иного выхода нет. Если Россия хочет существовать, то она должна заставить северных людей возить лес и рыбу на юг, а южные люди должны отдать по твердым ценам хлеб.

До тех пор, пока враг не разбит окончательно, пока рабочие не приступят к спокойной работе на фабриках и заводах, а крестьяне на полях, до тех пор мы многого и крестьянину и рабочему дать не можем. Не может же Калинин высосать из пальца мануфактуру для крестьян, не может выжать из пальца хлеб для рабочих. Огромный процент полей не обрабатывается, огромное количество фабрик и заводов стоит.

Новгородская губерния всю солому поела, но выдержала. Рабочие и крестьяне выдержат. Деникин и Колчак думают, что они своим опытом и знаниями победят нас, но они глубоко заблуждаются. Мы мужицкой настойчивостью возьмем верх!

Я не принадлежу к мечтателям,— мечтателя-крестьянина нет. И все же я уверен, что деникинские банды будут разбиты, мы победим. Эту уверенность мне дают факты; когда в губерниях появлялся Деникин, то все сразу вставали за советскую власть—дезертиров как не бывало!

Я думаю, что европейские умники Клемансо, Ллойд-Джордж, Вильсон, которые давно могилу вырыли большевикам,— а большевиками они считают весь русский народ,— я думаю, что они ошиблись, копая эту могилу. Сами в нее попадут!

— Товарищ Калинин! — крикнул богатырским голосом рыжеватый дезертир в порванной шинели.— Берите нас на фронт! Поработали честно, осознали! Воевать будем как львы!

— И меня возьмите!

— И меня!

Как по команде, один за другим вставали с земли и уверенно говорили:

— И меня!

Перед Калининым уже стоял строй готовых в бой красноармейцев.

— Товарищ Чичканов,— взволнованно и торжественно заговорил Калинин,— я верю этим людям. Как только закончат дорогу — пошлите их на фронт.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Ефим Олесин выполнял теперь в коммуне обязанности конюха. Он словно переродился. Требовательный хозяин проснулся в нем. Он не прощал никому оплошности в обращении со сбруей, с лошадьми. Читал нотации, пересыпая их бранью и своими прибаутками, которые — странно! — звучали теперь не как балагурство, а как мудрость опытного, серьезного человека.

Когда Василий пришел в конюшню за Корноухим, Ефим в упор осмотрел зятя и строго сказал:

— Коня не запали! За красотками гоняться — любова скакуна запалишь. А красоток в городе как щук в реке. Всех не переловишь.

Василий ничего не ответил и с места взял в галоп.

К Ефиму подошел Захар. Они, не сговариваясь, сели на бревно у конюшни. Захар протянул кисет.

— Нешто и вправду подымить с горя? — сказал Ефим, почесав затылок.— Давай подымлю.

Кое-как свернул цигарку, прикурил, закашлялся, бросил ее и затоптал лаптем.

— Нет, не впрок мне.

— Уехал Васятка? — спросил Захар.

— Уехал, язви его корень.

Помолчали.

— Вот они как, по-новому-то,— неопределенно сказал Захар, вызывая на разговор Ефима.

— А как же ты хотел? — зло ответил тот.— В одном селе хороша, в другом еще лучше, а в городе — и подавно. Мы с тобой век прожили в Кривуше, нигде не бывали. Мне, примерно, лучше моей Авдотьи никто не встречался. А теперь на поездах за юбками гоняются. Тьфу!

— Да-а,— протянул Захар с тяжелым вздохом.— Не-

ужели не опомнится Васятка? — И заискивающе посмотрел в глаза Ефима. Тот погладил свою реденькую бороденку и неопределенно пожал плечами.

2

Вечерняя заря еще догорала багровой полоской, а по небу уже плыла кособокая луна, не отставая от всадника. Тихий шелест ржи крался где-то совсем рядом.

Василий не подгонял Корноухого, тот сам торопился в знакомый хлев, где маленькие проворные руки молодой хозяйки будут щедро подсыпать овес и ласково трепать его длинную гриву.

Вот и поворот на проселок... Корноухий хорошо помнит эту узкую, заросшую дорожку, которая скоро сбежит вниз и упрется в плетень.

Василий придержал коня, вынул кисет, закурил.

Корноухий начал осторожно спускаться под гору. На серебристом фоне пруда черным силуэтом вырисовывался высокий тополь. Хутора пока не видно — он словно утонул в пруду...

Василий привык к этому зрелищу. Сейчас неожиданно дорогу преградит плетень, и тогда будет виден весь хутор. Но Василию нужен только амбар за плетнем, где на сеновале ждет его Соня.

Соскочил на землю, привязал повод к плетню. Тихо перелез. У двери амбара громко кашлянул.

— Кто это? — испуганный спросонок голос Сони.

— Это я... Вася.

— Напугал-то, милый.— За стеной захрустело и зашуршало сено.— Я сейчас... сейчас.

И влажные горячие губы торопливо впились в его колючую щеку...

Корноухий долго ждал хозяина, мирно пощипывая траву, но не выдержал и дал о себе знать тихим ржанием.

— Ты что же бросил его у плетня? — Соня оттолкнула Василия.— Ступай, отведи к Зорьке и дай обоим овса. Там ведро стоит.

Василий уже в который раз почувствовал над собой обворожительную власть этой непонятной женщины и кинулся исполнять приказание.

А вернулся притихший, молчаливый.

— Ты что же Корноухого не завел к Зорьке?

Василий умоляюще взял ее за руку.

— Ты что молчишь?

Василий не ответил. Только мял и мял ее руку в своей.

— Ну, говори же, что ты в молчанки играешь? А-а... так, так. Приехал прощаться? Да? Успокойся, никуда я тебя не отпущу. Я тебя от смерти спасла,— значит, ты мой! Мой! Мой! Слышишь? — И снова горячие руки обвили шею Василия, и снова задохнулся он от ее горячих ласк.

Но вдруг она притихла, задумалась, кусая сухую травинку. Набрала полную горсть его кудрей, долго теребила, гладила.

— Да... так вот и бывает: спишь, спишь, а просыпаться надо. Не хочешь, а надо. Кончился сон.— Она привстала, отодвинулась.— Только ты не переживай. Сохнуть не буду! — И вдруг залилась веселым смехом.— На кой ты мне леший сдался, женатик! Что я, не найду себе утешителя-отраду? Свистну только!

Василий схватил ее за руку:

— Прости, дорогая, прости! Ну что я могу сделать?

— И это все, что можешь выговорить? — холодно-спокойно сказала она, освобождаясь из его рук.— Зря стараешься! Мог бы до конца в молчанки играть. Я не поп — грехов не отпускаю. Сама грешить люблю и ни у кого прощения просить не стану.— Злыми, быстрыми движениями натянула юбку, накинула кофту и сползла с сеновала.— Пойдем, дорогой гостек, в дом. Угощу на дорожку, умаялся небось... А то и жена не признает! Да и посмотрим на свету друг дружке в глаза. Надолго вить прощаемся — навсегда!

Открыла дверь и пошла, не оглядываясь, к избе. Василий долго сидел на пороге амбара, подавленный и разбитый, крутя цигарку за цигаркой. Совсем близко загорланили нахальным басом петухи, на краю хутора послышался призывный и громкий, как выстрел, щелчок пастушьего кнута. Заблеяли в хлеву овцы, глухо замычали коровы.

Василий раздавил цигарку, нахлобучил картуз почти на самые брови и двинулся к крыльцу.

Соня оглянулась на стук двери.

Улыбнулась миролюбиво, беззлобно:

— Что долго раскуривал? Не ломай голову, миленочек, садись, выпей на дорожку. За свет не осуди — кроме сальничка, нет ничего. Лампу комитетчики ваши реквизировали. Небось мимо рта не пронесешь, пей!

Василий, не поднимая глаз, сел к столу, над которым чадил небольшой фитилек.

Взял кружку.

— Самогон? — тихо спросил, не зная, что сказать.

— А где я тебе церковного-то возьму? Чего к столу в шапке сел? Не веришь, так обычай соблюди.

— Прости, забылся,— рывком смахнул картуз на лавку.— За все прости.

— Уж ладно, коли тебе так приспичило прощение просить, прощаю. Все прощаю. Доволен?

Василий залпом выпил и приник к ломтю, втягивая носом ароматный хлебный дух. Откусил, нехотя пожевал и с трудом проглотил сухой, обдирающий горло комочек.

— Ну вот и все. Прощай! — сказала Соня.

— Проводи хоть, Соня...

Лицо ее вдруг перекосилось. Она глупо ухмыльнулась и заговорила быстро, злобно:

— Проводить, говоришь? Много вас тут таких будет ездить — всех провожать? Что я, дурочка, что ли? Лучше встречать, чем провожать! Ехай, ехай, миленочек! Бог даст, свидимся. Дорог-то эвон сколько! Не скучай! — И отвернулась, чтобы Василий не видел ее лица.

— Прощай, Соня, век буду...

Хорошо, что он не договорил и не подошел. Соня замерла, будто ждала невероятного.

Но Василий хлопнул дверью... Вот заржал Корноухий у плетня. В окне мелькнула тень всадника. Когда заглох стук копыт, Соня ничком упала на стол, свалив на пол пустую кружку, и затряслась в беззвучных рыданиях. Руки ее загребли ломоть хлеба, надкусанный Василием.

А он скачет теперь по полю и не видит того, как мокрые от слез пальцы Сони судорожно сжимаются и разжимаются, осыпая на стол мелкие черствые крошки хлеба...

На взгорке Василий резко осадил коня и оглянулся. Корноухий обрадованно загарцевал на месте и с надеждой покосился на хутор.

Над избами лениво поднимались дымки. Невольная жалость к себе овладела Василием. Ругала бы, умоляла — ему легче было бы! А она холодно отвернулась... «Что-то дешево расплачиваешься, комиссар?» — всплыли в памяти ее страстные слова... Скрытная, непонятная,— прости!

Корноухий недоверчиво и осторожно ступнул вниз, назад к хутору, но до боли сильный рывок удил заставил его метнуться назад, а удары плетью придали столько прыти, что пришлось забыть и про теплое стойло, и про душистый овес.

Хутор остался давно позади, а Василий все стегал и стегал и пришпоривал. Корноухий выбивался из последних сил, чтобы угодить седоку, но тот с каким-то остервенением сек взмыленные бока.

Глухо отдаются бешеные удары копыт по полевой дороге, и кажутся лишними эти звуки в предутренней дремоте полей.

Пролетит время, проскачут по этой дороге еще тысячи всадников, пройдут тысячи ног, и никому не будет дела до буйной страсти, вихрем промчавшейся здесь когда-то...



КНИГА ВТОРАЯ

ИСПЫТАНИЕ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Шел второй год гражданской войны...

Где-то бухали орудия, стучали пулеметы, падали сраженные бойцы, а в тамбовских селах еще справляли праздники, пили самогонку, дрались в кулачных боях, распевали вечерами под двухрядку разухабистые частушки...

Но фронт приближался...

Все чаще стали слышаться надрывные плачи о погибших на поле брани, все чаще появлялись увечные воины, и шла мобилизация за мобилизацией.

Только некрепкими были наскоро сколоченные дивизии из крестьян, которых брали иногда прямо с сенокоса или с поля, где жадные крестьянские руки уже обласкали первые ароматные снопы. Тоска по дому, непреодолимое желание выжить во что бы то ни стало в этой непонятной кутерьме событий толкали на ночные волчьи тропы... Через овраги, рощи, по нескошенным ржаным полям — к родному, навозом пропахшему очагу, где на колени сядет родное дитя, обнимет ласково женка, а поле, налившееся соками жизни, позовет землепашца вдо-

воль попотеть над нивой, вдоволь надышаться целебными запахами земли...

Но дезертиру и дома нет ни покоя, ни приюта. В свой родной дом он вынужден приходить, как вор, ночью. А на заре торопись в зеленый лес, прячься там в зарослях или в землянке, прислушивайся: не идет ли облава?

Только не облавы надо бы бояться дезертирам. Хуже облавы — худая народная молва. Там остановили мальчишку и отобрали хлеб, там встретили девку и надругались над ней. Стали люди бояться дезертиров, как разбойников, сторонились дорог, ведущих к лесу. И не милы стали эти люди даже близким родным.

Грубели с каждым днем их сердца. Тоскливо стало прятаться поодиночке — начали собираться в шайки. И появились в газетах воззвания комиссий, специально занимавшихся борьбой с дезертирством,— губкомдезов, укомдезов, а самим «дезам» пришлось уходить еще дальше от родных мест — в глубь зеленых лесов, в могильную тишину землянок-конурок. Так и окрестил народ дезертиров презрительной кличкой «зеленые конурщики»...

2

Августовский рассвет наступал быстро...

Солнце не хотело ждать, пока кто-то спрячется во ржи от людских глаз. Оно торопилось осветить поля, куда уже пришли самые беспокойные трудолюбцы убирать свой хлеб.

Митрофан Ловцов еле переставлял уставшие ноги. Шея болела от оглядок. Заметив несжатую полосу ржи, самую дальнюю от села, он с облегчением перекрестился. След огромных лаптей, оставленный, видимо, во время дождя, бросился в глаза Митрофану. Он решил идти этим следом, чтобы не делать новой тропинки во ржи. До середины — а там спать.

Цепкий крестьянский глаз сразу отметил, что рожь вот-вот начнет осыпаться, да и чего ждать, когда две недели августа прошло. Значит, некому эту полосу убирать. Видно, хозяин вот так же, как Митрофан, блукает по чужим неубранным полям, а то и лежит в бурьяне, незахороненный, никому не нужный...

Митрофан представил себе и свое поле неубранным — ведь отец был очень уж плох. Жалость к себе, к неубранному полю, к отцу, которого, может быть, уже нет в живых, еще больше расслабила его волю. Огромный мир, окружающий его, показался теперь особенно враждебным.

Он устало присел, подминая рожь, осыпая зерно, и увидел малюсенький клочок земли — всего несколько пядей огороженных бронзовой стеной ржаных стеблей. Пестрая букашка заметалась по дну засохшего следа, протоптанного неизвестным человеком.

И вдруг — Митрофан замер: в землю был вмят редкий двойной колос ржи. Митрофан бережно выковырял его из засохшего следа, оторвал от стебля и положил на взбугренную мозолями ладонь.

Вот он, счастливый колос! Когда-то в детстве тщетно искал в поле Митрофан такой колос. Как не обрадоваться встрече со своим счастьем! Может быть, и впрямь повезет теперь сыну Артамона Ловцова? Митрофану стало даже не так страшно попасться в руки властей, словно талисман уже огородил его от всяких напастей. Да и до дома осталось немного — скоро Сампур.

Он завернул колос в обрывочек фронтовой газеты, спрятал в боковом кармане гимнастерки и, подложив под голову вещмешок, заснул, сторожко вздрагивая во сне...

Его разбудило солнце. Оно стояло теперь высоко-высоко над ним и нещадно жгло лицо. Митрофан привстал, огляделся. Крестьяне уже обедали, сидя под телегами. Где-то неподалеку должен быть лесок,— он его видел издали, с косогора. Пока обедают мужики, можно успеть перебежать в прохладную рощу. Отыскав сонными глазами темную зеленую массу леса, Митрофан побрел туда, горбясь и раздвигая руками рожь.

Уже у самого леса Митрофан услышал из-за кустов громкий хриплый окрик:

— Стой! Руки вверх!

Он остолбенел. Вскинул руки вверх, бросив вещмешок.

Из-за кустов показались двое верховых.

Когда они подъехали ближе, Митрофан с облегчени-

ем узнал в них казаков и, не дожидаясь вопросов, торопливо заговорил:

— Дезертир я, братцы... дезертир! Домой иду. Все хлеб убирают, а у меня отец... помер! — сорвалось неожиданно с языка страшное слово.

— Знаем вас, кацапов! — гаркнул черноусый казак, слезая с коня.— Все вы дезертирами притворяетесь. Лазутчик небось.

— Ей-богу, дезертир! — перекрестился Митрофан.

— Какого полка? Какой дивизии?

— Пятьсот восьмого полка, из Борисоглебска.

— А ну выворачивай карманы!

Вывернул карманы брюк, с угодливой улыбкой поднял даже подол гимнастерки — убедитесь, мол, кроме брюха, ничего нет.

— А тут что? — хлопнул казак по нагрудному кармашку.

Митрофан вытащил сверточек с колосом и подал казаку.

— Это особый колос... счастливый,— дурашливо осклабился Митрофан.

— Вот то-то, что особый. Пароль, значит?

— Какой пароль? Во рже нашел... Он был лаптем вмятый... Отец говорил, что такой колос счастье дает.

— Не темни! — взвизгнул до того молчавший худенький казак.— Без тебя скоро темно будет! Руби его, Петро. Некогда с ним!

Митрофан упал на колени, затрясся от страха.

Усатый казак насупился, подергал усы:

— А ну встань! Беги домой, коль дезертир.

Митрофан вскочил, кинулся бежать, но, вспомнив про вещмешок, вернулся, схватил его.

— Дезертир, ей-богу, дезертир,— продолжал он машинально повторять спасительные слова.

То и дело оглядываясь на казаков, он побежал по полевой дороге. Что смерть вдруг нацелилась ему в спину, Митрофан понял сразу, как только увидел, что худенький казак вскинул винтовку. Он не слышал хлопка выстрела, только земля вдруг качнулась и встала с ним рядом стеной, и с этой стены покатилось его тело в бездну...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Зеленый косогор со сбегающей к ручью тропинкой, белая березка, нагнувшаяся к воде... Что может быть милее русскому сердцу в родных просторах?

Тропинка зовет в дорогу, густые плакучие ветви березки обещают прохладу, а на травушке-муравушке хочется отдохнуть. Пока сушатся портянки, можно развернуть чистую, любовно выстиранную женскими руками тряпицу, в которой обычно припасены вареные яички с солью, кусочек сала, горбушка духовитого подового хлеба. Дыши, ешь, пей родниковую воду, черпай силы для новой дороги!

Василий Ревякин впервые в жизни ощутил так остро тягу к природе,— ведь проходил раньше мимо этого места и не замечал. И не жара погнала его к ручью с березкой,— к жаре он привык! Знать, горе и одиночество толкают человека к мудрой успокоительной тишине природы.

Василий подошел к березке, потрогал ее шелковисто-белую кору, словно приласкал возлюбленную. Жаль, нет с собой ни яичек, ни сала, ни даже горбушки хлеба,— сел бы на траву, подкрепился. Да и некому завернуть их в чистую тряпицу, если бы даже были они у него в доме. Ушла Маша из коммуны, от него ушла. С нею и отец и мать ушли. Вернулся он в тот день от Сони, чтобы попросить у Маши прощения и зажить прежней ладной семейной жизнью, а комната пустая. Только обрывки бумаг белеют на полу да шинель его висит на гвозде у двери... Никак не думал Василий, что так скоро и так гордо решит все дело Маша, тихая, робкая, преданная жена. Кинулся было за ними в Кривушу, а отец и в дом не пустил. «Вот какую новую жизнь ты нам дал! — задыхаясь от злых слез, сказал Захар и уже вслед добавил, жалеючи: — Эх, горе-горюхино!»

Василий шел назад вот такой же узенькой тропинкой... Эх, тропинки, тропинки! Много вас вьется по земле, да не по каждой приятно шагать. Нет теперь у Василия ни Сони, ни семьи. Даже друг, Андрей Филатов, косится, сторонкой стал обходить. Василий не оставлял теперь

себе ни минуты свободного времени. Выезжал вместе со всеми в поле, чистил с Ефимом конюшни, ремонтировал мельницу. Ночевал где попало: на сеновале, в саду, у тестя, которому рассказал все чистосердечно и поклялся, что навсегда расстался с Соней. Коммунары были довольны переменой в председателе. Но бабы все же недоверчиво шушукались по углам.

Пусть говорят, пусть шушукаются, он делами покажет, что для него главнее в жизни. Вот и сейчас он не ушел бы с поля до вечера, косил бы со всеми вместе рожь, если бы не вызов в уездный исполком.

Василий сошел к ручью, зачерпнул пригоршней, попил. Расстегнув ворот гимнастерки, поплескал на лицо, шею, смочил волосы. На воду налетел легкий ветерок, рассыпав мелкую рябь, и над этой рябью мгновенно запрыгали солнечные огоньки.

Василий еще раз оглянулся вокруг.

Тропинка повела его к коммуне...

2

От конюшни, навстречу Василию, бежал Ефим Олесин.

— Васятка, иди скорее. Сам Чичканов к тебе приехал на той машине, на какой меня Калинин катал. С ним еще один.

Против колодца сверкала черным лаком машина. Ребятишки обступили шофера.

— Они конюшню осматривают, а у меня там, как на грех, гнедуха стоит больная,— сокрушался Ефим, сопровождая Василия.

— Вот и председатель! — весело воскликнул Чичканов.— Лаврова узнаешь?

— Товарищ Лавров?!

Андрей Лавров по-мужски, грубовато обнял Василия.

— Ну вот и свиделись! Живы и здоровы оба! Жатвой командуешь?

— Командую, товарищ Лавров, и сам кошу.

— Так и надо.

— Товарищи,— Чичканов нетерпеливо посмотрел на часы,— времени у нас мало. Давайте к делу. Мы, Ревякин, по пути к тебе заглянули. Пойдем в сад, что ли, поговорим. Заодно яблоками угостишь.

Ефим, все это время стоявший поодаль, вдруг обрадованно предложил:

— Я тебе, товарищ Чичканов, самый сладкий сорт укажу, пойдем со мной.

Чичканов дружески положил на его плечо руку.

— Спасибо, товарищ Олесин, только нам по секрету надо. А яблок набери, шофера угости.

Василий привел гостей к искусственному прудику в саду. Тут под раскидистой боровинкой стояла скамеечка — память управляющего имением австрийца Пауля.

Поспевшие яблоки, сбитые ветром, лежали в траве. Чичканов поднял самое крупное, румяно-бурое яблоко, сел на скамейку.

— Так вот, Ревякин... Тамбов стал Укрепрайоном. Южный фронт совсем близко. В бригаду, которую мы формируем для обороны города, присылают людей ненадежных — так называемых незлостных дезертиров. А поди разберись — злостный он или незлостный. И командный состав беспартийный. Вот мы и решили: коммунистов, бывших командиров, призвать.

— Правильно решили,— обрадовался Василий.

— Ты чему радуешься? — Чичканов покосился на Василия.

— Рад, что доверяете...

— Вот за этим мы тебя в исполком и вызвали,— заговорил Лавров,— а когда я узнал, что Чичканов в ваши края едет, решил сам побывать в твоей коммуне. Я ведь теперь председатель уездного исполкома.

— В коммуне оружие для защиты есть? — спросил Чичканов.

— Есть. Коммунары даже шутку придумали: у кого, говорят, у печи рогачи, а у нас — винтовки.

— Мудрая шутка, да недолговечна. До наших потомков не дойдет: ни рогачей, ни винтовок тогда не будет.

Лавров поднялся:

— Итак, вот тебе пропуск в Тамбов. Готовься. Время не ждет. Завтра утром явись в военкомат за назначением. И обязательно зайди ко мне.

Василий проводил их до машины. Ефим уже разгрузил свой картуз на шоферское сиденье и теперь, держась за дверцу, делился с шофером воспоминаниями о приезде Калинина.

3

Готовься... А чего готовиться? Печать уже отдал Андрею Филатову. Шинель на руку, котелок с ложкой в мешок и — айда! Вот проститься со всеми надо... А прощаться труднее всего.

Василий сидел в пустой комнате на кушетке, оставшейся еще от помещика, и тяжело раздумывал, что и как сказать на прощание коммунарам, родителям, Маше.

Коммунарам наказывать нечего: они уважают Андрея и без наказа. Хозяин он не хуже Василия, да и дела в коммуне идут неплохо. Земной поклон — и все. Отец с матерью простят, конечно, отправляя в неизвестную дорогу, а вот Маша?.. Василий представил себе чистые, честные, преданные глаза Маши и не нашел слов, которые можно было бы сказать в свое оправдание.

Просто сказать: прости! Не ушла бы, коль могла простить.

Он глянул на окно. Уже рассвет, пора бы и ехать.

Кто-то забарабанил в дверь.

— Заходи, кто там? — ответил Василий.

— Ты чего же, едрена копоть, сидишь-то? — Ефим стащил картуз.— Прощаться-то думаешь? Аль по-партийному, без этого? Народ ждет, у подводы стоят.

— Думаю, папаша, думаю.

— Так и иди, прощайся, а то уж ехать пора! И Захар наказал, чтобы непременно заехал.— Он помял картуз в руках, опустил глаза.— Я с Машей гутарил... так ты того-этого... не трогай старое. Лучше молчком простись. В добрый час молвить, в худой — промолчать. Бабье сердце отходчиво... И то сказать,— вдруг оживился Ефим,— одни попы грехи отпускают шибко, потому как сами грешны.

— Ну что ж, прощаться так прощаться!

Коммунары ждали Василия у подводы. Он приветливо улыбнулся им, бросил мешок и шинель на тележку.

— Ну, товарищи, прощайте, не поминайте лихом. Живите дружно. Машу и ребят моих не оставьте, коль что...

— Возвращайся скорей.— Андрей Филатов пожал руку Василию.

Через толпу пробралась Авдотья, теща. Она кинулась на шею и тихо заголосила.

Василий насупился, погладил ее растрепанные волосы:

— Прощай, мамаша, не помни зла...

Ефим уже взял в руки вожжи, когда подбежала Аграфена:

— Ефим, скажи Кланьке, пусть приедет погостить!

До самой Кривуши Ефим гнал Корноухого рысью. Василий издали заметил, что отец стоит у крыльца, ждет.

— Вот мы и прикатили,— первый заговорил Ефим, весело подергав белесыми бровями.

— Милости просим, заходите в дом,— ответил Захар, не решаясь заглянуть сыну в глаза.— Перед дальней дорогой посидеть положено в родном доме.

Василий вошел в дом и сразу заметил, что и мать и жена уже поплакали. Маша сидела на сундуке, тихо покачивая зыбку с Любочкой, а Мишатка с бабушкой — за столом.

Увидев сына, Терентьевна кинулась к нему, причитая что-то неразборчивое, но очень жалостливое. Мишатка одной рукой обхватил ногу отца, а другой дергал бабушку за юбку и настойчиво уговаривал ее: «Не надо, ба, не надо...»

Маша уткнулась в фартук и беззвучно рыдала, не отрывая руки от зыбки, словно эта зыбка была ее единственным спасением даже в эти страшные минуты расставания с мужем, который может не вернуться с войны.

— Ну, хватит, хватит,— заворчал Захар.— Садитесь за стол.— Он достал с полки бутылку, ототкнул, налил в кружки.

Василий вынул из кармана несколько кусочков саха-

ру; один дал Мишатке, остальные положил на стол и тяжело шагнул к зыбке.

Мишатка засунул в рот сахар и, заглядывая в глаза отцу, картаво спросил:

— Папка, а ты взаправду на войну? Али к тетке едешь?

— На войну, Миша, на войну...— Он нагнулся к спящей Любочке, поцеловал ее.

Маша громко всхлипнула.

Упасть бы перед ней на колени, положить повинную голову на ее руки... Но легче ли ей будет сейчас? И тесть просил не трогать старое.

Василий подошел к столу, сел, взял на колени Мишатку.

Захар пододвинул кружку.

— Мне нельзя, батя, пусть отец Ефим за меня выпьет.

— Ну, а у меня сказ короткий: будем живы, богу милы, а людям сам черт не угодит! — И Ефим опрокинул кружку.

Захар строго заглянул Василию в глаза:

— Живому, сынок, быть, семье послужить.— Он пил медленно, громко сглатывая, словно священнодействовал.

Терентьевна подняла с лавки беленький мешочек, подала сыну.

Василий поцеловал мать, подошел к отцу. Тот расправил усы, отер ладонью рот и громко, трижды, поцеловал сына.

— Прописывай все... как и что.

— Зря, батя, из коммуны ушли,— осмелел Василий.

— Поживем — увидим,— неопределенно ответил Захар.

Василий подошел к Маше, тихо поцеловал ее волосы, поднял на руки Мишатку, прижал его к щеке, постоял так...

Уже за дверью вспомнил, как Маша вздрогнула, когда он притронулся губами к ее голове, и на душе сделалось вдруг так тоскливо, что хоть возвращайся назад и падай в ноги.

Терентьевна осенила его крестом, Захар отвернулся, пряча слезы.

Когда Ефим взмахнул вожжами и Корноухий рванул с места, Василий невольно взглянул на окно, против которого сидела Маша, и увидел за стеклом заплаканное лицо с широко открытыми глазами.

Родные, милые глаза! Обожгли тоской и скрылись. А из-под колес уже уходили кривушинские пыльные колдобины...

4

Давно уже не разговаривал Ефим с Василием откровенно — с тех самых пор, как связался тот с Макаровой дочкой, хотя видит, что прошла дурь — раскаивается человек.

Дальняя дорога настраивает на говорливость. И Ефим начинает осторожно, с заходом,— обращается с вопросом к Корноухому.

— И чего ты все в сбочь лезешь, каналья? Плохо те по большаку-то! Ну, пошел! — Он чмокает губами, дергает вожжу, направляя Корноухого на колею, и продолжает: — Оно, конешное дело, и нас порой вкривь заносит.— Это уже совсем прозрачный намек, и Ефим косит глазом на зятя.

Василий смотрит вперед — будто не слышит.

— Мне вчерась Авдотьин брательник рассказал, как продотрядчик у него прямо по снопам разверстку делал. Разве это не вкривь? Снопы-то — это, как мой отец говаривал, еще солома, а не зерно. Скоко того зерна вымолотится — неизвестно, а он уже высчитал!

— Не может быть! — заговорил Василий.— Это какой-то дурак властью балуется. Губпродком установил норму: оставлять на едока двенадцать пудов зерна и пуд крупы. За пуд крупы — полтора пуда зерна или семь пудов картошки...

— Э-э, милый, скоко их еще на свете, дураков-то! Сразу не разберешься: на вид важный — давай пихай его во властя. Ан не впрок дураку власть, портит его в отделку. Когда теперь еще Калинин в Тамбов приедет! А местные творят по своему разумению... Хорошо, коль есть оно, разумение-то. Вот теперь возьми, как в солдаты берут. Кто сидит в военкомате, не знаю, только глядь — оба сына Бирюковы с ослобождением, а Мит-

рошку зимой забрали от больного отца. Какая же это справедливость?

Василий промолчал.

— Андрей, он зазнаваться стал,— продолжал Ефим.— В твою саманку, говорит, лошадей поставим... Это тех, что для конницы купили... Тебе, говорит, советская власть дала барскую фатеру. Что ж, что дала, а вдруг енаралы нажмут и коммунию разгонят — куда мне с псарней своей деваться? Под кусты? Это дело не шутейное. Что ж я, на конском помете жить тогда буду?

— Не разгонят, батя,— убежденно сказал Василий, хлопнув Ефима по плечу.— Постоим за коммуну насмерть!

— А зачем же тебя от нас берут, коль дело твердое? — сощурился Ефим, взглянув в глаза зятю.— Ты начинал дело, так и продолжай.

— Командиры нужны фронту,— уклончиво ответил Василий,— а Андрей хозяйство знает. Ты бы и то справился — дело-то налажено.

Ефим от такой похвалы чуть не поперхнулся. Дернул вожжи и захихикал:

— Скажешь тоже... Максимка Хворов вчерась ко мне приставал... ты, говорит, сочинителем сделаться могешь. У тебя, говорит, в разговоре все складно.

— Где ты его видел?

— Да он в коммуну заходил. Ты в поле был. Ну я ему все показал, растолковал... не без прибаутки, конешное дело. Он и говорит: учись, говорит, грамоте, Юшка. А я ему: какой я тебе Юшка? Я Ефим Петров теперь! Так ошпарил, что прощения зачал просить. И свое заладил: учись читать-писать, не поздно, говорит. В городе все учатся. Попробуй, говорит, складные частушки про жизнь придумывать. Это, говорю, можно и без грамоты.

— А что, папаша, ты и взаправду смог бы сочинять... Попробуй! Говорят, за это даже деньги платят.

— Да ну? Едрена копоть! Это я, пожалуй, в Андреев ликбез пойду.

— А что Максим говорил про меня?

— Еще раз приедет. Посоветоваться с тобой хочет. Это он к родным повидаться приезжал. Обещал мне сти-

шки какого-то Бедного Демьяна привезти. Вишь, бедные-то в люди выходить зачали... Мой Панька в какой-то молодой союз поступает, будет вроде как ты — партейный... И я, как у Андрея научусь свою роспись ставить, тоже в партию запишусь. Только вот как с богом быть? Я вить верую... Нельзя с этим? А?

— Коммунист не должен верить в бога,— ответил Василий.

— А может, вера-то моя не помешает? А? Я вить только вечерами кщусь-то, а в потемках кто заметит?

— Нельзя, батя, и нашим и вашим. К одному берегу прибиваться надо.

— Оно страшновато, Васятка, сразу-то отказываться от бога. Был, а то сразу — нет! И так подумаешь: помощи он нашему брату не дает. Видно, деваться некуда... брошу и перед сном кститься.

— Правильно, папаша, нам теперь сворачивать с большака некуда.— Василий сказал это так, будто отвечал на его намек.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Митрофан услышал над собой разговор и с трудом открыл глаза.

— В спину стреляли,— сказал кто-то.

Худое, чисто выбритое лицо склонилось над Митрофаном.

— Дезертир я...— полубессознательно повторил он слова, которые твердил казакам.

— Постой, постой,— заговорил очень знакомым голосом бритый,— да ты не Митрофан ли Ловцов?

— Митрофан... а ты кто?

— Не угадываешь? Это хорошо! — Бритый оскалился, изображая улыбку, и Митрофан заметил на правой стороне его носа бородавку. Какое-то воспоминание шевельнулось в мозгу.

— Сидора Гривцова помнишь?

— Дядя Сидор! — Митрофан хотел было подняться, но застонал и расслаб.

— Лежи, мы тебя сейчас в повозку уложим. Настелил, что ли, Ванька?

— Господи, да не во сне ли... ведь ты, дядя Сидор, покойник,— едва слышно проговорил Митрофан, неотрывно следя за бритым худым лицом.— Тебя ведь убили. Где же твои усы-то?

— Тебя вот тоже убили, да не до смерти, а меня хотели убить, да раздумали. Слух только пустили. Так что нам с тобой теперь долго жить. А усы отрастить плевое дело. В тебя кто стрелял-то?

— Казаки...

— Быть не может! Фронт далеко.

— Ей-богу, казаки...

Сидор опасливо оглянулся:

— Скорей, Ванька, иди сюда!

Митрофан разглядел на Гривцове кожаный картуз, гимнастерку с ремнем... Где-то близко всхрапнула лошадь.

Рядом с Сидором появился рыжий парнишка.

— Бери его за ноги,— приказал Сидор,— а я под руки возьму. Ну, взяли.

Митрофана пронизала острая боль, он застонал.

— Терпи, Митрофан... Бог терпел и нам велел.

— Не довезешь, дядя Сидор, помру я... душа горит... весь в крове...

— Крепись, говорю,— уже сердито сказал Сидор.

Телега, скрипнув, тронулась с места.

— Спасибо тебе, дядя Сидор, спаситель мой... Мешочек-то не забыли? — сквозь стоны бормотал Митрофан.

— Вот он, вот, под головой, лежи...

— Ну и слава богу.— Митрофан стиснул зубы и закрыл глаза.

Сидор сел у изголовья, искоса взглядывая на землистое лицо Митрофана. «Да, неисповедимы пути твои, господи! Не узнать, от кого смерть примешь... В кармане документы продагента, гимнастерка красноармейская, фуражка со звездой. Казаки налетят и подстрелят, как Митрофана, не разобравшись. А тогда в Чека ждал смерть, ан свой человек нашелся, спас, да еще документ хороший дал и в Сампур направил».

С тех пор и стал Сидор продагентом Пресняковым.

Перед глазами Сидора встал подтянутый, стройный

Смородинцев. Холеное, бледное лицо его улыбалось Сидору одними хитрыми острыми глазами... Вот как умеют пролезть люди! В Чека смертными делами ворочает, а пользу в другой карман опускает... Сидор злорадно усмехнулся, как в ту долгопамятную ночь, когда вышел из двора Чека новоокрещенным. Петр Данилыч Смородинцев... Эти слова он твердил всю дорогу до Сампура не только потому, что надо было хорошо запомнить его имя для дела, но и потому, что решил еженощно молить бога за своего спасителя. Вот и Митрофан, коль жив останется, по гроб будет его, Сидора, почитать и за него молиться.

— Сверни на пахоту, Ванька, помягче там. Да пошибче.

Митрофан открыл глаза и спекшимися губами попросил:

— Пить...

— Потерпи, нет у нас с собой. Больница скоро. Да ты, Митроша, не говори, что дезертир. Скажи, в отпуск домой шел, казаки налетели, документы отняли и подстрелили.

Митрофан молча кивнул головой.

— Ты давно из дома-то?

— Перед рождеством взяли.

— Про бабу мою не слыхал?

— В Ивановку к сестре ушла сразу, как Тимофея...

— Знаю про Тимофея,— перебил Сидор.— А в доме кто?

— Школу Андрей Филатов открыл...

— Так-так,— угрожающе произнес Сидор и тяжело вздохнул.

2

К вечеру жара спала, но устоявшаяся над ржаным полем духота все еще не проходила. Хоть бы ветерок повеял — обсушил вспотевшую спину.

Макар Елагин поторапливал жену, которая и без того выбивалась из сил, подавая ему снопы на воз. Надо еще раз приехать, забрать последние снопы, которые свя-

жет Соня. Нельзя оставлять хлеб в поле, никто не оставляет — время такое.

Макар первый из светлоозерцев начал убирать рожь. Два участка — Сонин и свой — нелегко убрать втроем.

Сегодня поработали отменно. С утра, по росе, он крюком полполя прошел, жена и Соня серпами жали. Еще на одно утро осталось на его участке, потом на Сонин перебираться. Там рожь позднее посеяна, потерпит.

Серафима совсем выбилась из сил. Едва сноп поднимает, но не жалуется, терпит. Пусть едет домой скотину встречать. Соня помоложе — довяжет рядок.

— Хватит, Серафима, все равно еще раз приезжать. А то с возом вместе в канаву сползем.

Серафима села на сноп, скинула с головы белый платок, утерлась им и стала ждать, пока Макар увяжет воз.

— Управишься тут одна? —спросил Макар подошедшую попить Соню.

— Управлюсь, только скорей возвращайся назад, батя, а то уж в поле никого не остается.— Соня ласково потрепала ухо Зорьки.

— Ну, поехали... Серафима, лезь сюда.— Он подал ей руку.

Соня помогла мачехе влезть.

Когда воз скрылся из виду, Соня присела передохнуть. Не хотела показывать отцу усталость, а уморилась так, что хоть ложись и не вставай до утра. И голова какая-то пустая. Ни о чем думать не хочется. Да и передумано уж все. «Соловьем залетным счастье пролетело». Живи, не думая. С утра торопи вечер, вечером засыпай до утра. Что говорила в то утро Василию — сама не помнит, знает одно: облегчить ему хотела уход, на себя наговаривала. А ведь никого у нее не было и нет... И не будет, пока живет на земле Василий.

Соня тоскующе вздыхает, скручивает жгут соломы и поднимается к рядку скошенной ржи. Горьмя горит лицо ее от загара, саднит руки, исколотые жнивьем.

Солнце уже висит над самым горизонтом. Соня облизывает спекшиеся губы и вяжет, вяжет, не поднимая глаз...

Совсем близко заржал конь.

Неужели так быстро вернулся отец?

Соня подняла голову и обмерла: к ней подъезжали двое верховых.

Чубатый военный с выпученными черными глазами кинул повод товарищу и ловко соскочил на землю. Погладив круп своего коня, он зашагал к Соне.

— Ого! Красавица! Вечер добрый! — Заломил картуз набок и подбоченился.

— Кто вы такие? — пятясь, спросила Соня.

— Мы — казаки, а ты чья? Из какого села?

— Из хутора Светлое Озеро.

— В хуторе красноармейцев нет?

— Нет никого.

— А в соседних селах?

— И там нет. Далеко от нас, под Араповом, говорят, окопы роют...

— Митрий, проскочи по дороге, догляди, я тут с девкой побалакаю.

Верховой стегнул обоих коней и поскакал к дороге.

Соня сразу почувствовала недоброе. Она кинулась бежать к соседнему полю через несжатую рожь, но казак догнал ее.

Соня вскрикнула, но голос заглох под шершавой потной ладонью, которой казак только что гладил круп своего коня. Острый, дурманящий запах конского пота ударил ей в нос. Задыхаясь и теряя сознание, Соня увидела безжалостные выкаченные черно-пустые глаза казака...

Макар издали увидел всадников на своем поле. Он встал на телеге во весь рост, чтобы разглядеть, где Соня.

Всадники уже удалялись, а Сони не видно. Макар испуганно взмахнул вожжами:

— А ну, Зорька, гони!

Макар никогда и раньше не брал для Зорьки кнута, а теперь и совсем его забросил — одна она у него осталась. Но Зорька и без кнута понимала, что надо,—по голосу, по движению вожжей. Она всхрапнула, словно подбадривая себя, и поскакала что есть духу.

Макар так и остался стоять, широко расставив ноги. Он размахивал над головой вожжами, будто уже не до-

верял Зорьке, а сам неотрывно смотрел на опустевшее поле — туда, где он оставил Соню.

Она сидела на примятой полянке ржи у самого края. Даже не подняла глаз на подбежавшего отца, не заплакала, только уперлась руками в землю, силясь встать. Лицо ее позеленело, волосы растрепаны.

Макар все понял...

— Дочушка, родная, что же я сделал с тобой, зачем же я тебя оставил, дурак старый.

Она не ответила ничего. Дрожащими, слабыми руками ухватилась за его шею, встала, но не держалась на ногах. Макар взял ее на руки и понес к телеге, роняя скупые мужские слезы на ее ободранное, испачканное землей плечо. Макара больше всего испугало, что Соня не плачет, а лицо ее поминутно вздрагивает. Он бережно усадил ее и кинулся к снопам.

— Поплачь, поплачь, не стыдись, дочушка, легче будет. Я сейчас снопчиков тебе к спине подложу,— извинительно говорил он, подкладывая снопы.

И уже хватило бы снопов, везти скорее домой надо, а Макар все клал и клал,— жалко оставлять готовые.

Взяв последний сноп под мышку, Макар перекрестился.

Оглянулся в ту сторону, куда ускакали всадники, и не выдержал — спросил:

— Дезертиры, что ль, дочушка?

Вопрос отца будто хлестнул Соню по лицу, воскресив в памяти страшные минуты. Она снова увидела перед собой выкаченные черно-пустые глаза чубатого.

— Казаки! — вскрикнула Соня.

Макар испуганно перекрестился и, дернув вожжи, торопливо зашагал рядом с повозкой...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

С южной и юго-восточной стороны, в направлении предполагаемого удара, Тамбов защищали 610, 611 и 612-й стрелковые полки 4-й особой бригады. Окопы и проволочные заграждения этого сектора обороны, построен-

ные подковообразно от Ляды до Арапова и Рудневки, были приняты Советом Укрепрайона. Но строительство второго сектора — от Рудневки и дальше, к западу, к Пушкарям — затянулось, так как началась уборка урожая. Крестьяне с подводами не хотели ехать на окопы.

Так называемые незлостные дезертиры из Курской, Тульской, Вятской и Новгородской губерний прямо из эшелонов посылались на формирование в полки, где им вместо винтовок давали лопаты — рыть окопы, а винтовки обещали выдать позже. Но оружия не было в распоряжении штаба Южного фронта.

На четырнадцать тысяч человек было получено только четыре тысячи винтовок, да и то разных систем.

Чичканов, как член Совета Укрепрайона, дважды ездил в штаб Южного фронта с докладом о бедственном положении с формированием бригады и оба раза возвращался с пустыми руками. Оружия так и не дали.

Командующий Южным фронтом заверил Чичканова, что никакая опасность Тамбову еще не угрожает, что специально послана 56-я дивизия для блокирования возможного прорыва. Объявить губернию на осадном положении командующий не разрешил.

Это было днем 15 августа 1919 года, а вечером, вернувшись в Тамбов, Чичканов узнал от коменданта Укрепрайона Редзко, что разъезды казаков обнаружены в непосредственной близости от обороны 610-го полка.

Шестнадцатого августа утром из штаба фронта пришло разрешение объявить осадное положение, и было обещано два вагона винтовок.

Эвакуация ценного имущества и семей ответственных работников вызвала панику в городе.

В ночь на семнадцатое позиции 610-го полка атаковал авангард кавалерийского корпуса Мамонтова. К утренней заре атака была отбита. Мамонтовцы начали обтекать укрепления, ища слабое место в обороне.

Среди раненых, привезенных с позиций 610-го полка в Тамбов, двое оказались командирами. В них стреляли свои — не то нечаянно, не то умышленно.

Чичканов, встретивший обоз у штаба, на первой же повозке увидел Василия Ревякина, придерживающего окровавленное плечо.

— Свои, гады, подарили пулю,—не дожидаясь вопроса, заговорил Василий.— Половина роты сволочей из кулацких гнезд... Конурщики проклятые.

— Как думаешь, Ревякин, удержит позиции ваш полк? — с тревогой спросил Чичканов.

— Пока держит,— неопределенно ответил Василий.

— Ну, в больницу, в больницу,— заторопил Чичканов ездового, остановившего лошадь.

Ни Чичканов, ни Василий не знали еще, что в момент их разговора несколько полков Мамонтова уже атаковали позиции 611-го и 612-го полков и прорвали оборону сразу в Рудневке и Арапове... А особый эскадрон мамонтовцев взорвал два моста между Сабуровом и Селезнями, захватив в плен эшелон безоружных дезертиров.

2

В штаб Укрепрайона явился смуглый, с отчаянными глазами человек в форме войск ВОХРа и попросил встречи с Чичкановым.

— Здравствуй, Чичканов,— грубовато, панибратски произнес человек, заломив козырек кожаной фуражки.

Чичканов сразу узнал Петра Кочергина, который год назад командовал восемнадцатью храбрецами, спасшими руководство губернии от расстрела.

— Кочергин? Здравствуй, здравствуй. Как ты очутился здесь? Ты же где-то под Москвой служишь?

— В Твери. Командиром двадцать девятого стрелкового батальона ВОХРа. В отпуск приехал, да вот нарушается мой отдых. Казаки, говорят, жмут. Я, как сын революции, не могу стоять в стороне. Дайте дело.

— В полк командиром батальона пойдешь!

— Разрешите лучше самостоятельный отряд добровольцев организовать!

— Если сможешь в этой обстановке создать боевой отряд, только спасибо скажем!

— Отряд будет, товарищ Чичканов. Дайте мандат.

Подписав бумагу, Чичканов крепко пожал руку Кочергину:

— Если удастся собрать людей — веди в Арапово на подкрепление.

Но события развивались быстро и катастрофически.

К двум часам дня казаками были полностью захвачены окопы в Арапове и Рудневке. Защитники окопов в панике разбежались. Многие сдались в плен. Артиллеристы, не имеющие в своем распоряжении лошадей, вынуждены были побросать орудия, вынув из них замки.

Ликвидировать прорыв могли только кавалерия и броневики, но кавалерии в распоряжении штаба не было, а один броневик без прикрытия с тыла действовать в этих условиях не смог и вернулся из-под Арапова, спугнув лишь сторожевое охранение.

В лесу под Араповом концентрировались полки Мамонтова для решающего удара по Тамбову. Остатки разбитых батальонов 611-го и 612-го полков бежали в Тамбов, сея панику среди населения. Лишь 610-й полк с боями отходил к Бокину.

К семи часам вечера казаки заняли слободы Покровскую, Стрелецкую и Полынки, расположенные в версте от железнодорожной станции Тамбов. Красноармейцев, отступающих из покровского пригорода, обстрелял из пулемета поп, залезший на колокольню кладбищенской церкви Петра и Павла. В десять часов вечера послышалась стрельба у вокзала, и, словно в ответ, открылись окна богатых домов на главной улице города и полетели оттуда пули мамонтовских агентов.

Начальник 55-го бронеотряда латыш Лерхе, узнав, что стреляют из окон враги революции, приказал броневику открыть огонь по этим окнам из пулемета. Это довело и без того начавшуюся в городе панику до логического конца: стрельба и суматоха прокатились по всему Тамбову. В темноте было трудно понять, кто в кого стреляет, казалось, что казаки уже заняли город. Толпы дезертиров, которые размещались в Пушкарях, бежали через город за Цну, в лес. Этих объятых животным страхом людей невозможно было остановить.

Чичканов прибежал на площадь перед «Колизеем», чтобы связаться с батальоном курсантов. Курсанты отходили к Цне, развертываясь в цепь. Строго наказав ком-

бату не уходить за реку без особого указания штаба, Чичканов вернулся в Совет Укрепрайона.

«Войска разбегаются, город не удержать»,— услышал Чичканов разговор коменданта с командующим Южным фронтом.

Увидев Чичканова, Редзко растерянно развел руками:

— Что будем делать? Надо решать. Фронт оголен, артиллерия вся у казаков. С комбригом потеряна связь. Наличным резервом принимать бой в городе бессмысленно. Надо хоть батальон курсантов сохранить, ведь это будущие командиры.

В три часа пятнадцать минут Совет Укрепрайона подписал приказ об отходе остатков войск из Тамбова по Рассказовскому тракту на станцию Платоновка.

Приказ об отходе войск был послан и командиру 4-й бригады Соколову, оставшемуся с одним полком, но ему этот приказ был уже не нужен — он сдался вместе с начальником штаба в плен. Оправдал бывший полковник слова, написанные им в анкете в момент назначения на должность комбрига: «Я вне партии!..»

Генерал-лейтенант Мамонтов не замедлил отблагодарить полковника Соколова — назначил его консультантом при штабе.

В восемь часов утра под колокольный звон казаки торжественно вступали в Тамбов, разбрасывая монархические листовки, подписанные Мамонтовым. Тамбовские обыватели, выглянувшие из окон, к немалому своему удивлению, увидели рядом с генералом Мамонтовым комбрига Соколова. Оба на белых конях, оба приветственно помахивают руками.

А на станции горели составы. Горели и вагоны с оружием, прибывшие из Козлова слишком поздно...

На площади перед «Колизеем» Мамонтов разрушил памятник Карлу Марксу, а в середине дня выступил перед горожанами в железнодорожном клубе. Его напыщенную монархическую речь тамбовцы выслушали при гробовом молчании — их почти силой загнали в клуб. Сопротивляться было опасно: главную улицу города украшали две виселицы, десятки захваченных советских работников были расстреляны. В то время как генерал произносил речь, обещая мир и процветание русскому на-

роду, в Арапове, на большой дороге, перед строем пленных красноармейцев казаки расстреляли красных командиров Шилина, Смирнова, Вечутинского, а пьяные квартирмейстеры и обозники на окраинах Тамбова насиловали женщин. Склад, размещенный в бывшем гостином дворе, казаки разгромили и распродавали жителям за николаевские деньги обувь и одежду. Кое-что они отдавали даром и приговаривали: «Мамонтов вам жалует...»

Тех, кто отказывался брать имущество склада, секли плетьми до потери сознания. Мужики и бабы из Пушкарей, Лысых Гор, Двойни кинулись грабить полевой артсклад. Их очень привлекали шелковые мешочки из-под пороха. Кто-то неосторожно бросил цигарку, и весь склад взлетел в воздух, разметав в клочья тела людей.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Весть о сдаче Тамбова докатилась и до Кривуши. Перевирая и присочиняя, бабы из уст в уста передавали подробности, из которых ясно было только одно: в Тамбове белые.

Маша узнала об этом от отца. На пути в Тамбов он вернулся с хутора Светлое Озеро. Встречный сказал, что власть опять сменилась — казаки верховодят в Тамбове. Не знает теперь Ефим, взяли ли Паньку в солдаты. И про Василия ничего не знает.

— Да правда ли это? — сокрушалась Маша. —Ты бы подальше проехал, батя.

— Ишь ты какая шустрая! Поехай! Без коняки останешься, а то и без головы. Гляди, теперь и сюда нагрянут.

На другой день стало известно, что один светлоозерский унтер-офицер, отпущенный казаками из плена, вернулся домой.

— Я пойду на хутор и все разузнаю,— сказала Маша отцу, который принес эту новость.

— Да ты что, Маша, не ходи! — стала упрашивать ее Терентьевна.— Случится што... Не забывай, Любочка грудная.

Маша промолчала и, покормив дочку, тайком от своих тронулась в путь.

Она ни разу еще не была на хуторе, хотя слышала о нем много. Деревенские девки часто ходили сюда на вечерки, а после рассказывали, как их провожали светлоозерские ребята до кривого мостика за селом.

Вот он, этот мостик. И впрямь — кривой от ветхости.

Маша увидела рубленые домики под камышом, высокие тополя по-над прудом.

Девочка, вышедшая из первого дома, показала, где живет вернувшийся с войны унтер.

— Он ушел в поле. Скоро вернется.

— А тетя Соня Елагина где живет? — спросила Маша.

— На том краю... Последний дом ее.

С замирающим сердцем Маша поднималась по ступенькам крылечка.

На ее стук никто не ответил. Она постучалась еще раз.

— Никого нет, иди сюда,— услышала она рядом чей-то голос.

Маша сошла со ступенек, заглянула за угол дома.

Там сидела, прислонясь к стене, пьяная женщина. Она едва держала в руке стакан, другой рукой ловила огурец, катавшийся по подстилке.

— Тебе кого? — охрипшим голосом спросила она Машу.

— Соню Елагину.

— На кой она тебе? Ты кто?

— Я Маша Ревякина. Мне поговорить с Соней надо.

Женщина вдруг резко поставила стакан, выплеснув на подстилку самогон. Черные глаза ее впились в Машу.

— Нечего с ней говорить. Нет ее...

— Про мужа хотела у ней узнать... Может, она знает чего?

— Куда ж он подевался? — с издевкой спросила женщина.

— В армию его взяли, Тамбов защищать, а там, говорят, белые теперь.

Женщина вдруг рванула подстилку, смахнув с нее и бутылку, и стакан, и огурец. Медленно, опираясь о стенку, встала и пошла, нагнув голову, прочь от дома.

Маша успела отметить ладную стать женщины и пожалела: такая молодая и так пьет.

— Тетенька, дядя Костя пришел с поля,— услышала Маша за спиной голос девочки.— А тетя Соня опять пьяная.

— Где она? — спросила Маша.

— Да вон пошла...

— О господи, да что ты, девочка! Ошиблась ты. Неужели Соня такая?

— Пятый день пьет.

— Да ты что говоришь-то? Может, другую тетю Соню мне показала? Мне ямщикову дочь надо, дяди Макара.

— Ну так она это и есть. И дом ее. Она с теткой жила. А тетка померла. Вчера схоронили.

— О господи, да что же это такое? Ушам своим не верю. Неужели все правда? — Безотчетная жалость к Соне вдруг больно коснулась сердца, словно Соня и не была ее соперницей.

Маша испуганно перекрестилась, оглянувшись в ту сторону, куда ушла Соня, заторопилась домой.

Усатый унтер Вербилов сидел на порожке, поджидая Машу.

— Вот она тебя искала, дядя Костя.

Маша поздоровалась, назвала себя.

— Коммунистов и евреев всех перестреляли,— сказал Вербилов,— а пленных — по домам. Про Василия Захарова не слыхал. Разве он не в коммуне?

— Да взяли его перед этим.

— Может, убит, а может, и жив, да в бегах.— Вербилов сплюнул.— Ну, я пойду.

Маша уже забыла про Соню — так оскорбило равнодушие этого человека к ее горю.

2

Макар привез тогда Соню в свой дом. Достал из похоронки бутылку первача, которую берег на всякий случай, налил в кружку.

— Выпей, дочка, на душе отмякнет, да и уснешь крепче. Господи благослови.

Соня покорно взяла кружку, выпила, словно воду,— только закашлялась. И — тихие, обильные, освобождающие душу слезы полились из ее глаз. Она откусывала свежий, душистый огурец, обмоченный слезами, и ей казалось, что отец заботливо посолил его, хотя в доме второй день не было соли.

«Отойдет»,— думал Макар, глядя на слезы дочери.

Ан не отошло... А тут еще сестра умерла. Одна осталась Соня. И теперь проклинает Макар себя, зачем толкнул дочь на такое угарное забытье.

Ругал ее, уговаривал, стыдил — молчит, как каменная, и пьет. Макар обошел всех баб по хуторам, упрашивал не давать ей самогонки, а к вечеру Соня опять лежала на сеновале, облепленная мухами. Видно, в соседнее село ходит. Не пойдешь же объяснять по всем селам — только свой позор разнесешь... Горе, как рваную поддевку, надо оставлять дома.

Макар вздыхает, оглядывается на спящую жену и снова приникает к окну, откуда видна дверь Сониного дома. Сегодня молотили долго. Думал, что с устали поленится идти — три километра туда да три обратно. А вот ушла же. И до сих пор не вернулась.

Храп лошади и скрип повозки заставили Макара вздрогнуть: уж не казаки ли? Он еще ближе приник к стеклу и увидел подьезжающую к его дому телегу. Даже в темноте разглядел Макар, что на телеге кто-то лежит пластом. Неужели Соня?

Он метнулся к двери, чуть не сбив с лавки ведро.

— Это ты, Макар? — Невысокий человек спрыгнул с телеги.

Макар, не отвечая, кинулся к телеге. Там лежал мужик — это успокоило Макара, он повернулся к вознице и ответил, тяжело вздохнув:

— Я...

— Ты чего такой пужаный? — спросил очень знакомый голос.

— Кто ты? Откуда меня знаешь?

— Скажу — упадешь,— с улыбкой ответил тот.— Сидора Гривцова похоронил ай нет? — заключил почти шепотом.

— Батюшки, постой, постой... Да как же это? Жив, значит? Голос твой, верно, а от тебя и половины не осталось. Худющий-то, господи, и без усов!

— Побывал бы, где я, так и хуже стал бы. Ну, да еще поговорим, помалкивай. Надо вот человека скорей домой отправить. Это Митрошка, Артамонов сын.

— Дядя Макар, здорово! — слабо произнес Митрофан.— Не знаешь, жив батя?

— Лежи, лежи, Митроша, не беспокойся.— Сидор поправил на нем шинель.

— Казаки Митрошу подстрелили, домой он шел. Хотел я сам отвезти его в Кривушу да кое с кем там рассчитаться, ан не судьба. Казаки из Тамбова уходят дальше.

— Зайдем в избу-то,— предложил Макар.

— Давай зайдем. Митроша, полежи тут один, мы сейчас придем... Ты, Макар, бабе не проговорись про меня, Пресняков я — продагент.

— Будь в надёже...

Когда вошли в сенцы, Сидор заговорил снова:

— Я хочу тебя попросить отвезти его домой, мне нельзя появляться в Кривуше.

— У меня у самого горе... Только что сестру схоронил, и дочь с пути свихнулась.

— Ну как же, Макар... Нельзя такой грех на душу брать. Не отказывайся, отвези парня в Кривушу. Мне к заре надо опять в Сампуре быть. А тут я, как волк, теперь прячусь по задворкам.

— Ну чего же делать-то... Оставляй. Завтра утром отвезу. Отец-то его помер.

— Ну?

— Весной еще. И мать плохая.

— Ты ему про отца-то... нонче не говори.

Они вернулись к Митрофану, осторожно сняли с телеги, понесли в избу.

— Больница полнехонька, не оставили. Перевязали — и все,— говорил Сидор, неся Митрофана.

— Батя жив ли? — снова спросил Митрофан.

— Болеет, говорят, тяжело,— за Макара ответил Сидор.— Бог даст, все обойдется... Завтра дома будешь.

Серафима, услышав шум, проснулась.

— Кто там, Макар?

— Продагент завез раненого... Митрофана из Кривуши знаешь? Его казаки подстрелили.

— О господи, царица небесная,— засуетилась Серафима,— сколько народушка гибнет зазря.

Митрофана уложили у окна на солому, Серафима принесла ему молока.

Макар вышел проводить Сидора.

В темноте озеро сверкало сталью, какой-то настороженностью дышало все кругом: и тополя, затихшие у пруда, и едва слышные шорохи по дворам.

— Ты перекусил бы чего,— вдруг предложил Макар.

— Нет, поздно уж, надо ехать.— Сидор отвязал вожжи.— По теперешним временам кто поспехает, того и бог хранит. Мы ехали через Шмелевку... там коммунара одного подожгли. Сам-то, видать, в отъезде. Жена с детишками бегает по селу, на ночлег просится. Никто не пускает! — И Сидор зловеще усмехнулся.

— Грех, Сидор, чужой беде радоваться,— глухо сказал Макар.

— Моей беде радовались, а чего мне не порадоваться? — Сидор тяжело взобрался на телегу.— Ну, бывай, Макар, до скорой встречи. Советам каюк скоро, верь моему слову.— И зло стегнул лошадь.

3

Рассказово напоминало кочевой табор.

Десятки эвакуированных сюда из Тамбова учреждений искали пристанища. В неразберихе и суете было легко потерять главную цель своих действий, разменяться на мелочную опеку отдельных лиц, надоедливо жалующихся на всех и вся.

Комендант Укрепрайона Редзко заболел тяжелым

нервным расстройством, надо было немедленно кем-то заменить его. А военспецов не так-то просто найти.

Чичканов почти не выходил из машины, лично проверял выполнение приказов штаба Укрепрайона. Некогда было ждать, пока явится вызванный работник,— лучше поехать на место, увидеть своими глазами, как действует человек на своем посту.

Направляясь в 610-й полк, который приводил в боевой порядок свои роты, Чичканов разыскал в Рассказове Бориса Васильева, земляка, профессионального революционера, не раз побывавшего в эмиграции.

Митинг состоялся у высокой железнодорожной насыпи. Выстроившийся полк стоял внизу. Чичканов и Борис Васильев вместе с командиром полка поднялись на насыпь.

— Товарищи красноармейцы! — заговорил Чичканов.— Вы присланы в нашу губернию защищать Советскую республику, а наши, тамбовские, люди посланы в другие края. Защищая Тамбов, мы защищали и Тулу и Новгород, то есть общее наше дело — дело революции! Я не буду вас упрекать, ваш полк делал, что мог, но соседние полки почти целиком сдались врагу... Это позор, товарищи! Что мы должны написать об этих людях на их родину? — Чичканов сделал паузу, пробежал взглядом по рядам красноармейцев, опустивших глаза к земле.

В повисшей над полком напряженной тишине послышался цокот копыт.

Вестовой штаба Укрепрайона Панька Олесин с галопа вымахнул на насыпь. Соскочив с коня, подал Чичканову пакет.

— Велено передать срочно. Вестовой Олесин.

Чичканов взял пакет, вскрыл.

— Митинг считаю закрытым, будьте, товарищи, в боевой готовности.

Чичканов что-то шепнул Борису Васильеву и командиру полка.

— Так ты Олесин? — спросил Чичканов вестового.— Не из Кривушинской коммуны?

— Так точно. Мой отец — Ефим Олесин, он и вас знает, и Калинина знает.

— Очень приятно. Ты молодец.

Панька молча улыбнулся похвале начальника.

— Скачи в штаб, скажи: полк отправляется. Я сейчас же вернусь. Да, еще одно.— Он задумался.— После штаба заскочи в больницу, там ваш председатель Ревякин... раненый.

— Тяжело? — испугался Панька.

— Сам увидишь. Так передай ему, чтобы он, как только выпишут, ко мне явился.

— Передам, товарищ Чичканов. Разрешите ехать?

— Ну скачи!

Быстро удаляющуюся фигуру всадника Чичканов провожал ласковым отцовским взглядом.

4

— Панька! Как ты сюда попал? — Василий обнял его здоровой рукой и крепко поцеловал.

— Перед набегом казаков я в военкомат пришел, а там неразбериха. Меня в штаб Укрепрайона послали вестовым. На коне, говорят, ездить можешь? Эге, говорю, это самое любимое дело! Уж я чуть к казакам не попал... С пакетом скачу в Соколовку, к комбригу, а он Мамонтову сдался.

— Предал, гад? — приподнялся Василий на койке.

— Хорошо, что красноармейцы бегли мне навстречу. Они-то и сказали, что комбриг сдался. Я стрелой назад!

— Настоящим бойцом стал! — похвалил Василий Паньку, любуясь его щегольской выправкой.— Чем-то ты, братец, Петьку Куркова мне напоминаешь. Молодостью, что ли? Помнишь? «Кто тут который и почему?»

— Теперь, наверно, отец я,— тихо сказал Панька, видимо не желая вспоминать о Петьке Куркове.

— Да ну? — удивился Василий, хотя знал, что Кланя должна скоро родить.

— Когда уходил, Парашка за фершалицей бегала. Кланя посылала.

— Вот, брат, в какие времена дети наши рождаются,— раздумчиво сказал Василий, вспомнив Любочку в люльке.

Панька промолчал, только тяжело вздохнул.

— Ну, не унывай,— потрепал его плечо Василий,— главное, чтоб живы остались.

— Вот то-то и оно-то... Да, я ведь к тебе с поручением (хотел сказать по старой привычке «дядя Вася», да какой же он дядя!)... Чичканов наказал: как выздоровеешь, то в военкомат не ходи, а прямо к нему.

— Спасибо за заботу. Увидишь — скажи: Ревякин на любое задание готов, куда пошлет партия.

— А меня — куда пошлет комсомол!

— Верно, Паша, будь верным бойцом коммуны!

— Слушаюсь,— с улыбкой козырнул Панька.

— Если раньше меня увидишь своих — накажи в Кривушу: жив, мол...

— Скажу, дядя Вася! — выпалил Панька. Опомнившись, что все-таки не так назвал, растерянно махнул рукой и выбежал из палаты.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Широкоскулое, бледное лицо с бесцветными глазами смотрело из маленького зеркальца. На подбородке и щеках полосками засохла мыльная пена... Антонов со злостью швырнул бритву на окошко. Бритва сбила зеркальце, и оно упало, расколовшись пополам.

Плеская на лицо холодную колодезную воду, Антонов старался успокоиться, но больное самолюбие, словно нарыв, напоминало о себе с каждым ударом сердца.

Природа не создала его красивым, партия эсеров не оценила по заслугам его прежнюю деятельность, а большевики подарили — как мальчишке — маузер за очень рискованную операцию по разоружению чехословаков на станции Кирсанов. Никто не знает, как хочется Александру Антонову высоких почестей, криков «ура», подобострастных взглядов толпы...

А приходится прятаться у грязных мужиков, слюнявых святошей, по лесным землянкам и зарослям, как за-

травленному волку. Вместо подобострастных взглядов — недоверие и насмешки на хитрых лицах мужиков, готовых продать, если много заплатят.

И с каждым днем в сердце росла злоба на всех и вся, жажда мести за свои обиды и унижения переполняла самолюбивую душу.

— Маруська! Полотенце! — кричит он, стиснув зубы.

Маруська Косова, фанатичка, эсерка из Камбарщины, пристрявшая к нему еще в Кирсанове, до побега, с собачьей преданностью служит ему теперь.

— Мокрое дала! — швыряет назад полотенце.—Сама вытиралась?

— Не злись, Шуреночек, другое дам, не разглядела я.

Брезгливо промокнув тонким полотенцем землистые скулы, Антонов сел к столу под образа, взглянув в окно.

— Герман с почтой подъехал. Зови.

Здоровенный рыжеусый детина с налитыми хмелем глазами вошел без стука, козырнул. Подал Антонову засургученный пакет и свернутые в трубку газеты.

Разрывая пакет, Антонов спросил:

— Привыкаешь к своей должности?

— Привыкаю,— осклабился Максим Юрин, которому поручил Антонов контрразведку и дал кличку Герман.

Антонов развернул серо-зеленый тонкий лист и нахмурился.

— Растяпы! — вскричал Антонов.— Не могли днем раньше сообщить! Ленивые интеллигенты — все эти горские, вольские!

В пакете было сообщение Тамбовского губкома партии эсеров о захвате казаками Тамбова и об отходе штаба Укрепрайона в Рассказово.

— Мы бы такой налет устроили на Рассказово! — сокрушенно скомкал бумагу Антонов.

— У них агенты трусы! — пробасил Герман, сверкнув глазами.— Ползком ползают, дождешься их!

Антонов швырнул письмо на стол, развернул газету «Известия Тамбовского губсовдепа».

— И газеты старые прислали!

Глаза Антонова остановились на заметке «Меньшевики и зеленые».

«В районе прифронтовой полосы Тамбовской губернии появилась банда под предводительством прославленного в дни керенщины...»

Антонов сразу догадался, что это о нем пишут. Он удовлетворенно ухмыльнулся: большевики и то признают прославленным, а свои только поучают. А ну, что дальше пишут?

«...начальника кирсановской уездной милиции, меньшевика Антонова...»

Антонов вдруг захохотал и слезящимися от смеха глазами уставился на Германа.

— Слышишь, Герман, я — меньшевик! Умора! Похож я на меньшевика? А? Черти хитрые! А ну, кто это пишет? Ульев какой-то. Может, он сам меньшевик и их ко мне сватает? Да они, пачкуны сопливые, никому не нужны!

— «Банда Антонова, как и всякая неорганизованная кучка грабителей,— читал он уже вслух, изредка поглядывая на Германа,— делает налеты на Советы, разоряет и сжигает избы, терроризирует население — по большей части бедняков, вырезает коммунистов, убивает советских работников и удаляется в трущобы, чуть ли не под крылышко бело-зеленой армии, до более благоприятного момента для налетов...»

— Как, плохую трущобу мне комендант Трубка нашел? — Антонов обвел взглядом стены рубленого дома Акатова, эсера из села Рамза.— А насчет крылышка... Мы сами скоро всех под свое крылышко возьмем. Свою зеленую армию создадим, без беляков, без генералов!

Кошкой вползла в дверь гибкая, хитрая Маруська Косова.

— Батька Наумыч к тебе пришел,— сказала она и пошла за занавеску убирать постель.

— Иди,— сказал Антонов Герману.— После зайдешь.

Плужников перекрестился, степенно расправил бороду и сел к столу.

— На, читай, Гриша, что про меня мелют.— Антонов сердито двинул по столу газету в сторону Плужникова.

Тот прочел газету и положил на стол.

— Пусть пишут, не давай пищи своей гордыне. Потерпи. Скоро большое дело начнем.

— Все скоро, скоро, а когда? Надоело ждать! Ты вот свободно разгуливаешь по дорогам, по селам, даже с чекистами говорить можешь. А я вот прячусь. Уже несколько миллионов пудов хлеба Советы взяли и все двадцать семь, назначенные по разверстке, возьмут!

— Не горячись, Степаныч, прошу тебя, будь благоразумным. Токмакову скажи, чтоб не набирал в зиму много дезертиров. Кормить нечем — оттолкнем от себя людей.

— Что вы все меня поучаете?! — вскипел Антонов. На щеках его выступил зловещий румянец.— Я не хуже вас знаю обстановку, не глупее вас! — Он вышел из-за стола и забегал по комнате.

2

Арьергард корпуса Мамонтова 21 августа покидал разграбленный Тамбов. Основные силы были уже под Козловом.

Петр Кочергин, скрывавшийся в тамбовском пригородном лесу со своим небольшим отрядом, первый из красных командиров узнал об этом. У него был трофейный пулемет, несколько оседланных коней, отнятых в перестрелке с казацкими разъездами.

Кочергин рискнул завязать бой с арьергардом казаков, который в открытую занялся грабежом в студенецком пригороде.

Дерзкий налет отряда Кочергина застал казаков врасплох.

В перестрелке были легко ранены Кочергин и его помощник.

С богатыми трофеями Кочергин привел отряд на площадь перед «Колизеем». Обыватели, привыкшие с почтением встречать всякую новую власть, качали его на руках, кричали «ура», подобострастно называли его «товарищем комиссаром».

Над балконом «Колизея» Кочергин вывесил красный флаг, установил пулемет, расставил часовых и послал конные дозоры на выезды из города.

В кабинет Чичканова, где год назад получил из рук председателя Губисполкома письменную благодарность, Кочергин вошел с тайным радостным трепетом. Он, Ко-

чергин, теперь власть в Тамбове. Вот сейчас сядет за стол Чичканова и напишет им в Совет Укрепрайона докладную записку. Так, мол, и так... Я первый вошел в Тамбов со своим отрядом, восстановил советскую власть и вывесил красное знамя мировой пролетарской революции...

Кочергин поставил у двери часового и сел за стол.

Стук в дверь оторвал его от дела. Вошел часовой с каким-то горожанином.

— Вот, командир, к тебе просится.

Кочергин узнал Вольского, который когда-то приносил ему чинить обувь, наставлял жизни и хорошо платил. Кочергин любил Вольского. Раньше он был эсером, потом, говорят, вошел в партию большевиков.

— А-а, учитель! Здравствуй! — встал из-за стола Кочергин и дал знак часовому оставить их одних.

— Герой, герой, Петя! — подошел к нему Вольский.— Освободитель наш! Второй раз отличаешься! Пора бы и награду! — Он похлопал его по плечу.

Кочергин расплылся от радостного ощущения своей славы.

— Не то что эти трусы из штаба! Вояки! — презрительно говорил Вольский.— Пора и справедливость установить. Ты должен губернию в руках держать, а не Чичканов.

— Да если бы я в Совете Укрепрайона был, то...— запетушился Кочергин.

Вольский цепко ловил взгляды Кочергина.

— А почему бы тебе не создать ревком и не стать председателем ревкома?

На лице Кочергина так и застыла довольная улыбка.

— Грамоты не хватает, а то бы...

— А я что? Не помогу разве? — в самую точку, без промаха выпалил Вольский.— Я, учитель твой, к твоим услугам. Чтобы подозрения у людей не было, будешь ко мне приходить за советами вечерами. Бумаги тебе писать буду. Да мы с тобой, Петя!..— многообещающе заключил Вольский.— Только согласись, сейчас в колокола ударим. Соберем народ. Вагонные мастерские меня знают. Рабочий класс тебя выдвинет, я подскажу.

Кочергин ошалело краснел и улыбался.

— Если так, можно и председателем.., раз рабочие

выдвинут. За них жизни не пожалею, всегда впереди. Вот так и в докладной пишу!

— В какой докладной?

— В штаб Укрепрайона.

— Зачем тебе это нужно? Пусть сами поклонятся.

— Ты так советуешь?

— У тебя какие-нибудь мандаты есть? Людям зачитаю.

— А вот они. Эту бумагу в прошлом году за спасение губернской власти сам Чичканов подписывал, и Губком, и Губчека...

— Как раз то, что надо.

Через три часа на площади состоялся митинг. С речами выступили Чухонастов и Вольский. Кочергина единогласно избрали председателем ревкома. Членами ревкома утвердили Чухонастова и помощника Кочергина — Равченко.

Новая власть торжественно заняла кабинеты «Колизея». Наступила ночь. Тишина.

Конные дозоры шныряли по окраинам города.

3

Рано утром 22 августа автомобиль Чичканова остановился у «Колизея».

Чичканов подошел к часовому, тот узнал председателя Губисполкома, козырнул ему.

— Где Кочергин?

— На втором этаже, в вашем кабинете.

Часовой перед кабинетом не знал Чичканова, преградил ему дорогу:

— Идет заседание ревкома, нельзя.

Чичканов метнул взгляд на часового:

— Какого ревкома, что за ревком? Я — Чичканов.— Он отвел винтовку часового и открыл дверь.

За столом перед Кочергиным сидели Чухонастов, Равченко и Вольский. Кочергин, увидев Чичканова, невольно встал.

— Молодец, Кочергин! — Чичканов подошел к нему, пожал руку.— Опять отличился. Благодарю от имени Совета Укрепрайона. Ты почему же не известил штаб о своих действиях? И что это за ревком у тебя?

Кочергин растерялся от похвалы Чичканова, не знал, что ответить, глянул на Вольского. Тот насупил брови.

— Нас народ избрал,— ответил Кочергин.— Я председатель ревкома, а это члены.

Чичканов оглядел всех троих, остановил взгляд на Вольском.

— И ты здесь? Ну вот что, Кочергин. За храбрость благодарю и тебя, и твой отряд. А ревком именем советской власти я упраздняю. Ты немедленно сдашь отряд Укрепрайону и вернешься в Тверь командовать своим батальоном.

— Как вы смеете! — горячась, подскочил со стула Равченко.— Он законно избран! И мы тоже. Был митинг, были рабочие. Покажи, Петр, ему протокол.

Кочергин вынул из ящика протокол, подал Чичканову, тот отстранил его.

— Никаких протоколов. Освободите мой кабинет. Иначе как заговорщиков против советской власти арестую и отдам под суд.

— Кого судить? — вдруг истерически крикнул Кочергин и рванул на груди гимнастерку.— Меня судить? Кочергина? А кто тебя от смерти спас? А? Кто тебя из тюрьмы вызволил и опять в «Колизей» посадил? А? — Кочергин кричал, распаляя себя, махал руками.— А ты удержал эту власть? А? Не удержал! Я ее опять вырвал из рук врагов. Второй раз тебе не отдам, сам править буду, меня народ избрал! Я не убегу, как ты! Насмерть буду стоять против контров!

— Брось кривляться, Кочергин! Поддался лести тамбовских эсеров! Вспомни, что ты командир Красной Армии и должен выполнять приказ.

— Ты для нас больше не начальник,— крикнул Чухонастов.— Уходи!

Чичканов осмотрел лица приятелей Кочергина. Встретившись с колючими глазами Вольского, презрительно усмехнулся:

— Твоя работа, Вольский?

Тот молча отвернулся, показывая полное пренебрежение к Чичканову.

— Ну, вот что. Даю вам час на размышления. Или мирно разойдетесь по домам, или... я уже сказал.— Чичканов круто повернулся к двери.

4

От станции все еще тянуло гарью, улицы захламлены обрывками бумаг, тряпок, клоками сена и соломы.

Соня торопливо шла по городу, пугливо озираясь по сторонам. Ей казалось, что все смотрят на нее и знают о ней все, а вон молодой парень даже улыбается — смеется над ней!

Из-под низко повязанного платка она выглядывала, как загнанный зверек.

В Тамбове она бывала часто, но всегда с отцом, а одна идет впервые, и потому ей жутковато. Даже улицы и люди какие-то неприветливые, может быть, потому, что тут побывали казаки... Побывали — нагадили всюду.

Задумавшись о своем горе, Соня чуть не прошла дом Парашки. Вот же он, с зелеными ставнями! Захватит ли Паньку с Клашей? Живы ли они? Знают ли что-нибудь о Василии?

Почти бегом миновала двор, взбежала на приступки сеней.

— Параша, открой скорее!

— Сонюшка! — всплеснула руками Парашка.— Откуда ты? Что с тобой? Лица на тебе нет.

Соня, не отвечая, вошла на кухню, тихо опустилась на стул.

— У тебя самогоночки нет?

— На кой тебе, Сонюшка? Куда спешишь-то?

— Никуда не спешу! К вам пришла. Дай, ради бога, коли есть.

— Господи, да неужели ты сама пьешь?

— После, после расскажу... Дай, не жалей.

— О господи милосердный, да что же это на белом свете деется-то? — Парашка сунула руку под лавку, достала бутылку, заткнутую тряпицей, стала лить в кружку.

— Лей, не жалей, Пашенька, расплачусь, не обижу. Ничего не пожалею.

Парашка подняла на Соню глаза и вдруг всхлипнула:

— Да ты штой-то скрываешь, Сонюшка, милая! Убили кого?

Соня почти выхватила кружку, стала тянуть, закрыв глаза.

Отдышавшись, она сказала:

— Параша, бога ради, не спрашивай меня сейчас ни о чем. Скажи, где Панька с Клашей?..

— Панька служит, а Кланя-то родила... тут она. Казаки по улице скачут, а она, бедная, кричит благим матом. Один усач в дом ломится: что за крик? А я говорю: баба родит, вот что. Ухмыльнулся, отстал. Хорошо фершалица рядом живет: ослобонила за милую душу. Мальчишка — весь в мать, белобрысый... Счастливый будет,— тараторила Парашка.

— Где она? Пойдем к ней.

— Пойдем, пойдем, рада будет без памяти.

Кланя лежала в постели рядом с сыном.

— Соня, милая, здравствуй. Спасибо, что зашла. Видишь, какого Паньке крикуна подарила? Ну, не плачь, не плачь, сейчас покормлю...

Соня долго стояла, не решаясь подойти близко, потом вдруг упала на колени, судорожно схватилась за край кровати.

— О господи, за что? За что? — послышалось сквозь рыдания.

Кланя побледнела от волнения.

— Соня, что ты? — Она протянула к ее голове руку, потревожив малыша.

Тот жалостливо запищал. И — словно отрезвил своим криком Соню. Она затихла, медленно встала с пола и, не утирая слез, взглянула на Кланю.

— Пропащая я теперь, Кланюшка,— прошептала она,—казаки... в поле... загадили!

Парашка охнула, осев на стул. Кланя растерянно смотрела на Соню. В наступившей напряженной тишине было слышно только причмокивание детских губ.

— Да что же это: светконец, что ли? — грубо разорвал тишину возглас Парашки, и женщины заплакали, шмыгая носами.

Послышался стук в наружную дверь.

Парашка утерлась фартуком и нехотя поднялась открывать.

— Панька! — раздался в коридоре ее радостный возглас.

Кланя встрепенулась, закинула назад упавшие на пле-

чи волосы, закрыла одеялом грудь. Лицо ее зарделось радостью.

Панька распахнул дверь и остановился посреди комнаты с глупой улыбкой безграничного счастья. Не знал, что делать, что говорить.

Соня, взяв под руку Парашку, утирая слезы, пошла на кухню. Тяжело опустившись на лавку у кухонного стола, молча протянула кружку.

Парашка так же молча вылила остатки из бутылки, дала ломтик хлеба и села против Сони, не поднимая заплаканных глаз, чтобы не видеть, как та пьет самогонку.

Через несколько минут на кухню пришел счастливый молодой отец.

— А я Василия Захарча видел!— еще с порога сообщил он, не обращаясь ни к кому.

— Жив? — невольно вырвался у Сони уже давно мучивший ее вопрос.

— Раненый лежит в Рассказовской больнице. В плечо пулей. Скоро поправится.

Соне стыдно стало перед Панькой за свою несдержанность — выдала себя брату соперницы! Она не могла теперь оторвать глаз от пола и тяжело думала над тем, как скорее уйти отсюда, чтобы бежать в Рассказово,— хоть одним глазком посмотреть на Василия, а потом можно и помирать...

— А я вестовым при штабе служу! — хвалился Панька.— На лихом рысаке разъезжаю! Вон он стоит! Меня на два часа домой отпустили.

Соня невольно взглянула в окно и подумала: «Дал бы ты мне, Панька, своего коня слетать к Васе, всю жизнь бы за тебя бога молила...»

— Ну, я пойду,— сказала она, чувствуя, что начинает хмелеть.

— Да куда ты спешишь, Сонюшка,— кинулась уговаривать ее Парашка.

— Спасибо за все. Меня отец ждет на станции,— соврала Соня.

— Ну, бог с тобой, иди, коли надо.

— Накажи нашим в Кривушу,— попросил Панька,—

чтобы мамаша Аграфена приехала к Клане. Да скажи, что живы все.

— Все скажу, Паша, до свидания.— Соня поклонилась и нетвердо перешагнула порог. Парашка пошла проводить.

— Что с ней, Параша? — спросил Панька, когда хозяйка вернулась.

Парашка притворно пожала плечами.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Кочергин торопливо подошел к дому Вольского, постучал в окно.

— Ну, что? Справку дал? — спросил Вольский, открыв ему дверь.

— Дал, а что мне бумага. Отряд мой силой разоружили.— Кочергин, не ожидая приглашения, сел и опустил голову.

— Ты еще не знаешь, что тебе даст эта бумага!

Кочергин недоуменно уставился на учителя.

— Ну-ка, дай прочту.

Кочергин подал Вольскому справку.

— Ну вот и хорошо,— прочитав, удовлетворенно хлопнул рукой по бумаге Вольский.— Теперь садись ближе к столу, будем писать жалобу в Реввоенсовет республики Троцкому... Это, братец, тоже нелегко. Надо так сделать, чтобы умно было написано и одновременно малограмотно, чтобы была вера, что ты сам составил.

Вольский склонился над бумагой.

«...После позорного бегства Укрепрайона с многочисленным гарнизоном 23 августа они вновь возвратились в Тамбов и не пожелали признать избранный рабочими единогласно ревком, разогнали его путем бандитства и обезоружили весь отряд, а меня старались арестовать, члена ревкома тов. Равченко умышленно намеревались убить, но только ранили...

Я второй раз восстановил власть в городе Тамбов...

Я, сын революции, защитник советской власти, требую полной чистки и сдачи под строгий революционный суд всех руководителей жизни Тамбовской губернии с Советом Украйона во имя невинной пролитой крови населения г. Тамбова от мамонтовских банд, во имя процветания советской власти...

Мои действия подтвердит и все изложенное в сем докладе все население города Тамбова и истинные коммунисты Тамбовской организации, при сем докладе прилагаю документальные доказательства.

Командир 29-го стрелкового батальона Московского сектора войск внутренней охраны — Кочергин».

— Они у нас попрыгают! — зловеще улыбнулся Вольский.— Троцкий это дело так не оставит. Позором их обложим: пусть оправдываются! Я митинг у вагонников соберу, натравлю еще кое-кого написать Троцкому... По городу слухи пустим. Поезжай сегодня же в Кирсанов. Троцкий там. Сам лично передай пакет в его штаб.

— А почему ты знаешь, что Троцкий в Кирсанове? — вдруг насторожился Кочергин.

Вольский хладнокровно встретился с горящим взглядом Кочергина и спокойно ответил:

— Случайно услышал разговор Чичканова с губвоенкомом.

Кочергин поверил.

Если бы он знал, этот отчаянный, честолюбивый человек, что час назад от Вольского вышел член ЦК партии эсеров, давший точные указания, как распорядиться его, Кочергина, судьбой!..

2

Сидор выехал из Сампура во главе продотряда. Предстояло учесть хлеб нового урожая в Верхоценье, заставить мужиков как можно скорее молотить и вывозить зерно на станцию.

«Уж постараюсь, порадею»,— злобно обещал Сидор.

С ним было двадцать пять человек рабочих, приехав-

ших из Москвы, которые выбрали своего комиссара, но сделали они это для очищения совести, а в делах целиком положились на опытного продагента Преснякова.

«Я вам покажу, как надо выгребать хлеб»,— усмехнулся мысленно Сидор...

Верхоценские мужики встретили отряд настороженно, злобно.

— Что, за хлебцем опять? — спрашивали старики.

— За ним, старина, за хлебом,— отвечал Сидор, улыбаясь.

— А вы его сеяли-молотили?

— Молотить будете вы, а хлеб возить на станцию будем мы на ваших же опять подводах.

— Тебя как, служивый, кличут-то?

— Пресняков моя фамилия.

— Это как же так, гражданин Пресняков? Когда же эта грабиловка кончится?

— Я те, старый хрыч, дам грабиловка! — обещал Сидор, махая кнутом.

Два дня Сидор ходил по селу, выискивая, на ком бы отыграться. Наконец случай представился. У середняка Прони Лядова продотрядчики обнаружили спрятанную намолоченную рожь.

Сидор пришел к Проне один.

— Так ты что же, кулацкая морда, хлеб от советской власти прячешь? — грозно сказал он, переступив порог.

— А на что она нам такая власть, коли грабит всех подряд?

— Ах, тебе власть не нравится? — Сидор выхватил наган.— А ну иди во двор, показывай, где еще хлеб!

Проня оружия испугался, встал на колени. Жена его заголосила, прижав к себе малютку девочку.

— Нет больше нигде, товарищ Пресняков, ей-богу же, нет! — крестился Проня.

— А ну идем!

Проня встал, пошел во двор...

— Становись к стенке, сволочь! — крикнул Сидор как можно страшнее.

Проня Лядов затрясся, снова упал на колени.

— Мы из вас, мужиков сиволапых, повытрясем дурь-то! — кричал Сидор, брызжа слюной.

Наиздевавшись досыта, Сидор спрятал в карман револьвер и погрозил Проне пальцем:

— Попробуй у меня еще, спрячь хлебец! Узнаешь советскую власть! — И ушел.

В этот же день при мужиках Сидор снял половину разверстки с брата председателя волисполкома.

— Советская власть своих людей не обижает,— с улыбкой сказал он.

— А мы чьи же? Чужие? — сурово набычась, спросили мужики.

— Вы сельские буржуи! — пренебрежительно ответил Сидор и повернулся к ним спиной.

Вечером на краю деревни мужики поймали ненавистного Преснякова, накрыли рогожей и измолотили до потери сознания.

Очнувшись на заре в канаве, Сидор поблагодарил всевышнего, что тот не дал дуракам забить его до смерти, и, кряхтя, потащился в избу, где размещался отряд.

— Вот он как достается нам, честным коммунарам, хлебец-то,— зловеще сказал Сидор рабочим, показывая им свои синяки. А про себя подумал: «Советской власти в Верхоценье не бывать...»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Председатель выездной сессии Ревтрибунала Аникин устало откинулся на спинку кресла.

Перечитаны сотни страниц дела № 323 о сдаче Тамбова, в котором подшиты докладные, объяснительные справки, отчеты, реестры, опрошены десятки свидетелей и очевидцев, и каждая новая встреча с людьми, и каждый новый документ все больше убеждают: губернские руководители действовали в меру своих сил и способностей честно и судить их, собственно говоря, не за что. Опытный юрист Аникин ломает голову над трудной задачей. И записка председателя Ревтрибунала республики, переданная по прямому проводу, подтверждает мысли Аникина. «В настоящем деле надо проявить особую тактичность, помня, что обвиняемый должен от-

вечать не за общие недостатки фронта, а только за свои личные ошибки... Чичканова арестовывать не следует».

Если бы не шумиха, поднятая против Чичканова озлобленными меньшевиками вагонных мастерских, да не пачки писем «трудящихся», организованных эсерами, можно было бы закрыть дело Чичканова за отсутствием состава преступления, ибо следствие вскрыло большую вину штаба Южного фронта, где сидит, видимо, немало вражески настроенных военспецов, вроде сдавшегося Мамонтову Соколова. Но... нельзя прощать кому бы то ни было сдачу городов, этот суд должен быть мобилизующим, показательным.

Часовой докладывает о приходе члена Губкома партии Бориса Васильева.

— Зовите! — Аникин встает из-за стола.— Здравствуйте, товарищ Васильев.

— Здравствуйте. Я принес вам выписку из протокола объединенного заседания Губкома и Губисполкома.

Аникин надевает очки.

— «Заслушали: Чичканова о сложении с себя обязанностей члена Совета Укрепрайона и постановили:

Выразив полное доверие товарищу Чичканову, просить его остаться при исполнении обязанностей...»

— Ну что ж, правильное решение,— удовлетворенно сказал Аникин.— Садитесь, товарищ Васильев. Мне хочется задать вам один вопрос.

— Пожалуйста.

— Вы давно знаете товарища Чичканова?

— Мы с ним старые и настоящие друзья.

— Скажите, почему он не арестовал этого авантюриста и самозванца?

— Видите ли, товарищ Аникин... Чичканов — строгий и принципиальный работник, но человек добрый, не любит репрессий. А тут речь шла о человеке, который спас от расстрела и Чичканова, и других товарищей. Мне думается, Чичканов был прав, предполагая, что на честолюбии Кочергина сыграли эсеры.

— Да, но Кочергин размахивает мандатом, подписанным Чичкановым, а не эсерами. Все очень сложно. Завтра суд. Вы должны выступить свидетелем.

— Хорошо, обязательно буду.

Аникин снова остается один, придвигает папку с бумагами и углубляется в чтение...

Он твердо решил настаивать на оправдательном приговоре.

2

«Зал бывшего окружного суда, где раньше величественно заседали казенные судьи в мундирах и произносил свою вечно обвинительную речь «прокурор», где судебный пристав ранее торжественно объявлял: «Суд идет»,— этот зал полон советскими и партийными работниками...

На скамье подсудимых высшая советская власть губернии, которая дает отчет за свои действия перед судом республики.

В Советской республике, в государстве трудящихся, все, кто бы он ни был, какой бы пост он ни занимал, должен дать отчет в своих действиях.

И чем больше работник, тем большую ответственность он несет перед революцией и ее беспристрастным судом.

Волнение, охватившее собравшихся, вполне естественно... Советская власть судит советскую власть. Здесь надо быть более чем осторожным... совершенно беспристрастным. Трибунал республики оказался в этом отношении на должной высоте. Полно и всесторонне были выяснены подробности дела. Были взвешены все обстоятельства.

К счастью, высшая советская власть губернии оказалась если не на должной высоте, то, во всяком случае, она честно, самоотверженно, искренне работала на благо революции. И если обстоятельства пересилили, то в этом общее несчастье республики, два года представляющей собой осажденную крепость.

Этот суд выяснил и раскрыл нам многое...

На ошибках и промахах мы должны учиться,— сказал когда-то тов. Ленин.

Эта великая мораль вытекает из заседания суда. Будем учиться!..»

Впечатления местного журналиста, опубликованные тамбовской газетой после суда, Чичканов перечитал дважды. Умной добротой веяло со страницы газеты, но Чичканов сразу же представил себе, с каким бешенством встретят эсеры и меньшевики решение суда и эту статью.

Невольно перед глазами встала стройная фигура Кочергина. Почему раньше незаметно было в его словах и поступках тщеславия? Или оно было, да проглядели и не одернули вовремя? Чичканов вспомнил радостную растерянность на лице Кочергина, когда тому вручили письменную благодарность и сообщили о принятии всех восемнадцати смельчаков в партию большевиков... И вдруг этот злобный оскал психопата, рвущего на груди гимнастерку.

Да, как ни оправдывайся, выглядит все это как борьба за личную власть! Кочергин рвался к власти — его ловко использовали эсеры.

Дорогую плату потребовал Кочергин за спасение.

А сколько их пришло в революцию, вот таких отчаянных, деятельных людей, рвущихся на коня и требующих к себе особого внимания. Сколько их пришло и сколько ушло в стан врага, обидевшись на то, что мало воздали им почестей. Может быть, без них и нельзя, без этих ярких личностей, но Чичканову всегда были больше по душе скромные, незаметные герои, которые не стесняются подчищать грязь, выбиваются из сил, таща на своих спинах раненых, которые работают день и ночь, не требуя вознаграждений и власти,— отдают силы, а если надо — и жизнь, глубоко убежденные в правоте и благородстве своих действий.

Чичканов вышел во двор, сел на бревно и принялся свертывать цигарку. Неслышно подошел лохматый Джек. Он лег у самых ног, преданно уставившись на хозяина большими умными глазами.

Чичканов прикурил, ласково потрепал пса за загривок.

— Вот, братец, какие картошки. Не у дел мы с тобой оказались.

Джек тихо заскулил и еще ближе придвинулся к хозяину, уткнув морду в сапоги.

— Ну ладно, ладно, не скули. Знаю, что ты верный друг...

3

С Антоновым-Овсеенко достаточно было встретиться только раз, чтобы полюбить его и поверить ему на всю жизнь. Делясь своими впечатлениями о нем, одни говорили, что он похож на доброго, умного педагога, другие называли его блестящим журналистом и оратором, третьи восхищались его воинскими доблестями и талантом полководца, а кое-кто даже уверял, что он прирожденный хозяйственник.

Его голос, перекрывавший шум толпы на площадях, слышали рабочие Одессы и моряки Балтики, участники штурма Зимнего и красноармейцы Украинского фронта. Это он возвестил Временному правительству Керенского о конце его полномочий.

Многие, даже близко знавшие Владимира Александровича, удивлялись, откуда в этом невысоком худощавом человеке столько силы и энергии, а главное — откуда такой потрясающий ораторский бас.

Его видели всегда подтянутым, спокойным и скромным. Всегда в деле. Густые, длинные рыжеватые волосы не умещались даже под буденовкой, по ним можно было узнать Владимира Александровича издалека.

Никто не видел его усталым, а усталым он бывал часто. В полночь, оторвав глаза от рукописи, откидывал голову назад, снимал очки и долго тер пальцами закрытые веки... Потом вставал со стула, шагал по комнате, отгоняя сон, и снова садился за статью, которая пойдет в очередной номер.

Партия бросала в те годы своих лучших, самых верных сынов на самые трудные участки. И куда бы ни попадал Антонов-Овсеенко, с ним всюду были старенькая шинель кавалерийского покроя, перо журналиста, такт умного педагога и стальная твердость полководца...

Сумрачный тамбовский день 7 октября 1919 года надолго запомнился новому председателю Губисполкома, назначенному вместо Чичканова.

Тамбовщина встретила Владимира Александровича тревожными телеграммами о срыве кулаками продразверстки, сводками о тысячах дезертиров, скрывающихся в лесах, рассказами о местничестве некоторых руководи-

телей уездов и о малочисленности партийных организаций на местах.

Плохо выполнялась разверстка, нет топлива, кругом саботаж, всюду шныряли дельцы, спекулянты и контрики.

Времени для размышлений было мало.

— В гостинице вам освобожден номер. С дороги отдохнете? — спросил встречавший его работник Губисполкома.

Владимир Александрович пристально посмотрел на собеседника и резко спросил:

— Кого выселили из номера?

— Да так... одного... работника печати.

— Верните ему номер немедленно.

В тот же день он встретился с Чичкановым. Приветливый взгляд серых глаз долго и ласково изучал суровое, ожесточившееся лицо бывшего председателя Губисполкома, и, когда тот дрогнувшими губами хотел начать разговор, Антонов-Овсеенко предупредил его:

— Я все знаю о вас и верю вам. И оторвал я вас от отдыха только ради того, чтобы поговорить о деле. Ну, а чтобы вы знали и мое личное отношение ко всему, что произошло, скажу: вы поплатились за свое благородство. Враги используют все. Вы не хотели, чтобы пострадал Кочергин. Но с вами вместе страдает теперь и общее дело, а этот авантюрист должен был отвечать один. И — поделом!

Чичканов слушал мягкий голос нового председателя и чувствовал себя так, словно его отчитывал за ослушание добрый учитель,— оттого было еще стыднее и горше.

— Ну, а теперь о деле.— Антонов-Овсеенко подошел к окну.— Вы хорошо знаете обстановку в уездах и в городских учреждениях, хорошо знаете людей. Как укрепить аппарат? Подумайте, я не тороплю.— А глаза его сказали: «Успокойтесь, я вижу ваше волнение».

Чичканов помолчал, собираясь с мыслями.

— Владимир Александрович, давайте договоримся так. Я вам изложу все свои соображения по укреплению аппарата письменно.

— Ну что же! Это еще лучше. Только не затягивайте.

— Пока скажу одно... Это меня мучило всегда: обы-

вательщина, которая окружает нас, как туман, как пыль... Поналезли всюду бывшие купчишки, приказчики, интеллигентики, поразвели фракции разные! Непролазная грязь, как на Приютской улице. Вот походите по учреждениям — увидите этих канцеляристов. А где взять свежие кадры?

Постепенно Чичканов втянулся в разговор и незаметно для себя обрисовал всю обстановку в губернии.

Расстались они поздно вечером.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Все дни отпуска Чичканов почти не выходил за калитку своего дома. Газеты он ждал с нетерпением. Читал все подряд, некоторые статьи перечитывал по нескольку раз. Только в играх с дочкой он забывался на несколько минут, потом снова брался за газеты или писал свои соображения по улучшению аппарата Губисполкома.

Сергей Клоков застал Чичканова во дворе за чтением свежей газеты. В знак приветствия Клоков поднял кожаный картуз и привычным жестом вытер вспотевшую лысину.

Появление друга, с которым Чичканов не расставался почти с детства, всегда отогревало сердце и отвлекало от тяжелых дум. Не забывают друзья: вчера Борис Васильев приходил, сегодня Сергей...

— Ну что? Все сидишь, читаешь и переживаешь,— укоризненно заговорил Клоков.— А меня учил никогда не унывать. Ты же ни в чем не виноват. И суд это подтвердил. Отпуск тебе дали.

Чичканов встал, обнял Сергея.

— Эх, Сережа, нет страшнее того суда, который я сам над собой вершу.

— Ну, верши, верши, казнись. А кому от этого польза? Врагам нашим.

— В этом ты прав. Спасибо, что пришел. Ты читал, чем кончил комбриг-предатель?

Клоков взял газету и начал читать:

«Из мамонтовского плена.

На днях из мамонтовского плена прибыли красноармейцы 611-го полка 4-й бригады тт. Борисов и Подгурский... Они рассказали, что в бою у Коротояка во время переправы через Дон был зарублен предатель полковник Соколов, бывший командир 4-й бригады, перешедший на сторону Мамонтова и командовавший у него полком...»

— Нагадил нам и сам бесславно кончил! — сказал Клоков, возвращая газету.— Да о нем и вспоминать-то противно. Я в Рассказове у одного штабиста про него спрашивал, так тот махнул рукой: царская сволочь, говорит. И даже плюнул.

— Садись, выкладывай новости.

— Я не с новостями пришел. Хочу тебя пригласить на охоту.

— Какая уж теперь охота! Через два дня на фронт.

— Да нам суток хватит! А дома ты с тоски пропадешь! Знаю ведь тебя — без дела минуты не можешь. А в лесу-то красота какая! Хочешь, на кулика пойдем, а? Или на уток?

Чичканов хмуро улыбнулся, хлопнул друга по плечу:

— Тебе, Сергей, адвокатом работать, а не в рабкрине. Убедительно разговариваешь.

— Ну? Согласен?

— Что с тобой делать? Поедем, что ли, на Ильмень. Давно там не были. До Сампура поездом. А там в родную мою Беляевку заедем, к дяде Герасиму. Он нам пару лошадок снарядит. Заходи через часик, я приготовлюсь. Да Мите Клюшенкову позвони. Пусть и он от аптеки на денек оторвется. Без него скучно будет.

— Все организую, Миша... Собирайся!

И Клоков, радостный, кинулся к калитке.

2

Щедрой рукой рассыпала природа по течению Вороны множество озер, родников, крутояров, непроходимых зарослей и заполнила все это птицами, зверьками, рыбой — только не ленись охотиться, коль есть досуг и желание.

Чичканов часто бывал в этих местах со своими друзь-

ями-охотниками. Его всегда тянуло сюда. Легче становится на душе, когда видишь, как огромен и красив мир, когда слышишь успокаивающее шуршание бронзовой листвы под ногами и жадно вдыхаешь настоянный сладкой лесной прелью свежий октябрьский воздух.

Тамбовщина!

...Когда-то давным-давно эти земли звали Диким полем. Безлюдные степи, глухие лесные чащобы... Редкие дороги с разбойничьими засадами на крутоярах.

Буйные ветры истории гоняли по этим землям, как перекати-поле, массы пеших и конных кочевников. Здесь воевали, мирились, смешивали кровь и язык многие племена...

Для защиты от ногайских татар молодая Русь возвела Белгородскую укрепленную линию. В Диком поле был насыпан земляной вал высотою более двух саженей и построено несколько крепостей. Первые поселенцы — стрельцы и пушкари государства Российского. Храбро дрались они с ворогом, женились на красивых полонянках. И рождались дети, скулами похожие на татар, глазами — на русских.

Отсчитывала история столетия... Оседал Татарский вал, переставший служить военным целям. Из стрелецких поселений и крепостей росли города.

В те далекие времена в рубленый, с пудовыми замками на воротах Тамбов съезжались на ярмарки люди моршанские, инжавинские, кирсановские, шехманские, козловские, пичаевские; молились по церквам, кутили в постоялых дворах, влюблялись в разухабистых шинкарок.

Тянулись в города из лесных нехлебных мест умельцы-строители. Рубили новые дома, украшали их затейливыми узорами. Канищевские крепостные, согнанные барином на строительство церкви в большом торговом селе Пичаево, соорудили такой пятиглавый храм, что иностранные инженеры с недоверием покачивали головами: как могли безграмотные дикари так быстро освоить сложное мастерство?

А «дикари» могли всё: и пахать, и сеять, и строить, только земли им бог не послал, а без земли и даренная царем воля оказалась ненужной. В заплечных мешках уносили они с собой в города неизбывную тоску по земле...

И пошли по всей Руси путешествовать тамбовские

умельцы. Тулиновские краснодеревщики, пичаевские каменщики, карай-салтыковские жестянщики. И полетели крылатые шутки: «Эй ты, тамбовский ведерник», «Эка, ты куда заехал, тамбовский жестянщик!» — «Да волка-то ноги кормят»,— отвечал тамбовец. «Ага! Значит, ты — тамбовский волк?»

Шутка шуткой, а мастера что надо! Карай-салтыковские, балыклейские умельцы такое тебе выстукают из железа ведерко — не нахвалишься! Такое совьют кружево на гребне крыши — залюбуешься! А если еще трубу закуют в железную кружевную коробку да взмахнут над трубой тонкий куполок с петушком,— тогда постесняешься шутить над мастером, подойдешь к нему и положишь руку на его плечо: «Где, браток, научился так?» — «От отца пошел, а отец от деда, а дед от прадеда... Так вот и до меня дошло...»

«Так и до меня дошло»,— мысленно повторил Чичканов слышанные им много раз слова мастеровых.

Вот так и революционное дело шло от прадедов. Дошло до нас. И наши дети будут продолжать борьбу за свободу и счастье!

Чичканов глубоко вдыхал свежий лесной воздух, жадно вглядывался в даль тропинок, по которым наверняка ходили охотники-предки, вот так же легко и шаговито отмеривающие в охотничьем азарте версты.

А октябрь стоял на диво теплый и солнечный.

Чичканов постепенно втягивался в охотничий веселый разговор друзей, начал даже подтрунивать над лысиной Сергея, которую тот то и дело вытирал, снимая кожаный тяжелый картуз.

— Ну, слава богу! — удовлетворенно отметил Клюшенков, погоняя лошадей.— Михаил повеселел. Я своим кривым глазом и то заметил.

Он даже осмелился спросить об Антонове-Овсеенко.

— Твердый и умный человек,— убежденно ответил Чичканов,— а главное — в военном деле мастак. Взятием Зимнего руководил, всеми армиями на Украине командовал.

— Ну, а к тебе как отнесся?— поинтересовался Клюшенков.

— Ругал. В самом деле, мягковат у меня характер.

Клоков знал, что уж если начал Чичканов бичевать себя, значит, переживает тяжело. Он подморгнул аптекарю — мол, хватит бередить больное.

Долго ехали молча, поглядывая по сторонам.

Вечернюю зарю встретили у Перевоза. На озера с полей тянулись утки, насытившиеся зерном. Клоков из своего винчестера убил двух матерок. Клюшенков и Чичканов — по одной.

В сумерках они поужинали прямо на телеге и, чтоб к утренней заре успеть на Ильмень, тронулись полевыми дорогами на север.

В Чернавке запаслись колодезной водой, захватили с собой рыбака Попова, который пообещал им дать свою лодку.

Озеро Ильмень своей таинственной дикой красотой привлекало охотников со всей округи. Чистое, как слеза, оно запрятано от глаз прохожих в разнолесье и высоких камышах. Подступы к нему — сплошной камышовый плавучий наст. Только узкая полоска воды подходит к берегу.

Тут чернавские мужики, промышлявшие рыбу и уток, поставили охотничью избушку, двери которой гостеприимно открыты для всех приезжих. Около этой избушки Клюшенков и остановил подводу. Тут уже сидели несколько рыбаков, чинивших сеть.

Чичканов подошел к рыбакам.

— Разве так заплетают? — обратился он к одному из них.

— Покажь, коль мастер,— недовольно привстал тот.

Чичканов присел на корточки и ловкими движениями стал заметывать петли.

— Вот это да! — воскликнул старший из рыбаков.

— Вот это по-нашенски. Учись, Ванька.

— А вы кто будете? — заинтересованно спросил тот, которого назвали Ванькой.

— Охотник из Тамбова,— с довольной улыбкой ответил Чичканов.— Давайте меняться. Вы нам рыбу на уху, а мы вам две матерки на жаркое.

Клоков и Клюшенков уже успели распрячь лошадей и тоже подошли к рыбакам.

Рыбаки уступили Чичканову несколько карасей.

Решено было охотиться по очереди. Клюшенков остается у повозки и варит уху, а Клоков и Чичканов едут на лодке охотиться.

Клоков взялся грести. Утреннее озеро дымилось.

Плыли тихо-тихо...

А вот и первая матерка поднялась. Выстрел, еще выстрел!

Снова тихо... Чуть слышно стекает вода с весла...

Чирок! Выстрел!

Возвращались довольные удачной охотой, предвкушая вкусный завтрак...

Теперь у весла сидел Чичканов. Он уже греб к берегу, часто перенося весло то в одну, то в другую сторону.

— Эй, вы! Охотнички! Утяток набили? — послышался незнакомый грубый голос из-за кустов.— А мы орлов подстреливаем! Ну, ребята, покажь, как мы умеем.

Раньше чем Чичканов успел опомниться, грянул залп. Острая боль пронзила грудь, он выронил весло...

3

Клюшенков сидел в рыбацкой избушке, запертый бандитами. Он слышал выстрелы и крик Клокова. Дрожа от страха, он выглядывал в маленькое оконце, обращенное в сторону дороги, в надежде увидеть друзей живыми, но на дороге только маячили люди с обрезами.

К избушке приближались голоса:

— Кожанку Антонову отдадим, он сейчас подъедет.

— А часы Чичканова я должен Вольскому в Тамбов отвезти. Велел он. Вещественное доказательство.

— «Вещественное доказательство»! Небось врешь. Себе приглядел. Ну ладно, возьми.

У Клюшенкова заледенело в груди: вещи уже делят! Сейчас и его очередь.

Дверь распахнулась:

— Эй ты, аптекарь! Вылазь!

Клюшенков выполз на коленях, заплакал, умоляя не убивать его.

— На кой ты нам, пес кривоглазый! Давай мотай, да вдругорядь не попадайся с комиссарами!

Клюшенков обеспамятел от радости, кинулся к лошадям, чтобы запрягать их.

— Ты куда? — гаркнул на него детина в шинели.— Пешком добежишь, нам кони нужны. А ну марш, пока цел!

Клюшенков увидел в руках бандита винчестер Клокова и вдруг опомнился: как же он вернется в Тамбов целый и невредимый без Чичканова и Клокова?

— Товарищи, граждане! Меня же чекисты расстреляют! Вы хоть избейте меня!

Бандиты покатились со смеху:

— Гля, Ванька! Выпрашивает! Дай ему.

Тот, которому Чичканов показывал, как чинить сеть, медленно подошел к аптекарю.

— Твой комиссар петли умел заметывать, а я с детства морды бить научился. Вот так.— И он одним ударом свалил Клюшенкова на землю.

Очнувшись, Клюшенков поднял окровавленное лицо и увидел, что бандиты уже скачут прочь, а на повозку неуклюже лезет тот, который его бил.

...Клюшенков едва добрался до Чернавского волостного ревкома. Ему сначала не поверили. Разыскали насмерть перепуганного рыбака Попова, который от страха спрятался на чердак.

Допросив, их обоих арестовали и начали поиски трупов. Были мобилизованы крестьяне сел Чернавской волости, прибыли курсанты полковой школы из Кирсанова и сотрудники Губчека из Тамбова. Осматривали каждый куст, каждый метр земли. На лодках бороздили озеро рыбаки с сотрудниками Чека.

Трупы оказались под толстым настом камышовых корневищ, их извлекли оттуда баграми.

Клюшенков и Попов были выпущены из-под ареста.

4

Василий Ревякин ехал в Тамбов с попутной подводой.

Было пасмурно. Холодный ветер пронизывал до костей.

У Ценского моста он слез с повозки, чтобы в ходьбе отогреться.

Вот он и возвращается в родной город, а недавно уходил из него с тяжелыми думами, с болью в сердце.

Рана зажила быстро. Радостное, бодрое настроение подгоняло — Василий уже входил в Тамбов.

Со стороны Нарышкинской читальни он вдруг услышал тяжелый всплеск траурной музыки. И увидел — по Советской улице медленно движется толпа людей с траурными флагами.

Сердце сжалось от страшного предчувствия.

— Кого хоронят? — спросил Василий рабочего, несшего на руках ребенка.

— Чичканова и Клокова.

— Чичканова? Что с ним случилось?

Рабочий оглядел Василия с ног до головы и устало сказал:

— Бандиты убили...

Василий стащил с головы шлем и пошел со всеми вместе, живо вспоминая свои встречи с Чичкановым. «Да как же ты не поберегся! — с укором покачал головой Василий.— Вот и пришел я к тебе, а ты...»

Василий знал о суде над Советом Укрепрайона, знал, что Чичканова оправдали и он направлялся в распоряжение штаба Южного фронта. И вот...

Василий пробирался сквозь толпу вперед, туда, где плыли над головами гробы, и расспрашивал идущих с ним рядом горожан о подробностях гибели Чичканова, но никто ничего толком не знал.

Процессия дошла до Воздвиженского кладбища. Василий увидел закрытые гробы,— видимо, изуродованы были покойники.

Среди стоящих близко к гробам Василий заметил Лаврова, подошел к нему. Молча пожали друг другу руки. Лавров, конечно, все знает, но неудобно спрашивать тут, у самых могил.

Один за другим выступали друзья и соратники Чичканова.

Василий увидел суховатое, бледное лицо, вдохновенно поднятое над толпой, очки на остром орлином носу. Это Антонов-Овсеенко. Длинные рыжеватые волосы развевает октябрьский ветер — они полощутся рядом с траурным знаменем над гробами убитых.

— Много грязных дел на совести эсеров! История ни-

когда не простит им их подлости и изуверства! Но мы не можем ждать суда истории, мы должны быть бдительны и отвечать двойным ударом по врагам революции!

— Да, да, двойным, тройным ударом,— шепчет Василий. Он видит, как к нему через ряды протискивается Панька Олесин.

Панька молча встал рядом с Василием.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Парашка встретила Василия и Паньку еще на пороге, запричитала, будто дождалась самых родных людей:

— И на кого ж он нас теперь оставил! Говорят, такой был добрый! Опять смута пойдет!

— Не пойдет, тетя Параша, не бойся,— убежденно ответил Панька,— новый председатель не хуже.

— Это какой же новый начальник-то?

— Антонов-Овсеенко, от самого Ленина послан.

— О батюшки!

Василий разглядел ее позеленевшее от страха лицо,— он знал, что тамбовские обыватели уже изрядно напуганы расследованиями полномочного представителя ВЧК, расстрелявшего нескольких агентов генерала Мамонтова. Василий подошел к ней и, успокоительно тронув ее руку, сказал:

— Тебе-то чего бояться, Параша? Тимошка уж больше не придет, а мы свои люди, сочтемся.— И улыбнулся.

— Спасибо, Вася, что простил меня, бестолковую бабу. Век не забуду...

Панькин наследник очень понравился Василию.

— Как назвали-то?

— Петькой отец назвал,— смущенно опустив глаза, ответила Кланя.

Василий метнул удивленный взгляд на шурина. Тот нахмурился, склонил голову.

— Я комсомолец,— словно оправдываясь, заговорил Панька.— В честь Куркова назвал... Он достоин памяти.

Кланя протянула к Паньке слабую руку, погладила его русые мягкие волосы и едва слышно прошептала:

— Вот он у меня какой.

Весь вечер говорили о Кривуше.

Дома все живы и здоровы. Ждут не дождутся. Аграфена приезжала проведать дочь и посмотреть на внука. Андрей Филатов тоже заходил повидаться — он приезжал в Тамбов на съезд коммун вместе с Панькиным отцом. Ефима избрали в коммуне завхозом, с непременным условием ходить в ликбез, дабы выучиться читать бумаги и расписываться. Дело идет туго, но кружки и палочки он уже осилил.

Василий слушал Паньку и Клашу с любопытством, ему дорога была каждая мелочь быта коммунаров, рассказанная Аграфеной. И он все ждал, что догадливая Кланя скажет про Машу.

Но ни Кланя, ни Панька ни словом о ней не обмолвились.

Спал Василий тревожно, встал рано.

Парашка суетилась на кухне, готовя завтрак.

— Что рано вскочил? Спал бы. Я сейчас картошечки сварю, больше-то нечем потчевать, не обессудь.

— Некогда, Параша. Я в столовой позавтракаю.

— Куда ж теперь-то?

— Куда пошлют.

Василий надел шинель, подпоясался широким ремнем.

— Ну, спасибо за ночлег, Параша.

Парашка как-то придирчиво осмотрела его стройную фигуру и будто невзначай спросила:

— Про Соню-то Панька тебе рассказал?

— А что про нее говорить-то?

— Пропащая ведь она.

— Куда же это она запропала? — как можно равнодушнее спросил он, шагнув к двери.

— Пропащая, говорю, ай не слышишь? Пьет напропалую! Казаки ее во рже испоганили...

— Что?— Василий неверящими глазами уставился на Парашку, потом оглянулся на дверь и испуганным шепотом спросил: — Кто тебе сказал?

— Сама Соня сказывала. Была она здесь.

— И они знают? — указал глазами на дверь.

— Знают. Она и к ним заходила. Панька даже рассказал ей, как тебя видел в лазарете.

Откуда-то со дна души всплеснулась забытая сладкая боль. И Соня, представившаяся ему тогда в вечернем окне рассказовского лазарета видением, теперь вспомни-

лась очень живо... Значит, она приходила посмотреть на него! Тайком!

Василий стоял перед Парашкой, опустив голову, и молчал. Старался как можно ярче вспомнить потрескавшееся стекло в окне, к которому приникло милое лицо. Нет, не может быть, чтобы Соня стала пропащей! Не может быть! Она могла наговорить на себя.

Василий медленно поднял голову и умоляюще посмотрел на Парашку.

— Как жалко-то ее, голубушку,— сочувствующе всхлипнула хозяйка.— Обрюзгла вся от самогонки.

Василий молча пошел к двери.

Ему хотелось забыть о ней, хотелось представить ее пьяной, дурной, постаревшей, растрепанной, но — тщетно. Белое ярко-красивое лицо манило к себе неотвязно. А сознание того, что нет теперь уже больше этой красоты и чистоты, поднимало в груди неизбывное желание увидеть Соню.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Зима нагрянула совсем неожиданно.

После обильных осенних дождей сразу ударили морозы. Потом валом повалил снег — к концу ноября он лежал на улицах Тамбова уже глубоким слоем. Выстуженные дома сиротливо жались к поблескивающим на солнце сугробам. По пустынным улицам гулко раздавался треск тесин, отрываемых от заборов на топку.

Только в центре города кипела жизнь. Из учреждения в учреждение бегали тощие служащие с папками и портфелями в руках, лихо проносились извозчики.

Сюда, к центру, тянулись и обыватели — послушать ораторов, почитать газеты. На заборах афиши, плакаты, объявления, газеты пестрыми пятнами бросались в глаза. Их было много. В них — последние известия с фронтов, призывы, приказы, предупреждения. Все это надо знать, чтобы жить тихо и мирно в этом новом беспокойном мире. И обыватель всматривался, вслушивался, читал... Даже буржуйчики осмеливались подышать «большевистским воздухом».

...«Товарищ! Царство рабочего класса длится лишь

два года — сделай его вечным!» — лезли в глаза буржуям крупные слова с плакатов.

...«Идет хлебная неделя! Крестьяне должны за эту неделю сдать все хлебные излишки в общегосударственный котел!» — висел призыв на базаре.

...«Товарищи красноармейцы! Все на борьбу с сыпняком! Вши убили тысячи красноармейцев. Вошь опаснее белогвардейца! Смерть вшам!» — писалось в газетах.

...«В селе Воронцовка, в клубе совхоза, поставлен спектакль «Марат». Артисты — члены Тамбовского пролеткульта».

...«В селах свирепствует сыпной и брюшной тиф, а также оспа. Ежедневно уходят в могилу пять — десять человек. Фельдшер не имеет медикаментов».

Обыватель торопливо отходил от газеты, приклеенной на заборе, и, зябко ежась, поднимал еще выше воротник. «Как это там живут люди, в селах?» — удивлялся он, шагая к своему дому.

А степные села, утонувшие в снегах и нищете, жили своими тревогами и заботами... Во многих нетопленных избах застывала вода, люди в жарком бреду метались на полатях, устланных вшивым тряпьем.

Здоровые, укутавшись в шубы, выглядывали в маленькие, наполовину прикрытые навозом, оконца и ждали своей очереди. Топили печи навозом или соломой, не для тепла — пищу сварить. Зиму протопиться — навоза не хватит. Видно, кутайся да жди солнца...

Мужики, переболевшие первыми в селе, становились похоронщиками. Ходили по селу, примечая жертвы, возили на кладбище мертвецов, завернутых в рогожу,— некому было делать гробы, некому было отпевать и провожать в последний путь.

Заходил похоронщик в дом, снимал шапку, крестился и равнодушным голосом произносил привычную фразу: «Есть мертвые?» Этот вопрос приводил в трепет всех, кто его слышал, и голос похоронщика навсегда врезался в память, как голос страшного человека, хотя мужик этот был самый добрый на селе.

Иногда вопрос похоронщика повисал в морозной избе без ответа — это значило, что пришел он к холодным ногам последнего жильца этого дома.

В Кривуше еще с осени утаптывалась дорога на клад-

бище, а в зиму остервенела болезнь: положила наповал все село.

Заползли зараженные вши и в коммунарские пожитки... Их привезли с собой, наверное, беженцы, которых расселили в тот год по волостям Тамбовщины более пятидесяти тысяч человек. Коммунары взяли на свой «кошт» две семьи и одного престарелого поляка.

Поместили беженцев в свободную комнату. Из старых досок и бросовых холстин сделали перегородки, настелили соломы на пол — чем не жилье! И беженцы не остались в долгу. Когда коммунары слегли в тифозной горячке, они ухаживали за больными, как за самыми близкими людьми.

Ефим Олесин переболел первым из коммунаров. Одолеть хворобу помогла батрацкая закалка. Радость возвращения к жизни взметнула в душе Ефима прежнюю охоту побалагурить. Едва придя в себя, с трудом растянув спекшиеся губы, он чуть слышно сказал поляку, который ухаживал за семьей Ефима: «От жары-то кости не ломит, только сало топится. А у меня, брат, кожа сызмальства дубленая, жиров не примала — вот я и воскрес раньше всех». И улыбнулся — одними морщинами у глаз...

Поляк, назвавший себя Любомиром, был несказанно рад, что «отходил» первого из своих подопечных, стал засиживаться у его постели, рассказал Ефиму историю своей безрадостной жизни. Тот слушал, кивал головой, а то и шутку подпускал, где нужно. Однажды поляк принес газету и стал читать Ефиму изложение речи Ленина на Седьмом съезде Советов. Ефим слушал, затаив дыхание, а когда одобрял сказанное вождем, то радостно крякал и просил Любомира повторить еще раз.

— «Как могло совершиться чудо, что Советская Республика продержалась два года, несмотря на военное превосходство Антанты, которая, разделавшись с Германией, не знает более соперников, владычествует над всеми странами мира. Несмотря на то, что Антанта неизмеримо могущественнее нас, мы одержали над ней гигантскую победу и теперь, как ни велики опасности и трудности, предстоящие нам,— главное все же остается позади...»

Ефим приподнялся, попросил показать, в каком месте

это написано, и, увидев мелкие буковки, умоляюще сказал:

— Крупными знаками надо эти слова пропечатать, чтоб каждый малограмотный прочел и поверил еще больше в свою власть.

— Научу тебя, Ефим Петрович, и такие буквы читать, научу, выздоравливай скорей...

Когда слег в постель председатель коммуны Андрей Филатов, грамотный поляк взял на себя хлопоты по хозяйству и переписку с властями. Он не боялся тифа — переболел им еще год назад. Ходил по комнатам, превратившимся в лазарет, и был для коммунаров и врачом, и нянькой, и поваром, и председателем. Его полюбили все. Он отвечал на горячую благодарность людей смущенным вздохом. И тихо говорил: «Мне отец дал имя Любомир. Любовь и мир, значит. Надо исполнять волю отца».

Вскоре Ефим стал сам ухаживать за своей семьей. Авдотья поправилась быстро, но очень трудно болела дочь Фрося, а сын Иван в самый кризис попросил пить, хлебнул с жадностью, да так и не вздохнул больше. Много ли было надо, когда жизнь на волоске. Повез Ефим сына на сельское кладбище, а могилку, что выкопали ему похоронщики за плату, кто-то уже занял. Трудно копать мерзлую землю... Как быть? Сил не прибыло еще после болезни. Выручил поляк Любомир. Вдвоем кое-как выдолбили неглубокую ямку и положили в нее завернутого в рогожу Ивана.

Ефим стащил с головы замызганный собачий треух.

— Эх ты, жизня наша горькая! Могилки стали воровать друг у дружки, сынок... Прости людей, Ваня. От горя все это... от бессилья... Выдюжим — в склеп барский перенесем тебя.— И смахнул с носа заледеневшую слезу.

В глазах рябило от белизны зимнего мира, а в жалкой черной яме так неуклюже топорщилась серо-желтая рогожа, что Ефиму вдруг впервые в жизни стало очень страшно за сына и так стало жалко его, лежащего среди комьев мерзлой земли. Ведь вот жил он рядом, спал рядом, но жалеть его и думать о нем отдельно от всех у Ефима не было времени. Только теперь, когда с ним надо расстаться навсегда, Иван вдруг заслонил собою в душе Ефима всех близких родных.

— Прости, Ванюша,— повторил Ефим тихо и опустился на колени, загребая руками комья мерзлой, вываленной в снегу земли.

2

В доме Захара болезнь пощадила только Машу и ее грудного младенца. Это было на удивленье всем соседям, где в тифозной горячке корчились и стар и млад. И ведь не то чтобы береглась Маша, нет — ухаживала за всеми, часами просиживала около Мишатки, начавшего поправляться. Знать, здоровье оказалось сильнее болезни. А к Любочке Маша никого не подпускала и из зыбки, подвешенной к потолку, почти не брала ее на руки. Каждую пеленочку по нескольку раз в день просматривала. Попробуй, хвороба, взять такую крепость!

Захар потянулся за Мишаткой — стал сидеть, а Василиса совсем ослабла — едва дышала. В одну из метельных ночей, под страшное завывание в трубе, уснула и больше не проснулась.

Маша рано затопила печку: тайком от свекра дожигала плетень — хотела отогреть больных и высушить пеленки, как вдруг услышала голос Захара:

— Мишатка, проснись, бабушка померла.

Маша впервые увидела смерть близкого человека, она растерялась, не знала, что делать, только рыдала над холодным телом свекрови, разговаривая и советуясь с ней, обвиняя себя за то, что больше уделяла внимания Любочке и Мишатке.

— Плачь не плачь, Маша, а дело делать надо,— глухим от слез голосом сказал Захар.— Иди в коммуну, проси помощи, не справимся одни.

Маша пошла к отцу.

Постояла над соломенной постелью больной матери, поплакала вместе с ней о Ванюшке, но, к ужасу своему, почувствовала, что в душе нет такой жалости к брату, как к Любочке и Мишатке.

Ефим пришел вместе с поляком. Горе подняло Захара на ноги; пошатываясь, опираясь о стены, он ходил по избе, что-то отыскивая.

— Гроб с потолка сымите,— тихо приказал Захар.— Василиса как знала, что некому будет гробы делать, за-

ранее приготовила. Ругал ее, а она тайком привезла. Еще до тифа, слабая была, чуяла, знать...

Принесли гроб, положили. Маша привела откуда-то убогую монашку. Погнусавила монашка молитвы, почадила свечой,— с тем и проводили Василису на вечный покой в неглубокую могилку, выкопанную слабыми руками Ефима.

Захар остался верен традиции — устроил поминки. Самогон, который раздобыл где-то Ефим, почти никто не пил, налегали на овсяный кисель. За столом сидели только те, кто хоронил, Настя, приехавшая из Падов, да Аграфена, только что вернувшаяся от Клани.

Не столько поминали умершую, сколько говорили о живых. Аграфена похвалилась квартирой, которую дали Паньке почти в центре Тамбова, рассказала про Василия. Его направили работать в кирсановскую Чека — ловить бандитов, убивших Чичканова.

Маша слушала рассказы Аграфены, укачивая Любочку и баюкая свои мечты о возвращении Василия домой.

— И хлеб теперь у них есть — и белый и черный,— тараторила Аграфена.— А Панька — ну прямо комиссар!

— Что это за черный хлеб появился? — спросил сердито Захар.— Не знаю что-то такого.

— Да аржаной так зовут в городе.

— Ржаной он и есть ржаной, а черный бывает только черт!

Захар махнул рукой на Аграфену и подсел к Ефиму.

— А что, Ефим, написать письмо Васятке аль нет? — поинтересовался он у свата.

— Зачем тревожить? — ответил Ефим.— Не будешь вить откапывать? А он на большом посту, делу мешать не надо.

— Ты теперь тоже в начальники пошел,— с легкой ехидцей сказал Захар.— С грамотой как? Осилишь?

— Вот Любомир меня обучает. По складам начинаю пахать в букваре. Ох и трудно! Но зима велика, делать нечего, обучусь.

Любомир одобрительно помахал головой:

— Ефим Петрович очень способный ученик, из всего ликбеза. С ним приятно беседовать, он говорит прямо стихами.

Захар с завистью почесал затылок, промолчал.

— Жизнь крестьянская темна и тяжела,— продолжал Любомир,— трудно Ленину просвещать народ, ох трудно!

— Хлеб и без грамоты родится, ему руки нужны, а не бумага,— с суровым упрямством произнес Захар.

— Верно, Захар,— подтвердил Ефим,— хлебоедов стало много, а хлебоделов не хватает. Последние мрут. Кто на фронте, кто от тифа. Обнудел народишко и поредел. А в городах-то иной не пашет, не волочит, а деньгу в карман толочит.

— И конца смуте не видать,— в тон Ефиму заговорил снова Захар.— Друг дружку поедом едим, ножку подставляем, толкаемся, а все из-за чего? Из-за хлеба да через золотишко. Богатые через золотишко страдают, а мы из-за своего хлеба горемычного. А хлеб, я так думаю, он дороже золота. От золота край не откусишь, коль голод припрет... Вот говорят: Ленин умный, знает, как и что. Да, может, он и умный, и знает все, но меня сумление гложет, спать не дает: а ну как он только один знает, по какой стезе дальше итить? Здоровьечко слабое, подраненный... А ну как за моей Василисой вслед? Туда вить всем одна тропочка... Что тогда? Кто знает, дальше куда надо? И как? Наломаем без него дров — расхлебывать сами будем. Вот тут и пораскинешь дурьей башкой: на печке сидеть аль в ликбез итить? Картошку сажать аль кружочки выводить на бумаге.

— Ой, Захар,— помотал отрешенно головой Ефим,— в твоих словах Сидоровы уловки. Глядишь ты вдоль, а живешь поперек! Об своем доме только радеешь, а Ленин за всю Расею страдает. Помоги ему обо всех заботиться, ан нет, тебе картошку свою жальче, чем других людей, какие с голоду мрут... По штанам ты — беднячок, а по голове — Сидор.

Захар обиделся, насупил брови.

— А твоя какая же задача в жизни? — в упор спросил он, набычась.— Рукой водить? В завхозьях отираться?

— Моя задача мне сыздетства дана,— примирительной шуткой ответил Ефим.— Ешь сторновку, а хвост держи трубой!

Любомир явно любовался своим учеником. Услышав последние слова Ефима, не выдержал, улыбнулся.

Захар от волнения не нашелся что сказать Ефиму и невольно сам сбился на прибаутку:

— У тебя одно слово до Козлова.

— А что ж. Ко всякому слову есть подговорки.

После короткой паузы Захар тихо обронил:

— Тебе шутка, а мне жутко.

— Ну, вот и ты народные присловья помнишь. А до коммунии дойдем — ты совсем грамотный станешь! — Ефим явно намекал на возвращение Захара в коммуну.

— Если вши не съедят — дойдем.

— А они, вши-то, Захар, изнутря, говорят, выползают. У кого нутрё от грехов почернело — у того и вши наружу вылазят и на безгрешных лезут, кусаются.

— Тоже придумал, лотоха! Типун тебе на язык! — уже миролюбиво сказал Захар, сузив глаза.— Всякая тварь от бога. И вошь от бога. Вот накажет тебя господь. И так кости да кожа, не оклемался еще как следует, а уж бога гневишь.

— Ты вроде моей Авдотьи, та все меня плохим видит. А иду по улице — молодки шепоточком перешептываются: «Эх, и хорош пошел дядя!»

— Не пил, а уж веселишься. Не забывай, что ты на поминках,— оборвал его Захар.

— Ан и ты не забывай: я по свадьбам мастак — панихиду не люблю. Другой раз не приглашай на поминки.— Ефим обиделся и засобирался домой.

— Подожди, не суетись. Твой товарищ газетку обещал прочесть... Читай, дорогой, что делается в мире.

Любомир надел на длинный острый нос очки, пригладил реденькие волосы на лысине и развернул газету.

«НОВАЯ ВЕЛИКАЯ СТРАДА

Эта зимняя кампания, наверное, может нам дать полное уничтожение неприятеля, если мы посмотрим на предстоящие недели и месяцы как на новую великую страду. Мы должны утроить силы, посвященные военной работе и тому, что с ней связано, и тогда в короткий срок мы добьемся такого конца Гражданской войны, который на долгое время откроет нам возможность для мирного социалистического строительства» — так сказал в заклю-

чительной речи на Седьмом Всероссийском съезде Советов товарищ Ленин.

Но работа нашей Красной Армии затрудняется потому, что продовольственное и общехозяйственное положение наше еще весьма тяжелое и наша армия не может поэтому развернуть всей своей силы. Если считать по самой скромной потребности, то у нас во всей Советской России государством заготовлено и хватит хлеба на два месяца, овса на один месяц, картошки на месяц, сена на три месяца, мяса достанет — только на армию — на месяц, масла — на армию — едва до нового года.

Но еще хуже дело с транспортом. Хлеб, мясо, сено, овес лежат тысячами пудов в Саратовской, Симбирской, Уфимской, Вятской, Тамбовской губерниях, но вывезти нельзя, не подают вагонов, не хватает паровозов, топлива нет. Вот она, новая беда — топливный голод. Надо удесятерить нашу заготовку, надо заготовить хлеба, мяса, картошки на полное обеспечение Красной Армии и голодающих рабочих и недоедающих маломощных крестьян. Надо сломить топливный голод, поналечь на заготовку и подвозку дров. Надо во что бы то ни стало поднять производительность труда повсеместно, и прежде всего по починке вагонов и паровозов.

Рядом с этой борьбой — с деникинскими бандами, с голодом, с топливной разрухой — съезд постановил еще и борьбу с заразными болезнями. С юга — из Деникинщины — и с востока — из Колчаковии — на нас идут походами вши, неся с собой смертельную опасность. Тиф — новый враг, его надо уничтожить общими усилиями. Доконать Деникина, добыть пропитание, добыть топливо и убить вошь — вот наши неотложные задачи в эту зимнюю кампанию. Мы с ними справимся.

Антонов-Овсеенко».

Захар уставился в передний угол, на образа, и глядел туда, не сморгнув, точно окаменел... Любомир читал медленно, каждое слово выговаривал четко, боясь, что Захар может не понять.

— Эхма,— вздохнул Ефим.— Вот она, значитца, какая наша положения: худое — охапками, хорошее — щепотью... Собака есть — палки нет, палка есть — собаки

нет, четверть керосину — на всю зиму, фунтик сахару — на пять воскресений, и то для гостей.

— Ты чего же заныл? — злорадно усмехнулся Захар.— Держи хвост трубой! Показывай прыть лаптежную!

— И держу! И держать буду! А что лаптежный — то самый надежный! — Ефим встал с лавки, натянул собачий треух.— В сторонке стоять не буду, как ты.— Он повернулся к Маше и неожиданно сурово спросил:

— Скоро, что ль, дочка, в коммуну вернешься? Негоже позорить Васятку. Он в начальниках ходит. Партейный. И Мишатке в коммуне лучше будет. Скорей поправится.

Маша молча посмотрела на свекра — что тот скажет?

— Когда придет время, я и за себя и за нее решу,— глухо сказал Захар.— Не тащи нас силой.

Глаза сватов скрестились в неравной борьбе. Ефим сдался.

— Ну что ж, прощай, живи веселей!

— И вам не скучать! — небрежно ответил Захар.

Любомир тоже попрощался и вышел вслед за Ефимом. Побоялась отстать в темноте от мужиков и Аграфена. Только монашка все еще ела кисель и крестилась на образа.

Маше вдруг сделалось так страшно, будто она осталась наедине с этой черной женщиной, провожающей души на тот свет. Уткнувшись головой в зыбку к спящей Любочке, Маша тихо заплакала.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

«Губисполком жил сложной, напряженной жизнью. В небольшой кабинет на втором этаже вереницей тянулись служащие с деловыми бумагами, шли руководители ведомств за советом. В приемной сидели, ожидая очереди, ходоки из далеких сел.

Владимир Александрович Антонов-Овсеенко стоял у окна, зябко кутаясь в шинель, и диктовал машинистке

срочную статью для газеты. Корреспондент, пришедший за материалом, сидел рядом с машинисткой и повторял ей слова, которые она не успела запомнить.

— Удивительнее всего то, что вы, крестьяне, когда при случае приходится заговорить с вами о прошлом царско-помещичьем времени, вы открещиваетесь от него всячески, не допуская и мысли, чтобы то время неволи и гнета когда-либо вернулось. Но в то же время вы никак не хотите понять того, что удержать завоевания Октябрьской революции, удержать в мозолистых руках добытую путем неисчислимых жертв трудящихся власть рабочих и крестьян можно лишь тогда, когда хотя бы относительно будут сыты наши красные бойцы, будут накормлены рабочие, живущие в городах... Из-за вашего тупого противодействия, товарищи крестьяне, не удалось в этом году произвести точного учета урожая. Пришлось взять данные за прошлые годы и, с учетом плохого урожая, уменьшить цифры вдвое... Но даже уменьшенную разверстку не могли распределить по уездам точно. В этом ваша вина, крестьяне!

Антонов-Овсеенко вернулся к столу, сделал какую-то пометку в календаре и подошел к машинистке.

— Еще большая ваша вина в том, что разверстка бьет по бедноте. Какое имеет право ваш сельсовет разверстывать по едокам? Как вы это допускаете? Только спекулянтам и кулакам на руку разверстка по едокам. Хозяйство хозяйству — рознь и едок едоку — рознь, вы это лучше моего знаете... Следующие слова выделите: помните, что приказ Советской власти таков — разверстку по едокам производить нельзя. Мы будем отдавать под суд тех, кто нарушает этот принцип, и будем судить их как врагов трудового крестьянства. Разверстывать следует только по имущественному положению — кто зажиточнее, с того и брать больше... Да, вот возьмите еще для опубликования очень интересный факт,— обратился он к корреспонденту.— Жители деревни Елагино Куньевской волости на собрании постановили бороться со сквернословием. Нарушителей отправлять в Тамбов на гужповинность, безлошадных — на семь дней пилить дрова! Вот вам и загадка крестьянской души!

Он потер замерзшие ладони, подул в них, постучал сапогом о сапог и вернулся к столу.

— Владимир Александрович, что же это вам не протопят кабинет? — возмутился корреспондент.

— Вы хотите, чтобы у меня одного было тепло? — Антонов-Овсеенко с любопытством покосился на дотошного газетчика — как он отреагирует на такие слова.

— Для одного председателя Губисполкома не так уж много надо дров.

— Для одного? — задумчиво переспросил председатель Губисполкома.— А я не хочу остаться в одиночестве. У помещика одного было тепло и светло. А у всех крестьян было темно и холодно. Не хотите ли вы меня поставить в положение помещика?

— Но ведь вы больны,— попытался возразить корреспондент.

— А люди валяются в тифу.— Антонов-Овсеенко резко встал.— Мрут от голода и холода! Тот, кто в такое время ищет собственного благополучия, наш кровный враг.— Заметив смущение корреспондента, сделал паузу, подошел к нему вплотную и уже мягче сказал: — Если у вас есть время, то послушайте беседу с начальником госпиталя Ивансом. Это вам будет полезно... Елена Ивановна,— обратился он к машинистке,— позовите Иванса, он ждет в приемной.

Начальник госпиталя — низенький робкий врач с округлой, совершенно лысой головой — торопливо вкатился в кабинет и заговорил, не ожидая вопроса:

— Товарищ председатель, я ничего не могу сделать, меня никто не слушает... Госпиталь переполнен больными, медперсонал в панике. Тифозные лежат рядом с нетифозными! Помогите!

— Кому помогать? И в чем? — гневно спросил Владимир Александрович, не глядя на суетливого врача.— Помогать вам тащить личные вещи красноармейцев и командиров? Продавать на черном рынке соль по бешеным ценам?

Стекла очков блеснули сталью — пощады не будет.

— Завхоз и кладовщик меня совсем не признают. Это они воруют. Я не виноват, не виноват, товарищ...— плаксивым голосом залепетал Иванс.

— Вы знаете, как все это называется по законам военного времени? — подступил к начальнику госпиталя председатель Губисполкома.

— Я коммунист, я не брал ни крошки, я не виноват.

— А если бы еще вы посмели взять,— зловеще тихо сказал Антонов-Овсеенко.— Я собственной рукой расстрелял бы вас. А сейчас идите. Я отдаю вас всех под суд.

Когда начальник госпиталя вышел из кабинета, Антонов-Овсеенко сел.

— Стрелять таких завхозов надо, холера им в бок! — Это ругательство означало его крайнее раздражение.— Вот так, товарищ журналист... а вы говорите: топить кабинет! Да вот такой ангелок выйдет из кабинета и скажет: всех ругает, а сам, как барин, сидит в тепле да в уюте! Так-то! Ну, а пока — до свидания! Дела не ждут.

В дверь просунулась бородатая голова с благообразной прической на пробор и зычно спросила:

— Скоро, что ль, председатель, мужиков примать будешь? Терпежу нет больше.

— А у вас что? Неотложное дело?

— Было бы отложное — так отложил бы. Двадцать верст отмерил!

— Ну, заходите.

Мужик вошел бочком, провел ладонью по волосам на две стороны и полез рукой за пазуху.

— Садитесь. Как ваша фамилия?

— Наша-то? Наша фамилия Ворожейкин.

Владимир Александрович принял из рук мужика сложенную вчетверо грязно-серую бумагу.

В ней было написано: «Всем мирским сходом села Жигаловки жалуемся, что из числа отряда красноармейцев товарищ Уткин делал незаконное насилие над гражданином дезертиром, а именно: он избил Морозова Павла Герасимовича. Просим исполком и комитет партии коммунистов (большевиков) выяснить и спешно дать наказание по закону за самосуд и впредь пресечь в корне такое поступление. Он же, Уткин, нарушил религиозный обряд в церкви, взошел в шапке, а потому также и этот вопрос выяснить и дать наказание товарищу красноармейцу товарищу Уткину и обо всем донести в Жигаловский Совет для объяснения гражданам...»

Под бумагой стояло несколько фамилий, а рядом — крестики (крестики ставили неграмотные). Владимир Александрович внимательно посмотрел на лицо крестьянина — оно выражало лишь тупое любопытство.

— Товарищ Ворожейкин, а почему вы сразу в Губисполком пришли? С этим можно было бы разобраться в волости. Можно было бы передать заявление начальнику продотряда...

— Никакого нашего доверия местным властям нет. Об себе только думают, друг дружку покрывают. Ты у нас главный в Тамбове, ты и разбирайся.

— А могу ли я один все жалобы по губернии разобрать? Кто же за меня важные государственные вопросы решать будет?

— Коли главный — должон всем угодить. А наш вопрос тоже государственный — таких красных армейцев народ не хотит...

Антонов-Овсеенко сдержанно улыбнулся:

— Ну ладно. Проверим вашу жалобу и ответим сельскому Совету.— Он поднялся.

— Мне прямо так и сказать народу, что накажете его?

— Я сказал, что проверим и решим, что делать.

— А-а... а я думал, накажете...

— Не разобравшись, нельзя наказывать, товарищ Ворожейкин. Вы же сами пишете: «по закону».

— Не я писал-то, мы неграмотные...

— А кто же? — вдруг заинтересовался Антонов-Овсеенко.

— Один у нас остался грамотей на все село: батюшка Герасим. Председатель-то Совета в тифу лежит...

— А-а, ну тогда понятно. Так мы разберемся, товарищ Ворожейкин, до свидания.

Он проводил Ворожейкина взглядом до самых дверей и, любуясь богатырскими плечами мужика, подумал: вот он, самый рядовой и темный представитель крестьянства, сам пришел, поговорить бы с ним по душам о жизни, о сельских делах, а времени нет: впереди заседание президиума, подготовка отчета во ВЦИК, серьезный разговор с председателем Губкомдеза. И масса документов...

Словно подчеркивая загруженность председателя, в дверях показался работник отдела управления Мандрыкин с какими-то книжками в руках. Разминувшись с крестьянином, он подал председателю три экземпляра но-

вого букваря, составленного для ликбезов по указанию Антонова-Овсеенко.

Владимир Александрович бегло осмотрел букварь. Мелькнула строчка: «Мы не рабы...» И вдруг сразу же пришло решение: вернуть крестьянина.

— Верните товарища Ворожейкина из села Жигаловки, который сейчас у меня был.

Мандрыкин бегом выскочил из кабинета.

Ворожейкин вернулся испуганным.

Антонов-Овсеенко вышел из-за стола к нему навстречу.

— Я вас вернул, чтобы послать с вами в село вот этот букварь. Мы для губернии отпечатали сто пятьдесят тысяч таких букварей, чтобы обучать неграмотных. Мобилизовали семьсот человек для отправки в села... Они будут вести ликбезы. Вот возьмите. Учитесь читать и писать сами, товарищ Ворожейкин.

Ворожейкин растроганно поклонился, хотел было перекреститься, да вовремя опомнился,— поднятой ко лбу рукой разгладил на две стороны волосы и зашагал к двери, бережно неся в трясущейся от волнения руке новенький, пахнущий краской букварь. Потом вдруг вернулся, насупился и мягким, ласковым голосом сказал:

— Трудно будет тебе, начальник, с тамбовским людом... Ох, трудно!

— Почему? — насторожился Антонов-Овсеенко.

— Земли у нас тучные, жирные... оглоблю сунь в землю — тарантас вырастет.

— Так это хорошо!

— Хорошо, да не совсем. Хорошие земли жадностью душу мужицкую разъедают. Там, где земли плохи,— там больше отходничеством промышляют люди, и жадности у них такой нет к земле... Ты это должон знать...

— Спасибо, товарищ Ворожейкин, спасибо.— И проводил крестьянина до дверей.

— Товарищ Мандрыкин, к вечеру надо вызвать людей, занимающихся мобилизацией белошвеек-надомниц. Пусть подготовят отчет, сколько сшито гимнастерок для армии на сегодняшнее число. Вызовите также представителей Губтопа и Габлескома на семь часов вечера. А сейчас будете идти мимо Мохначева, он в приемной, позовите его.

— Товарищ Мохначев,— нетерпеливо заговорил Владимир Александрович, как только увидел его в дверях,— какие меры вы принимаете по борьбе с дезертирством?

Мохначев подошел к столу, сел перед председателем в кресло.

— С двух- и трехкратным побегом подвергаем штрафу, конфискуем имущество, направляем в штрафные роты. Особо злостных приговариваем к условному расстрелу.

— Вы меня не поняли. То, что вы сейчас сказали, это — результат работы трибунала, это — приговоры. А ваша комиссия, которую вы возглавляете, какую работу ведет в селах, среди крестьян? Ведь дезертиры в основном крестьяне, и прячутся они дома или в ближайшем лесу. Так я понимаю?

— Так точно. Вот мы и выловили в двенадцати уездах несколько тысяч дезертиров, а многие явились сами.

— Товарищ Мохначев,— Владимир Александрович недовольно поморщился,— поймите же, что это все лежит на поверхности. А глубже вы вникали в дело? Какие агитационные, разъяснительные меры принимали? Ведь одними карами эту болезнь не излечишь. А болезнь серьезная, она распространяется, как чума. В шайке эсера Антонова, убившей уже десятки лучших наших коммунистов, большинство бандитов — бывшие дезертиры. Когда человек не занят, оторван от семьи, в нем просыпаются бродяжьи и разбойничьи инстинкты. Этим пользуются наши враги. Вы понимаете меня?

— Я понимаю, но работать в этой комиссии больше не могу. Я не желаю нести ответственность за каждого дезертира. Его хоть сто раз уговаривай, а он — свое. Головой машет, поддакивает, посылаешь на фронт — через месяц опять дома. И ведь не от трусости — на кулачках стена на стену до смерти бьются, а с фронта бегут.

— Это не язык коммуниста,— строго сказал Антонов-Овсеенко. Он встал, прошелся по кабинету.— Вы будете работать не там, где вам хочется, а там, куда вас посылает партия, на том посту, который вам доверен. Завтра вечером соберите всю комиссию в зале заседаний. Будем вместе думать, как лучше вести разъяснительную работу и агитацию на селе.

Зазвонил телефон.

— Да. Кто говорит?

В трубке оглушающе звонко кричал чей-то голос. Антонов-Овсеенко отвел трубку подальше от уха.

— Говорит начальник оперативного отдела Губчека. Вы просили меня ставить в известность о каждой новой вылазке Антонова...

— Да, да, обязательно,— подтвердил Владимир Александрович.

— Так вот...— зазвучал снова высокий голос в трубке.— Вчера вечером во Второй Иноковке зарублен почтальон-ямщик Косякин Антон Павлович и его тринадцатилетний сын Федор. Сообщил брат Косякина — следователь кирсановской Чека Алексей Павлович Косякин.

— Причины известны? — Антонов-Овсеенко сурово, в упор смотрел на Мохначева.

— Месть. В прошлом году Косякин выдал брату тайную переписку с Антоновым двух его помощников — Заева и Лощилина. А мальчишка возил чекистов на станцию, его за это...

— Какие меры вы принимаете для уничтожения бандитской дружины Антонова?

— Товарищу Ревякину, которого мы послали в Кирсанов от Губчека, поручено сформировать конный отряд.

— Через час вместе с начальником Губчека придите ко мне. Подготовьте данные о всех злодеяниях этой шайки.— Он повесил трубку и несколько мгновений задумчиво смотрел на аппарат, что-то решая.

Мохначев встал:

— Извините, Владимир Александрович... Я осознал.

— Скажете об этом завтра на комиссии,— безжалостно и строго ответил Антонов-Овсеенко.

2

Кирсановские села настороженно притихли. Из села в село, опережая быстрых коней Василия Ревякина, летела весть о приближении отряда. Сельские «Союзы трудового крестьянства», созданные Плужниковым, хитрым эсеровским агитатором, носящим кличку «Старик», моментально уходили в подполье. Мужикам давали строгий наказ: отвечать только «не знаем, ничего не видели».

Так и отвечали: не видели, не знаем.

Иногда Василий нападал на следы конников, проскакавших по селу, спрашивал мужиков: кто?

Они переглядывались, пожимали плечами. Отвечали: «Ночью проскакал какой-то отряд, мало ли теперь всяких отрядов!»

Василий исхудал, оброс. Метался со своими бойцами из конца в конец по уезду, но антоновской дружины нигде не обнаружил.

Однажды Василий остановил отряд в селе за Вороной.

Хозяин дома, к которому зашел Василий попросить молока, очень напомнил ему отца.

— Папаша, я хочу поговорить с тобой по душам.

— По душам и нужно. Мы все христиане.

— Христиане-то все, да не все душевные... Иные прячут от правосудия преступников, бандитов, а они им же делают вред. Я вот объехал десятки сел. Знаю, что бандиты в них были. А никто не говорит, куда поехали и кто был.

— А ты, мил человек, градской аль из мужицкой братии?

— Отец крестьянин, как и ты. Даже похож на тебя.

— Тогда ты должон знать, што в селе законы свои, другие...

— Законы Советского государства для всех одни.

— Это писаные законы... А неписаные? Они на селе завсегда были, есть и будут. Ты вот прискакал, требуешь: скажи да расскажи. А што будет, коль я тебе расскажу?.. Ты-то ускачешь, свое дело сделаешь, а мне в ночь под крышу красного петуха подпустят! Ты приехал и уехал, а нам в своем опчестве жить, а в опчестве завсегда круговая порука... Без нее никак нельзя. Мне, к примеру, сусед стоко зла сделал, что убить мало, а из чужого села придут — хвалю его, треклятого. Мужиками испокон веков, сынок, вертели все, кому не лень. Кто нахальнее, кто силу имеет, тот и вертит. То царь, то псарь. К примеру, в нашем али в другом каком селе завелись грабители. И всего только трое. А село во страхе держат. Всех их в лицо знаем, а молчим. Почему, спросишь? Опять же поэтому. Их то ли поймают, то ли засудят, а доносчику — красного петуха под крышу, а то и вилы в бок. У вас в городах светло, полиция и войско

вас охраняют, а у нас ночью хоть глаз коли — ничего не видать, а охрана — колотушка у слепого старика да засовы деревянные. Вот тебе и христианская жизня. Бороды все отпустили, стариками заделались. Молчком да толчком впотьме куликуем. А што есеры, говоришь, так они с нами завсегда в селе живут, а коммунистов у нас нет. Это я тебе от души сказал, а што за душой чернеет, того не трожь, сынок, все равно не скажу. Село наше возле леса, ночами жутко бывает, да и тебе советую с отрядом не мешкать. В Иру ехай, там коммуны тебе все расскажут, они от опчества отбились, страх преступили.

Всю дорогу до Ирской коммуны Василий раздумывал над словами мужика. Да, да, он по-своему прав. Василий сам знает о круговой поруке в селе, но почему-то ему думалось, что приход советской власти все изменил, а оказывается, изменился только сам Василий да такие, как он, сельские коммунисты и еще бедняки, как Юшка. А коммунистов в иных селах совсем нет, все дела вершат кулаки.

И страшная мысль обожгла мозг: «Да ведь во многие села еще не пришла по-настоящему советская власть! Наскочит продотряд, приедет уполномоченный... «Ты приехал и уехал»,— сказал старик... А село остается со своими страхами и думами, а эсеры сидят рядом в селе и нашептывают мужикам день и ночь свои планы переустройства жизни».

Если бы в каждое село по три-четыре стойких коммуниста!

Василий вспомнил отца...

Тот тоже боялся неписаных сельских законов. Шел в коммуну с оглядкой и ушел без сожаления.

Все ли в Кривуше живы? Тиф у них бушует... В зажиточных кирсановских селах меньше болеют, но и тут не везде остановишься.

В Ире, у мельницы, к отряду подошел паренек, назвавшийся Иваном Слащилиным.

— Вчера тут Антонов был с дружиной. Чуть нашего председателя не убили.

— Ранили? — заинтересованно спросили бойцы.

— Не, невредимого отпустили.

— Как же это так, почему?

— Вы сами у него спросите.

— А где он сейчас?

— Заболел, дома лежит.

— А ты кто?

— Как «кто»? Я коммунар. И отец мой коммунар.

Василий приказал парню лезть к нему в седло. Тот проворно вскарабкался и сел сзади. Отряд шагом тронулся к коммуне.

Алексей Степанович Белов, услышав топот конских ног, испуганно вскочил с лежанки. Неужели вернулся за ним Антонов?

В дверь постучали.

Готовый ко всему, он встал во весь свой богатырский рост у двери и поднял крючок.

— Входите!

Василий назвал себя и трех чекистов, вошедших вместе с ним, спросил позволения сесть.

Белов подал табуретки, сел сам.

Растерянный, испуганный взгляд его блуждал по лицам вошедших.

— Товарищ Белов, правда, что вы были в руках Антонова и он вас отпустил?

— Правда,— нагнул голову Белов.— Лошадь отобрали, тулуп сняли и отпустили. Вы лучше заберите меня, товарищи чекисты, да посадите, веры мне теперь не будет от коммунаров, ведь я коммунист,— вдруг жалостливо попросил он Ревякина.

— Ты погоди ныть-то,— строго сказал Василий.— Рассказывай все по порядку. Меньшов, записывай.

К столу сел чернявый чекист в роговых очках, вынул тетрадку и карандаш.

— Из Песков я ехал. Вижу, по коммуне какие-то люди бегают с винтовками... Из моего дома сверток выносят... «Стой»,— говорят. Серую рысачку мою из упряжки долой, меня под ружье. Подходит ко мне один... черненький, маленький такой... «Я, говорит, Токмаков, милиционер. Помнишь меня?» — «Нет, говорю, запамятовал».— «А Антонова помнишь?» — «Помню,— говорю.— Как же, он сына у меня крестил в Кирсанове».— «Ну, вот и пойдем к крестному отцу, он и тебя окрестит». Повели под конвоем на Озерскую дорогу. А там целый отряд. Конники все.

— Сколько примерно? — перебил его Василий.

— Да я и не мог разглядеть, не до того было. Смерти ждал... Человек сто, а может, меньше... Антонов на санках ковровых с братом Митрием. Тройка впряжена. Пулемет сзади. Сам в белом тулупе. Меня прямо к его санкам подвели. В снег утонул я по колени. «Что, говорит, попался, Алексей Степаныч? Чего тут в Ире делаешь?» — «Кошу, говорю, да пашу».— «Из партии не ушел?» — «Нет, говорю, не ушел».— «Ну, говорит, ладно, нам некогда... По первому разу старых друзей прощаю. Второй раз не попадайся. Прощай». Возок тронулся, а я все в снегу стою и не верю, что отпустил живым. Последние конники подъехали, сняли с меня тулуп, ожгли плеткой и ускакали. Сам не свой вернулся. До сих пор нутрё дрожит. Что хотите со мной делайте, только возьмите отсюда.— И его богатырское тело затряслось в беззвучном плаче.

— А ну хватит, товарищ Белов! — приказал Ревякин и встал.— Будь коммунистом, а не тряпкой! Мы тебя никуда не возьмем. Перед людьми страмотить незачем. Завтра сам явишься в Кирсанов. Припомни, какая амуниция, какое оружие. Все изложишь письменно.

— Так я же совсем неграмотный.

Василий замялся от неожиданности, кашлянул и уже мягче сказал:

— Одним словом, в Кирсанове будь. Все доложишь. А сейчас припомни, куда они двинулись?

— По дороге на Чуповку поскакали, а там небось на Иноковку, да и в лес. Одни у них путя...

С тяжелым чувством покидал Василий коммуну. Так вот и кривушинские коммунары живут в страхе. «У кого у печи — рогачи, а у нас — винтовки». Сколько еще трудностей впереди?

«Одни у них путя...» — сказал Белов. Может быть, и в самом деле по одним и тем же дорогам кружит эта разбойничья шайка?

На Озерской дороге, где только вчера проскакала дружина Антонова, Василий остановился. Вон и следы еще целы — дорога встолчена, кое-где лошади сходили с дороги и тонули глубоко в снегу.

— Товарищи бойцы! Кто согласен сопровождать донесение в Кирсанов? Нужно двоих.

Несколько человек подняли руки.

— Жигалов и Пеньков — в распоряжение Меньшова. А мы идем на преследование...

3

Плужников ждал Антонова в Карай-Салтыках, в доме кулака Семенова, служившего надежной явкой банды.

Огня не зажигали. Так было условлено.

Перед Плужниковым сидел сын Семенова и тихо рассказывал о трагической смерти отца:

— Контрибуцию не хотел отец платить. В темную его посадили. Уперся отец: нет ничего, да и вся недолга. А он золотишко копил. Скупой был папаша, царство ему небесное. Бывало, селедок бочку привезет и ни одной своим домашним не даст, всю в продажу пускал. Сами, говорит, и щепотку сольцы в рот возьмете, если хотите чайку с аппетитом попить. Знали соседи, что должон быть капиталец у отца. Вот сосед Долгушин из бедного комитета и говорит отцу: «Так нет денег? Ну ладно, сами найдем!» Припугнул мать, она и сказала. Под кирпичом на печке, у стены, выковыряли мешочек кожаный. Привели из темной отца и показали ему мешочек. Батя только и сказал: «Да что ж это, господи! Конец!» И упал мертвый. Не выдержало сердце. Вся жизнь его в том мешочке была, дядя Гриша, понимаешь?

Плужников вздохнул, истово перекрестился на образа и внушительным голосом произнес:

— Так ты теперь, Ванюша, служи верой и правдой нашему «Союзу». За отца отомсти, мы тебя на видное место поставим, оценим по заслугам.

— Никак, приехали? — прислушался Семенов.

За окнами топот тройки, хруст снега.

— Они.— Увидев в окно тройку, Плужников встал.— Вздуй лампу и уходи через зады к соседке. Ужин на четверых. С ужином и придешь.

Плужников выпустил Семенова во двор и открыл засов сенной двери.

— Будь ты проклят со своей затеей, Старик. Чуть в бой не ввязался с этим репьем Ревякиным. Их, правда, не больше полсотни, но это наверняка разведка. Иначе откуда такое нахальство? Лезут прямо на рожон. Двоих

у меня ранили, сволочи! — Антонов сбросил тулуп, шапку, потер уши и сунул ладони под мышки, скрестив руки на груди,— так он любил делать с детства. Плечи его при этом поднялись вверх, как горб у приготовившегося к драке кота.

— Кирсановский информатор накрылся. Где новый? Вслепую живем!

Плужников выслушал молча, опустив голову,— не хотел показывать глаза.

— Ну, что молчишь? Митя! Он без нас оглох!— крикнул Антонов брату. Тот вошел в избу с каким-то большим свертком.

— Глухой тот, кто не хочет слышать...— изрек торжественным голосом Дмитрий.

Плужников наконец поднял голову:

— Я ждал, что ты расскажешь, как справился с Бербешкиным.

— Убил, убил и Бербешкина и Артюшку! Радуйся, двумя уголовниками стало меньше,— ну и что? Что, я спрашиваю?! Если бы они согласились пойти ко мне, я бы не стал их убивать.

— А то, Александр Степаныч, что это нужный политический шаг. Второй шаг ты сделаешь сейчас.— Плужников поднял с сундука свою шапку и из-под подкладки вынул листок бумаги.— Перепиши это своей драгоценной рукой, и мы пошлем в Кирсанов. Они не замедлят ответить через газетку. Они любят нас ругать. Там есть один наш борзописец.

Антонов сел к столу, прибавил в лампе огня.

«Начальнику милиции Кирсановского уезда...

По дошедшим до нас сведениям, товарищи коммунисты, желая очернить меня и моих товарищей перед лицом трудового крестьянства и всей свободомыслящей России, обзывая нас бандитами, стараются приписать нам причастность к грабежам и убийствам, совершенным в районе волостей Трескинской, Калугинской, Курдюковской и других, прилегающих к этому району...»

— Уже сочинили! — оскалился Антонов, оторвавшись от чтения.— Боитесь, я хуже напишу?

— Что ты, Александр Степаныч, помилуй бог. Знаем,

что вы с братом красивше сочините. Просто не хотели затруднять твою золотую головку политикой — тебе военным искусством надо тренировать мысли. Да и время дорого.

— А-а,— притворно укорил Антонов,— хитрые все да тонкие! Помощников развелось! — резким движением расправил бумагу и стал читать дальше.

«...Нашу непричастность к грабительским бандам мы доказываем следующими фактами: караваинская банда, находящаяся под руководством известного вам Бербешкина, ныне нами ликвидирована. Труп Бербешкина и его помощника Артюшки можете взять...— Дальше шел пропуск многоточием.— Трупы других, если вам требуются, можем доставить по месту требования, причем считаем своим долгом довести до вашего сведения: на борьбу с уголовщиной мы всегда готовы подать вам руку помощи. О чем можете обращаться через «Известия» или каким другим способом. О вышеизложенном прошу довести до сведения Уездного комитета партии КБ.

По договоренности дружины — начальник боевой дружины...»

— Ну, а потом? — нетерпеливо спросил Антонов.

— Потом,— спокойно и тихо ответил Плужников, садясь к столу.— Поужинаем и будем думать, как распустить на зимние квартиры твою дружину. А с весны навербуем тебе целую армию, сошьем новый малиновый костюмчик и — с богом! А политику и крестьян оставь на наше попечение. В «Союзе» у нас есть умные головы.

— Из Цека что сообщают?

— Ждать велят. Ты, Степаныч, пиши.

— Нет, будет не по-твоему, а по-моему. Сначала ужин, а потом это дурацкое письмо. Я голоден и зол. Сам выручал этого Бербешкина из колонии и теперь сам же убил!

— Такую ничтожную жертву принес для общего дела — и жалеешь! Как не стыдно, Степаныч.

— А ты доволен, что все по-твоему делаю! Радуйся! Я еще и коммуниста одного живым отпустил! Пацана у него крестил в восемнадцатом! Видишь, как следы заметаю? Давай ужин.

Плужников хитро подмигнул Дмитрию, который растирал замерзшие ноги, и, согнувшись, нырнул в дверь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Соня торопилась.

Зря пошла на ночь глядя, да и дома сидеть невмочь, тоска...

Зловещие валуны снежной пыли поперек дороги все росли и росли. Уже трудно было идти, а Пады еще далеко. Или их не видно за порошей?

Ветер дул сбоку, бросал в лицо колючий снег.

Начиналась метель...

Соня прикрывалась от ветра варежкой, но в глаза все равно порошил снег.

На лошади давно бы доехала, только не отпустил бы ее отец в Пады. Пришлось уйти тайком. Все хорошие вещи попрятал от нее, чтобы не пропила, и корову перевел в свой хлев. Жалко скотину — днями стоит без пойла, ждет, пока протрезвеет хозяйка. Пришла однажды Соня к отцу и в голос заревела: «Да что же это такое? Люди от тифа мрут, а меня и зараза никакая не берет! Наказание господнее!» — «Мы, говорит, дочка, все отболели тифом, когда ты еще маленькая была. Выкинь дурь из головы, брось пить!» «Смешной папаша! Откуда ему знать, что только в хмельном забытьи его дочь находит успокоение!.. Вот приду к Насте, мы с ней выпьем, погорюем вместе — у нее Ивана взяли на фронт. Дорваться бы до вольной самогонки — опилась бы и заснула на веки вечные».

«А чего опиваться? И замерзнуть ведь можно, если хочешь умереть...» — вдруг шепнул ей внутренний голос.

Нет, нет, это страшно! А главное — ей все же хочется жить. Жить. Узнать, что с Василием, хоть изредка видеть его, пусть даже через окошко, тайком, как тогда в Рассказове...

Ветер усиливался. Вскоре небо и земля в глазах Сони смешались в один белый непроглядный вихрь. Дороги уже не было видно, ноги то и дело проваливались в снег на обочинах, слезящиеся глаза плохо различали наполовину залепленные снегом вешки.

Еще немного... Вот-вот должны показаться Пады. Церковку-то издалека видно. Соне даже показалось, что слышен тонкий лай собаки.

Напрягая последние силы, Соня ускорила шаг и по колено провалилась в снег. Значит, дорога свернула в сторону, к селу, но в какую сторону? Лихорадочно карабкаясь по снегу, она старалась нащупать твердый наст дороги, но, видно, с испуга двинулась не в ту сторону. Кидалась то туда, то сюда, ползла, проваливаясь в снег руками и зарываясь с головой в белое холодное крошево...

Обессиленная, с окоченевшими руками, Соня вдруг исступленно закричала:

— Спасите-е! Погибаю-у!

И сама не понимала, то ли тающий снег течет по щекам, то ли слезы.

— Спасите-е! Погибаю-у! — снова из последних сил закричала Соня и ничком упала в снег, защищая лицо от беснующегося ветра.

2

Она не помнит, уснула или потеряла сознание от холода и страха, только ощутила вдруг себя в теплой тишине...

Чьи-то шершавые руки грубо растирают ее ноги. Соня открыла глаза. Изба. Постель. Перед глазами потолок. Кто-то громко сопит в ногах, оттирая ее колени снегом.

— Ничего, отойдут,— говорит мужской голос.— Самогоночкой еще потрем. Первач лучше спирта!

Соня узнала голос Карася и испуганно отдернула ногу.

— Ну, чего брыкаешься, королевна? — взглянул он на нее.— Ноги тебе спасаю, а ты брыкаешься.

— Бесстыжий, к Насте отвез бы или соседку позвал бы... Уйди, я сама.

— Я живу с краю, а до Насти еще колесить надо в такую завируху. Вдруг дома нет? Соседи в тифу лежат. И время не ждет. Лежи. Руки-то твои еще не действуют. На драгоценных коленочках кожа попортиться могёт... Я сам чуть к снежному царю в гости не попал, спасибо лошадь — умница! Пустил вожжи, вези, думаю, куда хошь, ничего не вижу. Лошадь, она дорогу чует. Вдруг слышу: «Спасите!» Ты и от дороги-то на три шага бы-

ла.— Карась снова принялся натирать ее колени снегом.

Соня прижала юбку онемевшими саднящими руками и послушно затихла, отвернув лицо к стене.

— Теперь давай руки снежком потрем, а потом самогоночкой.

— Где ж твои бабы-то? — грубовато спросила Соня.

— Жена с сыном в Мордово уехала к своим, а мать на печке лежит хворая.

— Отвези меня к Насте.

— Да на улицу нос показывать нельзя, а ты — к Насте. Все теперь спят уже. Керосину нет.

— Отогреюсь — сама пойду.

Карась промолчал, усердно натирая шерстяной варежкой пальцы.

— Тише, кожу сдерешь,— закапризничала Соня.— Где у тебя самогонка-то? Дай стаканчик.

— Правильно, нутрё тоже согреть надо. Сию минуту.— Он потер вторую руку варежкой и юркнул на кухню.

— С барской усадьбы стакашек-то... Видишь, с золотой обводкой? — Карась налил полный стакан.— Пей, королевна. Ничего для тебя, Сонечка, не пожалею. Пей!

— Не удержу стакан, пальцы как чужие.

Выпила с жадностью, утерлась запястьем руки. Он ливанул ей из бутылки на ладони. Она осторожно стала растирать пальцы.

— В шелка тебя разодену, золотые серьги подарю. Сам бог мне тебя послал, Сонечка!

— Да ты что мелешь-то? Какие серьги? За что? Налей лучше еще.

— Сколько хочешь пей, все твое! Рабом твоим буду — только согласись! К тебе в дом жить пойду, своих брошу всех к идолу! — Он налил еще и протянул Соне.

— Нет, подожди! Ты чего задумал-то?

— Женюсь на тебе! Сам бог этого захотел!

— Ты что говоришь-то, Василий! — испуганно отстранилась от него Соня.— Ты разве не знаешь, что я пропащая? Казаки меня... И пьяница я теперь беспробудная.

— Хомутаешь на себя, неправда это. А если и правда — все равно! Какая есть, беру! Красивше тебя нет на свете, королевна! Как увидел тебя тогда у Макара, так

и голову потерял. Дурачился, притворялся, а душой страдал. Теперь на смерть за тебя пойду, никому не отдам. Пусть для людей пропащая, а для меня ты королевна! Вот, на тебе, Сонечка.

Он вынул из кармана кожаный кисетик и высыпал из него на одеяло кольцо и перстень.

Соня вытаращила на Карася глаза и не могла понять, пьяный он или сумасшедший. А он кинулся на кухню, принес еще две бутылки самогона и два ломтя хлеба.

— Пей, Сонечка, и я с тобой выпью! Все равно вся наша жизня пропащая! Но мы еще гульнем! Весна придет — зеленый шум устроим! Чего пожелаешь — у твоих ног будет.

Соню начала бить лихорадка.

— Да ты что задумал-то? Лучше бы замерзла я! — И она стала спускать ноги с постели, спихнув на пол кольцо и перстень. Они тоненько звякнули и покатились по полу.

— Куда, чудачка? Куда? — Он насильно уложил ее в постель.— Выпьем и поговорим спокойно. Я ведь не дурить задумал, а по чести жениться на тебе. Ты слышишь или нет?

А за окном, на пустынной улице, поскрипывая колодезными журавлями, тоскующе выла метель.

Соня приподнялась. Мутными от хмеля и слез глазами посмотрела на Карася и надрывным, злым голосом спросила:

— Так ты любить меня будешь, Васька?

— Буду, королевна, буду по гроб жизни!

— И самогон будет всегда?

— Будет, королевна! — Карась вскочил от радости, готовый на все.

Соня смотрела на него дикими, хмельными глазами и отрешенно улыбалась.

— Метель не перестала? — спросила она.

— Еще пуще метет.

— Лей еще! — Трясущейся рукой она протянула стакан.

Выпила, тряхнула черной копной волос и дико захохотала.

— Кровать... как зыбка... качается... вот... едет куда-то...

Карась ошалело смотрел на ее белые, оголенные плечи и боязливо топтался на месте, не зная, что еще сказать, что сделать.

— Ну, что стоишь? — крикнула она грубо.— Надевай кольцо и перстень! — И протянула красные, вспухшие руки.

Он угодливо достал кольцо. Трясущимися руками стал надевать на безымянный, но кольцо не лезло.

— На мизинец надевай, хоть на самый краешек! А завтра в церковь! Повезешь в церковь, Васька?

— Повезу, повезу, Сонечка!

Соня снова захохотала, потом откинулась на подушки и затихла, тяжело дыша.

Карась постоял над ней, ожидая какой-нибудь новой выходки. Но Соня уже спала тяжелым, хмельным сном.

3

Метель бушевала всю ночь...

Казалось, разверзлось небо и высыпало все запасы снега на землю.

Остановились поезда. Тысячи людей были брошены на очистку железнодорожных путей.

Поезд, в котором ехал Василий Ревякин с докладом в Губчека, был захвачен метелью в пути и остановился на лесном участке дороги за Радой.

Как только метель стихла, все, кто ехал в поезде, были мобилизованы на расчистку путей. Лопат, привезенных с Рады, не хватало. Наскоро прибитые к палкам фанерки и тесины заменяли лопаты.

От Тамбова, навстречу поезду, быстро приближалась большая команда горожан. Это постоянные участники субботников — коммунисты губернских учреждений. И среди них, как рядовой, с лопатой в руках — председатель Губисполкома Антонов-Овсеенко.

Обе команды сошлись у железобетонного моста.

Среди радостных порозовевших на морозном воздухе лиц горожан Василий сразу отличил одухотворенное лицо председателя Губисполкома.

— Здравствуйте, товарищ председатель,— подошел к нему Василий.— Я — Ревякин, из кирсановской Чека. Заходите в наш вагон, проводница самовар поставила.

Пока доедем до Тамбова, чайку попьем. А я успею вам рассказать интересные новости.

— Ну что ж, товарищ Ревякин, рад случаю поговорить с вами. Вы ведь из крестьян?

— Так точно.

Антонов-Овсеенко позвал с собой работников Губисполкома.

В тамбуре вагона он долго и тщательно стряхивал снег с шинели, с буденовки,— чувствовалось, что это доставляет ему удовольствие: мол, хорошо поработали, отряхнемся и отдохнем.

— Ну, где тут горячий чаек? — весело спросил он проводницу.

— Чайку нет. Горячей картошкой угощу. Сейчас вынимать буду.

— Так ты, тетенька,– умоляюще заговорил Василий,— самовар ставила.

— Ну и что, дяденька,— бойко ответила та, не стесняясь начальства.— Самовар и ставила. Он у меня за походную кухню служит. Когда чай кипячу, когда картошку варю. В одной дежке — две приспешки... Голь на выдумки хитра!

— В самоваре картошку? — восхищенно спросил Владимир Александрович.— Это великолепно! Тульские мудрецы знали, что создают вещь не только для удовольствия богатых, но и для спасения бедных кочевников, которым в пути тоже нужна горячая пища. Интересно посмотреть, как это делается.

Проводница открыла дверку в отсек, где в вагонах стоит железная печь.

Рядом с печкой там стоял самовар. Потянуло сладковатым картофельным паром.

— Идите в вагон,— сказала проводница,— я сейчас солью и принесу туда. На всех не хватит, а начальника угощу.

— И кашу варить в нем можно? — спросил Антонов-Овсеенко.

— Нет, кашу нельзя,— с достоинством ответила хозяйка самовара.— Каша пригорает. А чистить его неудобно, да и времени нет. Ну, идите, поезд уже тронулся. Скоро Тамбов.

— Все нужно знать,— идя в вагон, мечтательно заго-

ворил Антонов-Овсеенко.— Народ наш из любого положения выход найдет. Красивый и мудрый народ, но нищий и темный спокон веков. А что свершит он, этот народ, если мы сделаем его образованным и сильным?..— Он сел к окну и улыбнулся.— Размечтался, а на грешной земле дел по горло. Выкладывай, Ревякин, кирсановские новости.

Василий достал из бокового кармана шинели кожаный пакет. Вынул плотную белую бумагу.

— Вот прочтите.

— Что это? Письмо?

— Да, письмо от Антонова.

Пока председатель Губисполкома читал письмо, Василий следил за выражением его лица. Оно с каждой секундой становилось все более суровым и напряженным.

— Это хитрый политический ход,— быстро и резко сказал Антонов-Овсеенко, хлопнув рукой по бумаге.— Это расчет на открытую полемику через печать и на усыпление нашей бдительности. Письмо нельзя предавать гласности.

— А мы только что напечатали ответ в кирсановской газете.

— Ответ у вас с собой?

— Вот, на этой странице.— Василий подал кирсановские «Известия».

Владимир Александрович поправил очки и склонился над газетой.

«Ответ на письмо Антонова, присланное им на имя начальника Кирсановской усовмилиции.

На днях нами получено письмо бывшего начальника Кирсановской милиции Антонова, каковое написано им от имени «боевой дружины», начальником которой называет себя Антонов. В этом письме он оправдывает себя и свою дружину перед Коммунистической партией, отмежевываясь от банд, с которыми позорно работал летом и осенью прошедшего года, убивая граждан свободной Советской России. В чем же проявилась работа этой дружины на пользу «трудящихся масс»? В разбое, убийствах, грабежах и терроре. Ведь с начала своей деятельности «отважный кирсановский социалист» собрал вокруг себя подонки общественности в лице уголовного элемента

и бессознательных дезертиров и занялся убийствами безвредных деревенских идеалистов в лице членов Коммунистической партии. О составе его «боевой дружины» говорить не приходится, ибо она известна всему уезду своими поступками. Дальше мы скажем, что же сделала «боевая дружина» полезного: ограбила Дашковскую детскую колонию, где взяла сто десять тысяч рублей, приготовленных для детей голодных питерских рабочих. Руководил — правая рука начальника «боевой дружины» Токмаков. Что может быть позорнее? А ограбление Утиновского и Золотовского Советов не работа «боевой дружины»? Разве эти взятые суммы не принадлежат трудовому народу? Убийство лучшего человека тов. Чичканова, стойких бойцов рабочего пролетариата тт. Полатова, бр. Коневых, Пьяных, Ломакина и др., среди которых есть женщины-крестьянки и число которых считается десятками, разве это не работа «гуманной дружины» и их боевого начальника? И этот чудовищно кровожадный человек и его дружина имеют наглость оправдывать свои поступки перед лицом трудящихся. «Смотрите, трудящиеся, я не виновен в грабежах и сам убиваю грабителей. Караваинский бандит известный Бербешкин убит мною за свою преступную деятельность»,— говорил Антонов в своем письме. Какой веский аргумент для оправдания! А кто же летом 19-го года с «дружиною» в шестьдесят человек шел освобождать арестованного Бербешкина? Все тот же Антонов. Антонов не социалист, а авантюрист, человек с абсолютно преступной наклонностью. Антонов и его дружинники скрылись в кирсановские леса, превратились в питающихся кровью волков и из глухих лесных дебрей стали нападать на беззащитных сельских коммунистов и крестьян и пить их кровь. Кулачество Кирсановского уезда, отличающееся своей контрреволюционностью, увидело в лице господина Антонова своего слугу и защитника, раскрыло ему свои объятия. Но карающая рука пролетариата, победившая мировую контрреволюцию, быстро раздавит вас, пигмеев, своим железным кулаком. Российский пролетариат, живущий духом Коммунистической партии, победивший мировой капитал и буржуазию, гигантски силен, и нет силы, которая могла бы победить его».

— Поторопились! — недовольно покачал головой Антонов-Овсеенко.— Политически беззубый ответ. Ведь крестьяне еще не научились понимать кавычки! А тут что ни мысль, то кавычки, да еще и термины: аргумент, пигмей, гуманный! Кто это сочинял?

— Из газеты приглашали.

— Вот я и вижу: сочинили, товарищи «безвредные деревенские идеалисты»,— ехидно усмехнулся Антонов-Овсеенко.— Ты себя, Ревякин, тоже безвредным идеалистом считаешь?

— Для кого как: для врагов — вредный.

— То-то же! — Антонов-Овсеенко укоризненно потряс головой, свернул газету и спрятал в свой карман.

— А трупы обнаружили?

— Обнаружили. Там, где он указал: в яруге Кензари, за Курдюками.

— Ну ладно, поговорим еще с твоим начальством, а теперь зови проводницу. Попробуем картошку самоварного приготовления.

4

А в Кривушинской коммуне в ту метельную февральскую ночь совершилось чудо: Ефим Олесин, Юшка, читал коммунарам газету. По складам, с подсказками Любомира, но читал! Чадила семилинейная лампа, в комнате пахло угаром, но никто этого не замечал, глаза всех были прикованы к сивой бороденке, прыгающей над газетой в такт словам. И трудно было сказать, кто больше радовался этому событию: Ефим, который от радости путал строчки и повторял одно и то же по два раза, Любомир или слушатели-коммунары, которые с восхищением наблюдали за Ефимом.

— Что-бы спас-ти стра-ну от ги-бели...— читал Ефим, отирая со лба пот,— необ-хо-ди-мы... Дальше читай сам. Слова длинные, не выговорю,— обратился он к Любомиру.

Любомир прочел коммунарам обращение ВЦИК ко всем трудящимся.

— А давайте напишем Калинину письмо,— предложил Ефим.— Мол, мы со всеми твоими словами согласны, и, мол, смерть буржуям, а коммуне слава. Я сам подпи-

шу, от меня он примет, потому как вместе с ним я целый день ездил и разговаривал.

— Это нужно как следует сочинить,— сказал Любомир.— Посоветуемся с Андреем.

Решили сразу же идти к больному председателю на второй этаж.

Андрей одобрил мысль о письме и взялся диктовать Любомиру.

«Дорогой Михаил Иванович! Пролетарский привет Вам от бывшего батрака, первого коммунара Ефима Олесина и всех членов нашей коммуны. Я с Вами ездил на строительство железной дороги, и Вы мне велели тогда учиться читать и писать. И вот я Вам даю отчет: читать по складам умею, нынче читал коммунарам обращение ВЦИК. Под письмом я распишусь сам, а пишет его пока что мой учитель...»

Письмо получилось длинное: каждый коммунар просил Андрея сказать и о его делах что-нибудь, и Ефим одобрял желание каждого кивком головы — он был сегодня в центре внимания.

Любомир передал карандаш Ефиму — поставить подпись. Тот повертел карандаш в руке и строго сказал:

— Зачти все подряд.

Любомир прочел.

Большой лист бумаги перешел в руки Ефима. Он осмотрел его с обеих сторон, разгладил на столе и вдруг прослезился:

— Эх, Ванюшка, не дожил ты, горемычный... посмотрел бы на отца в такую радость! Первый раз под такой большой бумагой свою подпись нарисую. В грамотеи твой отец попёр!

Бабы засморкались, задвигались.

— Эх, мать твою бог любил! Раскачалась матушка Русь сермяжная! То ли еще будет! Самому Бедному Демьяну частушки посылать буду! Дай только срок — рукой побойчее водить стану — все опишу!

Он склонился над письмом. Кончик карандаша прислонил к языку (он видел, что так делают писаря) и потянулся к чистому месту на листе.

А за спиной Ефима склонились, не дыша, коммунары...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Пробушевал метельный февраль. Отзвенел капелями март.

За окном уже светило яркое апрельское солнце. А в кабинете председателя Губисполкома все еще холодно от каменных стен.

Сегодня сюда собралась вся высшая губернская власть.

Рядом с опытными партийными вожаками с дореволюционным стажем сидят совсем молодые, безусые партийцы — продкомиссары, войсковые командиры, чекисты.

Они собираются в этом кабинете не впервые, но впервые каждому из входящих передается необычное настроение настороженной сдержанности — тихо садятся, переговариваются только шепотом и все смотрят на Владимира Александровича Антонова-Овсеенко — украдкой, исподлобья.

Его никогда не видели таким возбужденным. Он словно не замечал, что люди уже собрались, что пора начинать,— шагал и шагал по кабинету, не обращая ни на кого внимания, склонив в задумчивости кудлатую голову.

Изредка он вздрагивал плечами, на которые небрежно накинута шинель,— это придавало его невысокой, сухощавой фигуре особую напряженность.

— Дорогие товарищи!

В кабинете повисла мертвая тишина.

— Дорогие друзья! — повторил Владимир Александрович.

Остановился у письменного стола, оперся на него рукой.

— Я собрал вас сегодня не на совещание, а на беседу. Вернувшись с Девятого съезда партии, на котором я узнал, что ряды нашей партии удвоились и что, получив передышку на фронтах, мы можем заняться хозяйственным строительством, я долго раздумывал над тем, насколько быстрее и вернее пошло бы это строительство, если бы кадры руководителей на местах были бы опытнее, грамотнее и умнее. Облик партийного и советского руководителя — так я назвал бы тему нашего сегодня-

шнего разговора. Как каждый из вас пользуется властью, сосредоточенной в ваших руках?

Он снова прошелся по кабинету, словно давая время слушателям проникнуться серьезностью предстоящего разговора.

— И я думаю начать этот разговор с вопроса: чем больше всего недовольны рядовые люди на местах? Наши враги говорят: люди недовольны советской властью. И мы иногда бездумно пишем в сводках: проявляли недовольство советской властью. Не советской властью они недовольны, это же их собственная власть, они недовольны личной властью некоторых ур-ра-революционеров.— Он особо выделил «ур-ра», показав свое презрение к левым крикунам.— Они недовольны личной властью случайных людей, пролезших в наши органы. Задумайтесь, товарищи, ворохните свою память, проконтролируйте себя — всегда ли ваши действия были продиктованы советской властью? Не выдавалась ли власть личная за советскую? Четко ли в голове вашей проведена граница, разделяющая эти две власти?

Он внимательно посмотрел каждому в глаза, потом снял очки и принялся тщательно протирать стекла.

— Дорогие друзья! Не подумайте, что я вас поучаю, нет. Я очень обеспокоен положением дел на местах. Потому и решил разбудить в вас желание жесткого самоконтроля. Кое-кто может сказать: «Да мы и сами знаем, что такое советская власть». Это было бы очень хорошо, если бы все знали... Но я располагаю другими фактами.

Недавно один очень ответственный товарищ, с которым я беседовал о делах, прощаясь со мной, вдруг заявил: «Да я всех в бараний рог скручу. Я же как-никак «советская власть в уезде». Теперь он уже к власти не имеет никакого отношения, но ведь трагедия в том, что он считал себя советской властью и делал все, что хотел. Таких на местах немало. Жаль, что мы вовремя не разоблачаем дураков и не гоним их с постов. А ведь от дураков таких не меньше вреда, чем от врагов.

Враждебные толки, вызванные одним ретивым дураком, бюрократом, могут очень дорого обойтись нам, товарищи! Совсем недавно мятежи в Липецке и Борисоглебске должны нас всех насторожить.

Он снова прошелся по кабинету, запахнул полы шинели.

— Если ты требуешь от подчиненного повиновения именем советской власти, то сам беспрекословно подчиняйся ее законам, а эти законы известны всему народу, они публикуются в печати. Если на твои действия жалуется человек в высшие инстанции, ища справедливости, а ты его выгоняешь с работы или преследуешь его, то это не голос советской власти говорит в тебе, а голос эгоизма и самодурства.

Если ты твердо проводишь продразверстку и берешь излишки хлеба — ты осуществляешь советскую власть, исполняешь ее закон, но если ты несознательного мужика, спрятавшего хлеб, ставишь к стенке и угрожаешь оружием,— то используешь данную тебе власть во зло, чванишься своей силой, своей личной властью и, значит, толкаешь мужика в стан не только своих личных врагов, но и в стан врагов советской власти.

Вот, товарищи, что я хотел сказать вам на прощание... Центральный Комитет отзывает меня на другой пост, но вы все остаетесь для меня дорогими соратниками по борьбе; где бы мы ни были — мы делаем одно великое дело. Вот почему я и завел сегодня откровенный разговор, который, думаю, будет полезен и мне и вам.

Он развел руками — мол, вот и все...

Все словно очнулись — задвигались, зашептались. Многие из губернских руководителей знали, что его отзовут в Москву — дела в губернии пошли лучше,— но никто не ожидал, что случится это так скоро.

Весна шла ранняя...

Сколько ни мела метель, снег сошел быстро. Звонкими ручьями уплыл в реки, а мерзлая земля осталась без влаги.

Старики собирались на вечерней заре у окраинной ветлы, поглядывали на закат, покачивали головами: не радовала их ранняя весна. Приметы грозили засухой.

Засуха — всегда беда, а в такое лихолетье — трижды.

В низинах, в тени еще желто-серый снег дотаивал, а на солнечной стороне по буграм уже зловещие змейки пыли поднимали голову.

Черепела земля...

Кинулись сеять. Первые пригоршни зерна успели бросить в парящие комья смоляно-черной пашни, а последние горсти рассевали по серой пыли.

Многие поля остались незасеянными — некому их было засеять: у кого мужик на фронте, у кого тиф скосил работников, а иные поля и совсем осиротели — некому даже прийти поглядеть на буйный бурьян.

Приезжали из городов агрономы, советовали не ждать, быстрее сеять, помогать друг другу, но мужики почесывали затылки, бормотали молитвы и с надеждой косились на небо.

«В конце апреля — шапка сопрела, а пришел май — хоть рот разевай»,— сочинил Ефим Олесин новую прибаутку.

И вдруг над южными уездами Тамбовщины нависли было тучи, загремел гром. Где-то далеко, на горизонте, появились дождевые кудели. В эти часы ожидания в селах люди толпились на улице, как на сходах, ждали дождя, как великого праздника.

Но дождь прошел стороной.

«Висел-висел, гремел-гремел, думали — зальет, а он и не капнул,— жаловались друг дружке бабы.— Как провалился».

«Что ж, видать, будем воевать да побираться»,— пророчили старики.

«Все оттого, что антихристов держим на своей спине,— зловеще шептали плужниковские агенты «Союза трудового крестьянства».— Пора крестьянам за свой ум браться, в борьбе обретать право свое! Записывайся, Антип, в крестьянское святое дело, глянь, уж сколько записалось!»

И Антип, почесав затылок, ставил крестик в указанном месте — против своей фамилии...

2

На второй неделе пасхи перед вечером в кирсановскую Чека прискакал из Иноковки племянник погибшего почтальона Косякина. Он сам видел, что «к Токмачихе вернулся из бегов муж, а с ним еще двое». В сельский Совет парень идти побоялся — «там родичи Токмакова всегда отираются».

Василий Ревякин приказал пятерым бойцам оседлать коней. Тщательно расспросил парня, откуда лучше подъехать к дому, на месте ли стрелки охраны сельсовета.

Двигаться решил в окружную, чтобы отрезать дорогу в овраг, идущий до самого леса.

А в Иноковке в это время группа вооруженных сельсоветчиков, возглавляемая Филиппом Поминовым, уже подошла к дому Токмакова. О возвращении антоновского подручного Поминов узнал от ребятишек.

Дом окружили.

На требование сдаться из дома никто не ответил. Один из стрелков подполз к двери — она была на замке. Дали залп по крыше — по-прежнему молчание.

Токмаков ждал вечера.

Тогда стрелок Анатолий Юмашев крикнул в дверь, чтобы вышли из дома женщины и дети, а сам запалил соломенную крышу дома.

Сразу во двор выбежала старуха с детьми, потом и жена Токмакова.

Соседи, собравшиеся вокруг дома, глухо роптали. Только какой-то старец поднял клюку и дрожащим писклявым голосом крикнул: «Токмаки-ироды! Через вас и мы сгорим!»

Крыша вспыхнула, как факел.

Увидев пожар, кто-то забрался на колокольню и ударил в набат. Толпы людей хлынули к месту пожара...

Маленькими сверлящими глазками следил Токмаков за односельчанами, обступившими дом, и тихо командовал телохранителям: «В толпу кинусь, в толпу стрелять не будут. Вы сразу за мной, в другое окно... Встретимся у ручья, в овраге».

Он распахнул окно, бросил гранату и, воспользовавшись паникой, выпрыгнул в палисадник. Там, смешавшись с толпой, юркнул на огороды, обсаженные ветелками.

...Василий прискакал с отрядом, когда уже дом догорал. Председатель Совета с сожалением развел руками: упустили.

— Да кто же собирает для такого дела толпу? — злым, срывающимся голосом заговорил Василий.— Надо было обложить дом, сообщить нам и ждать.

— Толпа-то на пожар поперла. Какой-то дурак в набат ударил.

— Куда они могли уйти?

— Да по низам теперь улепетывают.

Василий разбил отряд на две группы и поскакал в овраг к речушке, наперерез бандитам.

3

После смерти Василисы Захар словно переродился. Очерствело его сердце к людям. Даже к Маше, которую любил, как родную дочь, стал относиться настороженно и придирчиво. И с каждым днем между свекром и снохою росло отчуждение.

Началось с того, что Захар приревновал Машу к ликбезу. Если чуть-чуть задерживалась она в коммуне, встречал ее суровым упреком: «Не учитесь там, видать, а шашнями займаетесь». Маша отмалчивалась или просила: «Опомнись, батя, что ты говоришь!» А внутренне досадовала на незаслуженные упреки свекра. Уходила с Любочкой в горницу и там втихомолку оплакивала свою судьбу.

Однажды после занятий она зашла к своим повидаться с матерью и сестрой, да и засиделась.

Захар встретил ее лютым взглядом:

— Больше туда не пойдешь. Хватит! Бабе дома надо управляться, а не в грамотеи лезть! Мишатка на улицу убег, а Любка орет, опухла.

— Да ты-то что же, батя,— впервые осмелилась она оговориться.— Ты-то мог взять Любочку на руки!

— Вижу олесинскую породу! Кто бы их поил, да кормил, да еще детей нянчил, а они шашнями...— И не договорил. Понял, что перехватил лишку, да уж поздно: вылетело слово — не поймаешь.

Маша отшатнулась от него, словно он ударил ее по лицу. Несколько мгновений она молча смотрела на него умоляющими глазами, не веря тому, что услышала. А он, уже тише, заключил:

— Мишатка лоботряс растет... Шесть лет уж малому!

Нет, не ослышалась! Почти не видя ничего от слез, она собрала в узел свое барахлишко, укутала Любашу в одеяльце.

Мишатка влетел в избу разгоряченный:

— Маманька! Я в лапту играл! — И сразу осекся, увидев плачущую мать с узлом в руках. Он и раньше видел, как дед обижает мать, а тут сразу все понял.

— Давай я понесу узел, маманька.

Захар опешил от решительности снохи. Он сидел на лавке в переднем углу, наблюдал за ее сборами и не мог ничего придумать, чем бы оправдаться перед нею. Он сам внутренне удивлялся, откуда у него взялась такая грубость и жестокость, но ничего не мог с собой поделать. Сознание того, что остается теперь совсем один, еще больше подхлестывало самолюбие — он дико повел глазами и прорычал, задыхаясь от злости:

— Уйдешь — прокляну,— и одеревенело застыл.

Маша остановилась у дверей, перекрестилась на образа:

— Прости, батя... я чиста, как перед богом, а попречный хлеб мне не нужен, сама заработаю. Спасибо за все, прощай.— И толкнула дверь.

В коммуне Андрей Филатов велел бабам освободить от конторских столов ревякинскую квартиру, отмыть как следует полы и вселить туда Машу с детьми.

Ждали, что не выдержит Захар одиночества, придет в коммуну или уедет в Пады к дочери Насте, но не тут-то было.

Однажды, уже перед севом, Ефим Олесин принес в коммуну неожиданную новость: Захар женился. Зашла к нему перед пасхой сестра соседа бобылка Маланья — подсобить убраться к празднику, да так и осталась.

Маша перекрестилась от радости: душа освободилась от сознания вины перед ним, от жалости к нему, одинокому.

Ефим запряг лошадь, перевез от Захара оставшиеся Машины вещи, пожелал Захару счастливо жить-быть.

Маша увидела Захара с Маланьей только на севе, в поле. Коммуна отрезала Захару положенный участок земли на краю общего поля — Андрей Филатов все еще не терял надежды на его возвращение в коммуну. Захар проехал мимо коммунаров, молча подняв шапку. Агра-

фена не выдержала, бросила вслед упрек: «Кралю завел и знаться не хочет!»

Захар даже не оглянулся.

4

Иван Кульков бежал с фронта еще летом, когда косили сено. Обросший, вонючий, нагрянул домой ночью, перепугал Настю так, что и не рада была его ласкам. А на заре разбудил ее и приказал:

— Обо мне никому ни слова. Я ведь дезертир!

— Батюшки! — всплеснула руками Настя.— Окаянный ты анчутка! Что же ты делаешь-то! Расстреляют тебя, а на фронте, глядишь, жив бы остался.

— Нишкни! — замахнулся на жену Кульков.— Стану в лесу прятаться! Жрать будешь носить туда... К муравьиным пням, где мы тальник на кошелки резали.

— Да ведь тебя бандиты к себе затянут в лесу-то. Там и без тебя дезертиров как грибов поганых. Тогда прокляну анчутку,— пообещала Настя.

— Мне ни красные, ни зеленые не нужны,— насупившись, отрезал Кульков.— Мне нужен дом да ты в ём и ничего больше. Пойдем, проводишь за реку. Лопатку понесешь, мне неудобно. Я с топором пойду.

— Это зачем же лопатку-то? — уже мягче спросила Настя.

— Землянку вырою с накатом. Греться ко мне будешь ходить,— осклабился он и озорно схватил за плечо.

— Могилу себе выроешь, Ванька, попомни мое слово. Поди лучше признайся да вернись в войско. Мол, соскучился по бабе, повидался, а теперь сам пришел.

— Ну, хватит, Настёнка, скулить-то. Сам знаю, что делаю. Пойдем. Все образуется.

Три дня, прячась в кустах при малейшем шорохе, Иван копал землянку. Для наката нужно было найти дубочков. Иван углубился в лес и наткнулся на дозор бандитов.

— Эй, старик! — крикнул Ивану дозорный.— Ты чего тут?

Иван обрадовался, что его приняли за старика, сгорбился нарочно и, изменив голос, прохрипел:

— Дубочков на погребок хочу срубить.

— Проваливай, а то кол вобьем... Люди, как мухи, мрут с голоду, а он: «Погребок»! Неси барана — сами тебе нарубим.

Ивану показался голос знакомым. Знать, падовские все тут. Он торопливо закостылял назад.

Нарубил молодых осинок, покрыл кое-как яму. Листвой и дерном застелил землю так аккуратно, что вблизи не заметишь ни лаза, ни вскопанной земли. На это он был мастер. На дно ямы насыпал сухой листвы, постелил рядно.

Настя приносила ему еду через день. Сколько ни уговаривал он ее влезть в яму, посмотреть, как там хорошо,— она осталась неумолимой. Грустно смотрела на бородатого человека, ставшего ей совсем-совсем чужим...

Он замечал ее тоску, придирался:

— Небось хахаля нашла! Через два дня стала ходить. С голоду уморить хочешь?

— За мной уж и так следят. Куда, говорят, ты так часто за речку ходишь? Соню, говорю, хожу проведывать. Она ведь за Карася замуж вышла. Слыхал?

— Да ну?

— Вот те и ну. В лесу теперь живут, на кордоне.

— Видалась ты с ней?

— Приходила раз... Зимой еще. Напились мы с ней от горюшка... От тебя еще и писем не было.

— Ну и что она?

— Молчит и пьет. Пьет и молчит. Только и сказала: все равно пропащая — уж лучше с одним. А к тебе, говорит, буду заходить и, коль что Карась плохого задумает против твоих родных, предупреждать буду.

— Не лезь в эти дела,— буркнул Иван, дожевывая грудку каши.— Нечего с ней путаться, коль пропащая. Слышишь?

— Слышу, да не слухаюсь. Она страдалица, а не пропащая.

Иван молча погрозил кулаком, собрал узелок и опустил в яму.

— Ну, иди. А то вот сучки трещат... Не заметил бы кто.

Кое-когда, не предупредив Настю, он являлся ночью домой. Обходил все свои постройки, чуланчики, проверял тайники; Настя ходила за ним, как тень, освещая свеч-

кой ему дорогу. О, как она ненавидела его и... жалела! Когда он уходил, она долго и безутешно рыдала, кусая подушку, но выхода не видела из своей пустой, никому не нужной жизни.

Так длилось до уборки.

Однажды Настя принесла ему буханку хлеба и сердито сказала:

— Вот на неделю. В поле уезжаю. Как хочешь тут. Если б ты не в бегах был, мне как красноармейской семье Совет помощь оказал бы, а теперь наймаю. Кубышку твою открыла.

— Ы-ы... — простонал Иван, закачавшись всем телом, словно его кто ударил под сердце.

— Сам косить пойду. Не наймай,— вскочил он с земли.

— А вчера из сельсовета агент заезжал. Про тебя спрашивал. Бумажка пришла из Тамбова. Тебе не косить идти надо, а с повинной в Совет.

Иван дернул себя за бороду, скрючился, застонал.

Настя повернулась и пошла прочь, не попрощавшись.

А через день утром в поле прибежал подпасок Кирюха Тычков.

— Настёнка! Ивана твово бык задавил!

Настя так и осела на сноп.

— Мы погнали к мелколесью, там сейчас травы-то больше. Слышим, бык взревел страшно. Подбегли, а он провалился в землянку. Оттуля, из низу, человек пищит придавленный. Спал, знать, не слыхал. Мы быка подважили кое-как бревном, выручили, а человек-то уж помер. Ему бык ногами грудь и живот раздавил. Вынули, глядим — старик, а вгляделись — Иван твой.

Настя даже не заплакала. Горя много, а слез нет. Бледная, дрожащая от страха, встала, попросила Кирюху запрячь лошадь, которая мирно жевала колосья у дороги, не подозревая, что придется ей везти в последний путь своего хозяина.

Схоронила Настя Ивана и затосковала. Даже полоску свою убирать не стала, отдала исполу соседу. Знала, что еще на целый год хватит ей зерна, напрятанного Иваном в многочисленных тайниках.

Молилась и плакала...

Только тосковала она не о муже. Не могла себе про-

стить, что не попрощалась тогда с ним, грубо обошлась — знать, бог наказал их обоих, что жили не по-христиански, от людей прятали добро.

И Настя стала раздавать все накопленное Иваном — родственникам, близким. А потом — и совсем чужим людям.

Однажды она пришла в Совет и сказала:

— Я отдаю голодающим пять мешков зерна. Пришлите подводу.

Председатель сельсовета вытаращил на нее глаза, знать, подумал, что сошла баба с ума после смерти мужа.

— Этот хлеб муж прятал, а я отдаю его. Пришлите подводу.

Уже открывая дверь, Настя услышала шепот секретаря: «Это сестра Ревякина».

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Мимо скудных, выгоревших от засухи ржищ, по пышущей августовским зноем дороге быстро проскакал конный отряд, за ним следом промчалась тройка, впряженная в тачанку. Потом потянулась конница в пестрой одежде и с пестрыми подушками вместо седел.

Это Антонов со своей дружиной объезжал села, которые на сходках, проведенных Плужниковым, присоединились к «Союзу трудового крестьянства». Это был парад, после которого в каждом селе выносились «приговоры» с требованием созыва Учредительного собрания и осуждением советской власти. А к арьергарду пестрой конницы подстраивались добровольцы, у которых нашлись и лишняя лошадка, и спрятанный под стрехой обрез.

Антонов сам зачитывал на сходках обращение нового председателя Губисполкома Шлихтера о продразверстке и издевательски комментировал каждый пункт. Потом, насмешливо улыбаясь, спрашивал сход: «Ну так как же, мужички, урожай у вас богатый — отдадим последний хлебец Советам?»

Мужики оглядывались на «дружину», окружившую их, и нехотя отвечали: «Да чего там баить-то! Одной лычкой связались...»

И Антонов радостный ехал дальше.

А тем временем мелкие отряды по указанию антоновского палача Германа громили сельские и волостные Советы, убивали, грабили, жгли.

Часто под видом продотряда они собирали сельских активистов и всех уничтожали где-нибудь за селом, подальше от глаз народа.

В Иноковку поехал сам Токмаков, чтобы отомстить за сожженный дом, за арест жены, за свой испуг во время пасхальной облавы.

Оставшись за селом с двумя телохранителями, Токмаков послал отряд во главе с переодетым под продкомиссара Сидором Гривцовым. После этой операции он обещал отпустить Сидора в свои края для организации собственного отряда, даже обещал ему на дорогу охрану — двух кривушинских дезертиров.

Сидору легко было разыграть роль — он уже побывал продагентом Пресняковым, чуть ли не поплатившись жизнью за свое «рвение».

В Иноковке ожидался продотряд, и потому коммунисты села без тени подозрения собрались по требованию продкомиссара в сельский Совет.

Их было семнадцать человек. Всех их закрыли в темный чулан; выводили по одному в сарай и отрубали головы артиллерийским тесаком, взятым специально для этого случая. К середине казни явился и сам Токмаков. Брызжа слюной и сверкая маленькими колючими глазами, он выкрикивал скверные ругательства, бил жертву кованым сапогом по лицу, потом сам лично отрубал голову.

Сидор стоял в сторонке и с жадным любопытством наблюдал за расправой. «У меня своих врагов полно в Кривуше. Поберегу силы для них»,— злорадно думал он, оправдывая свою пассивность.

О трагедии, разыгравшейся в сельском Совете, жители Иноковки узнали только тогда, когда Токмаков с отрядом ускакал из села, подпалив по пути дом председателя Совета.

Привозили мужики с поля тощие снопы, узнавали новость и гнали лошадей в галоп к Совету.

— Не даст теперь нам покою проклятый Токмак,— почесывая затылки, говорили друг другу и разъезжались

по домам с тяжелой думой о том, что-то еще будет впереди? То поляки, то Врангель, а то и свои...

И полетели в Тамбов телеграммы о мятежах и убийствах из Кирсановского и Борисоглебского уездов.

Председатель Губисполкома Шлихтер созывает чрезвычайный исполком. При Губчека создается оперативный штаб по руководству борьбой с бандитами.

В Кирсанов и Борисоглебск были посланы боевые части.

А зеленая чума все ползла и ползла, обтекая села, в которых стояли красные части. Антонов и Плужников завязывали крепкий узел круговой поруки над судьбами крестьянских семей.

Сидор появился в Кривуше вечером.

В сумерках плыла тихая задумчивая песня со стороны коммуны. Где-то неподалеку тонкий бабий голос ругал пастуха за потерю овцы.

«Ишь живут себе,— подумал со злостью Сидор.— А я мечусь. Ну, подождите у меня!» Миновав ручей, он свернул на тропинку, ведущую по задам к дому Митрофана Ловцова.

У риги остановился, прислушался.

Приглушенный кашель за плетневой стеной настороожил его. Сидор перекрестился, сунул руку за пазуху, встал за угол, наблюдая.

— Митроша? — тихо позвал он человека, вышедшего из риги.

Митрофан трусливо охнул и выронил из рук кошелку.

— Чего так испужался? — подошел к нему Сидор.

— Дядя Сидор! Здравствуй! Ну и наполошил ты меня.

— Тише говори-то. Как живешь, как здоровьице? — торопливо осведомился Сидор.

— Ничего, слава богу, поправился. За тебя, спасителя моего, бога молю, чтоб ты жив-здоров был.

— Мать как? Управляется?

— Да что ж, погоревала-погоревала, а жить надо и дела делать надо. Забываться стала. Все меня пилит: женись да женись...

— Не время жениться,— строго вставил Сидор.— Расея мужицкая гибнет, а она жениться!

— Что слышно-то, дядя Сидор? Неужели поляки с Врангелем задавят нас?

— Это кого нас?

— Ну, Расею нашу...

— А их, Расей-то, Митроша, стало две. Ай не знаешь? Поляки и Врангель за нашу Расею против Советов и коммунистов. Ну да тут не место растабарывать. Я ведь за тобой пришел.

— Как за мной? Куда? — испугался Митрофан.

— Ты мне жизнью обязан. Куда скажу, туда и пойдешь.

— А как же мать-то? Хозяйство кто же держать будет?

— А мое хозяйство кто держит? — зловеще прошипел Сидор.— Моя семья где? Молчишь?

— Зачем я тебе нужен, дядя Сидор? Подраненный я, не оклемался еще как следует.

— Не оклемался? А хлебец уже свез с поля. Скоро молотить будешь? Может, меня в батраки наймешь? Обмолочу тебе исполу.

— Да что ты, бог с тобой, дядя Сидор. Не виноват я в твоей беде. За спасение спасибо, бог даст — и я тебе пригожусь в чем, только никуда я не пойду.

— Не шуми на улице, пойдем в дом, поговорим с матерью.— И Сидор зашагал к дому, где едва светилось окно во двор.

— Нельзя в дом, нельзя,— умоляюще кинулся Митрофан за Сидором.— Панов там, из продотряда. На квартиру ко мне поставили.

— Панов? — задыхающимся хрипом выдавил Сидор и кошкой метнулся к окну.

Панов сидел у окна, записывая что-то в тетрадку. Сидор несколько мгновений оцепенело смотрел на его красивое юное лицо, вспоминая все беды, которые пришли в его семью от этого человека, потом вынул руку из-за пазухи и, забыв об осторожности, выстрелил в освещенное окно.

Зазвенело разбитое стекло... Митрофан увидел, как Панов ткнулся лбом в стол и затих. Услышав исступленный голос матери и выстрел часового у соседнего дома, Митрофан кинулся бежать со двора, плача и бормоча молитвы.

Сидор догнал его, схватил за руку.

— Куда бежишь, дурья голова,— прошипел он,— расстреляют они тебя все равно. Теперь тебе один путь — со мной. Бежим.— И он дернул его за руку, направляя к оврагу.

— Да ведь раздетый я,— размазывая по лицу слезы и трясясь от страха, прошептал Митрофан.

— Оденем с иголочки! Польский мундир раздобудем! Ну! Хватит дрожать-то! Бежим.— И снова дернул за руку.

Митрофан послушно побежал за Сидором.

2

Коммунарам стало веселее под защитой отряда, но вечерами бабы понемножку готовили узлы на всякий случай. Настойчивые слухи о том, что объявился в округе Сидор Гривцов, а Карась набрал целое войско конных дезертиров, не давали людям спокойно спать. Днем коммунары молотили хлеб, а вечерами собирались в квартире Андрея.

Однажды Андрей собрал к себе всех коммунистов. Случилось что-то серьезное — об этом догадались коммунары уже по тому, что почти весь продотряд был выставлен на ночную охрану коммуны.

— Я получил распоряжение из уезда эвакуировать детей и женщин в Тамбов, в дом пострадавших коммунаров. Мужчины вместе с продотрядом будут охранять хлеб. Оружие уже привезли. Приказ — держаться, пока хватит сил.

— Да как вы будете держаться-то,— крикнула бойкая жена Андрея Филатова, Дарья.— Вас тридцать, а у Карася с Сидором целый полк. Все на конях, да с обрезами, да с пулеметьями.

— Ты откуда знаешь? — огрызнулся Андрей на Дарью.

— Мне Кудияриха рассказала, она в Падах была. Говорит, Сонька-то, Макарова дочь, из Светлого Озера, за Карася замуж вышла. Разодел он ее, как мужика, в галифе красные. А в ушах серьги золотые и перстень на руке.

— Врешь! — вдруг со злостью сказала Аграфена.— Не могёт быть. Ее Кланька моя осенью видала. И говорила с ней. Мучится, говорит, баба, страдает от позора. На такое не пойдет она.

— А вот пошла, значит,— упорствовала Дарья.— Кудияриху спроси.

— Тише, товарищи! Хватит лясы точить! — одернул баб Андрей.— Дело серьезное, а вы раскудахтались. Так вот... Полк ли, рота ли — нам пока неизвестно, а приказ — охранять. Женщины и дети, я думаю, кто, может, и к родным в Кривушу пристанут, чтобы в Тамбов не ехать. У Аграфены вон внучек болеет. Куда ей сейчас с Кланей в дорогу! В Кривуше отсидятся. Баб небось не тронут.

Бабы загомонили, засморкались.

— Как же мы вас тут одних оставим? — крикнула Дарья.— На смертушку? Пусть одни продотрядчики охраняют!

Долго сидели, спорили, доказывали друг другу, а расходились — каждый со своим горем, со своими думами.

Ефим с Авдотьей за весь вечер не сказали ни слова. Оба были убиты известием, что Сидор — их мучитель и супостат — где-то рыскает по уезду и уж конечно точит на Ефима нож.

Когда все разошлись, Ефим подошел к Андрею.

— Ты, Андрюша, скажи по чести, правда аль нет, что Сидор объявился?

— Митрофан кому-то проговорился, что Сидор раненого его подобрал. А теперь, видать, Сидор его и прибрал к своим рукам. Не мог Панова сам Митрофан убить. Сидорова работа...

— Откупился, значит,— сокрушенно вздохнул Ефим.— Я же говорил: все, кто с золотишком, откупятся и в городах засядут. У них там старых друзей-приятелей полно.

— Брось молоть-то! Со страху злишься. Панька твой с Кланькой в городе определились тоже за золотишко?

— Панька мой — другая статья.

— Ну вот и не клепай на советскую власть. Один Сидор Гривцов ускользнул от кары, а ты уж всех разрисовал! Струсил, что ли?

— Да ты что на меня орешь-то? Что бы я да струсил! Хоть к пулемету, хоть к орудию! А злость-то берет: в ру-

ках вражина был, упустили! И Тимошку упустили бы, истинный бог. Сердце мое чуяло.

— Ну ладно. Иди у Сергея Мычалина винтовку получи...

— А Машу с ребятишками в город отправь, Андрюша, и Авдотью с моими тоже. Там Васятка об них порадеет. Своих будешь отвозить и наших возьми.

— Ты слушай меня... Иди получи винтовку. Будешь завтра сам сопровождать в Тамбов женщин и детей. Отец мой тоже с тобой поедет. До станции проводят вас двое бойцов из отряда. Они вернутся с подводами, а вы дальше поедете поездом. На подводах до Тамбова нельзя. Большак оседлал Карась. Поедете на север, к станции.

— Это почему же я? Сам трусом называл, а теперь с бабами меня отправляешь?

— Ты завхоз, твой долг. А потом... Сидор на тебя очень зол, нам невыгодно тебя тут держать. Понял?

— А-а... понятно.— Ефим совсем помрачнел.

— Возьмешь с собой денег на расходы. Выезжать на заре. Иди, собирай людей в дорогу.

Ефим сгорбился, словно его чем-то очень глубоко обидели, и торопливо вышел.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

В Каменку, где находился губком СТК («Союза трудового крестьянства») и откуда с благословения батька Плужникова начал Антонов движение своих «войск», был послан усиленный отряд чекистов и милиции из Тамбова. Пока отряд добрался до Каменки, Плужников укрыл губком и охрану в подземелье, выкопанное еще в девятнадцатом году по всем правилам шахтерского искусства: с потайными ходами в погреба и с выходами к глубокому оврагу. В этом подземелье могло укрыться более ста человек, там было заготовлено много провизии на случай «отсидки».

Чекисты поймали в селе лишь нескольких дезертиров, поговорили со стариками, которые на вопросы отвечали больше жестами, чем словами, и с тем вернулись, доло-

жив, что в Каменке незаметно никакой «столицы» антоновских войск.

А в это время, разбившись на две группы, бандиты вели наступление на крупное село Инжавино, где располагался гарнизон красноармейцев и отряд Чека.

Гарнизон из села отступил. Успех вскружил головы привыкшим к разгулу антоновским дезертирам — они разбрелись по длинным улицам села и начали шумно праздновать победу.

А к станции Инжавино вскоре прибыла бронелетучка. Из Кирсанова подоспел батальон красных курсантов.

Антонов опомнился, когда снаряды бронелетучки уже посыпались на скопление лошадей у его штаба. Он бросил к станции своих отчаянных «гвардейцев», но их атака захлебнулась под огнем пулеметов. Согнав силой жителей Инжавина, он заставил их кричать «ура», а сам под прикрытием мужицких толп незаметно ускакал из Инжавина, кое-как собрав остатки своих «лихих» кавалеристов.

Первая победа и первое поражение!

Антонов был взбешен: «Пьяные свиньи! С ними добьешься великих побед!»

Он даже не захотел возвращаться в Каменку к Плужникову. Офицеру Богуславскому, красавцу, любимцу Плужникова, поручил с двумя полками вернуться на базу, а сам с гвардейским полком, костяком которого были бывшие его дружинники, ускакал на Паревку, где отлеживался у надежных людей его больной брат Дмитрий.

А Плужников не был дураком, он и не рассчитывал на одного Антонова. Во всех волостях и уездах через своих агентов отыскал Плужников головорезов, способных возглавить шайки дезертиров. Эти маленькие вожди — караси, лобаны, дергачи, губаны — никому не подчинялись и ни перед кем не отчитывались за свои действия, если не считать одного неписаного закона — закона круговой поруки.

А в народе обо всех этих шайках говорили просто: рыбак рыбака видит издалека. Говорили потихоньку: боялись и ненавидели.

Было кого ненавидеть.

2

Вместе со своим карай-салтыковским холуем Иваном Семеновым Плужников сидел под липой, склонившейся над рекой, и небрежно забрасывал удочку. Он знал, что Антонов приедет сюда из «столицы» Каменки вместе со своей зазнобой, и потому был не в духе.

Вековые дубы, неохватные сосны стояли, притаившись, по берегам Вороны, и лишь сухие листья нарушали мертвую тишину этих мест — опадая, цеплялись за ветки, казалось, кто-то крадется, ломая ногами валежник.

Но Плужников не боялся — надежные телохранители бродят неподалеку, собирая грибы.

Он и за поплавком не следил — за него это делал Семенов. Батько думал. А думать было о чем. Не нравился ему капризный Антонов. Куда лучше исполнительный и храбрый Богуславский. Даже Токмаков ближе его сердцу — хитрый, выдержанный татарчук. А этот носится со своей славой, как с писаной торбой!

Плужников даже сплюнул в реку. Семенов покосился на него, но промолчал.

Да, но со славой его приходится считаться. Ему нужна слава — черт с ним, бери, а «Союзу» нужна власть и земля. Сам натолкнул на вывод — разделить войско на две армии, с общим штабом. Богуславский — достойный офицер. На этом и стоять будем.

Вскоре из-за поворота реки показалась лодка. Плужников пригляделся. Ну, конечно, с Иркой Горшеневой! Она тихо напевает «Пряху», а он орудует веслом, не спуская глаз с девки. С Косовой Маруськой не растащишь и эту арканит! Щеголь несчастный! Плужников снова плюнул в воду, бросил удочку и встал.

— Подъедет — оставь девку тут. Пусть костер разжигает да уху варит, а его ко мне пошли. Я у барской пристани сяду...

С ненавистью наблюдал он из-за прибрежного куста, как Антонов на руках вынес Ирку на берег. Хлыщ! Бабий угодник!

— Ну что, намяукался, кот? — с нескрываемой досадой встретил он Антонова, весело подошедшего к назначенному месту.

— Все, Старик! Маруську побоку. Пусть с полком

воюет, она кровожадная, а Ирка для любовных дел создана. Ягодка!

Плужников укоризненно покачал головой и продолжал:

— Ну, так вот, Степаныч, дело наше разгорелось не на шутку. Наши комитеты полки сколачивают и отряды. Не ахти какая конница — подушка вместо седла да обрез,— а для счета полезно. Битюковский, Павлодарский, Пахотноугловский, Козловский, Нару-Тамбовский полки уже действуют. Командиры не вояки, а для налетов сойдут. Нам главное — видимость регулярных войск создать. А там, глядишь, поляки амуницию подбросят, да и нам спать нечего — склады громить надо, а не в бои ввязываться... О тебе мы славу по селам пустим: полководец непобедимый! — Плужников взглянул при этих словах на Антонова: ну конечно, расплылся в улыбке, не сдержался.

— А как с ними связь держать? — притворно насупившись, спросил Антонов.

— Вот об этом и речь. Главоперштаб утвердить надо. Держать его подальше от войск. Пусть кочует из села в село по южной границе губернии. Полки на две армии разбить. Бог две руки дал: одну отсекут — второй креститься можно. Богуславский согласие дал второй армией командовать.— И Плужников снова взглянул на Антонова. Перекосило завистника! Но молчит, знает, что люб Богуславский всему губкому.

— А кого в главоперштаб метишь? — С нескрываемой тревогой Антонов уставил свои бесцветные глаза на Старика.

— Тебя начальником.— При этих словах Плужникова Антонов опустил глаза.— Токмакова помощником. Эктова как оперативного штабиста. Ну и мы с Богуславским. Знамена полкам уже заказал, и девиз на них будет: «В борьбе обретешь ты право свое!..»

— Неплохо придумано,— дернулся всем телом Антонов.— Только решить надо, посоветоваться. И вот что... — уже тоном начальника заговорил он,— выработать устав армейских судов. За несвоевременное питье самогона: первый раз — убеждение, второй раз — плети. Для командиров — разжалование в рядовые.

— Я бы совсем ее запретил, да без толку. Тогда всех командиров разжалуем,— возразил Плужников.

— А для острастки судить за это надо. Главное — устав объявить всем, как в настоящей армии.

— Ну, за этим дело не станет. Так ты в основном согласен?

— Не торопи, не торопи, я больше тебя обо всем этом думаю. Свое решение скажу, как приеду в Каменку. Назначь сбор всех командиров полков, тогда и решу. А документы готовь. Поправить будет недолго.

«Кочевряжится еще, шаромыжник»,— с ненавистью подумал Плужников.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Панька отпросился в тот день у начальника штаба съездить в коммуну, проведать жену и сына.

Заехав на квартиру переодеться, Панька увидел открытую дверь и сидящих на узлах мать, Машу с ребятишками и своих младших сестер.

Кланя дала им ключ от квартиры и велела сказать мужу, что, как станет сынишке лучше, она сразу вернется в Тамбов, а пока побудет с матерью в их старом доме.

Выслушав рассказы сестер о событиях в соседних селах, Панька забеспокоился и решил немедленно скакать туда, чтобы Кланю с сыном вывезти из Кривуши.

Мать и сестры стали уговаривать Паньку не ездить, не рисковать, но пришедший из исполкома отец одобрил Паньку и попросил передать Андрею Филатову, что всех разместили в доме коммунаров и его задания Ефим выполнил.

— У меня конь лихой. Через два часа там буду,— с гордостью сказал отцу Панька, выезжая со двора.

— Только ты в объезд скачи. Сначала край Козловской дороги, потом свернешь на Матыру. Поглядывай!

Панька скакал легким наметом, радостно думая о близкой встрече с женой и сыном. Опасность такого свидания возбуждала в Паньке даже какую-то задорную ве-

селость,— он скакал, насвистывая бодрый кавалерийский напев.

Вскоре показались крылья мельницы. Конь легко выскочил на бугор и заржал, почуяв близкое жилье. И, словно в ответ на это ржанье, послышались близкие выстрелы у мельницы.

Панька пришпорил коня и поскакал вниз, к Кривушинскому оврагу. Внизу, у кустов, конь вдруг словно споткнулся —рухнул на землю, Панька вылетел из седла, перевернувшись через голову лошади.

Он оценил обстановку в одно мгновение. Пусть те, кто стрелял, думают, что убит и он. Вставать нельзя, надо уползти в кусты. Превозмогая боль в плече, Панька пополз...

Стрельба со стороны коммуны была все слышнее. Ритмично стучал пулемет. Наверно, отстреливались продотрядчики. Панька сунул руку в карман и оцепенел: нагана там не было.

Пробраться бы к своим, в коммуну, залечь с ними в цепь... И им овладела вдруг смелая мысль: а что, если вдруг встать и зашагать, будто ничего не произошло? Могут принять издали за своего. На нем ведь нет формы.

Панька встал, отряхнулся и пошел в сторону коммуны.

Стрельба все нарастала и нарастала, послышались крики сотен глоток в саду — бандиты наступали.

Вскоре Панька увидел, как за мельницей, на взгорке, заметались фигуры бойцов продотряда, отступавшие в ту сторону, откуда прискакал Панька. Но пулемет все еще стучал в коммуне,— значит, кто-то прикрывал отход.

Наконец все стихло.

Панька остался один!

Совсем недалеко дом Аграфены. Там Кланя и больной сынишка. Как пройти к ним? Как миновать открытые огороды, как войти в дом? А если там бандиты? Перележать в канаве до вечера?

Он свернул к большому кусту, но споткнулся обо что-то и упал. Не успел осмотреться — его уже подмяли под себя двое бандитов.

— Чего так храбро гуляешь? У нас тут засада,— засмеялся старший.

— Ты чей? Местный? — осведомился другой.

— Местный. Чего ж мне прятаться?

— Поведем к Сидору.

— Отпустите, братцы,— попросил Панька.— К больному ребенку и к жене иду. Простой смертный я, как и вы.

— А ну веди, показывай, где жена и сын.

Панька обрадовался решению бандитов — может быть, не поведут к Сидору? Отпустят? Он зашагал к огороду Аграфены, чтобы с подворья подойти к дому.

Дверь с опаской открыла Аграфена. Увидев Паньку, позвала Кланю. Та кинулась к нему в объятия с радостью, но, увидев за его спиной бандитов, заплакала.

— Ну, ты завтра приди сам запишись у Сидора. А то хуже будет,— сказал старший.

Паньку отпустили. С радостью захлопнула Аграфена дверь.

К сумеркам все было готово. Решили, что Панька будет нести ребенка на руках — чтобы не придирались встречные бандиты.

Панька взял на руки завернутого в голубое стеганое одеяльце сына, Кланя надела на руку узел. Идем, мол, к бабке лечить.

Аграфена расцеловала обоих и вывела за калитку...

От плетня вдруг отделились три человека.

— Куда, сучий сын, торопишься?

Паньке голос показался знакомым.

— Отец твой меня на тот свет отправил, а я оттуда вернулся, чтобы за Тимофея поквитаться. Не узнаешь?

Панька узнал голос Сидора.

— Панька! Бежи! — крикнула не своим голосом Аграфена. Она выхватила у него из рук ребенка, кинулась назад в калитку. Кланя обняла Паньку, защищая его своим телом.

— Кланя, уходи в Тамбов... передай дяде Васе,— торопливо зашептал Панька.

— Нет, нет, не отдам! — закричала Кланя.— Петьку убили и Паньку хотите у меня взять? Звери! Бандюги проклятые!

Сидор подошел вплотную:

— Клашка, уходи в дом, добром говорю. Мы с бабами не воюем, а плетей всыплю!

— Звери, звери! Бандиты! — в исступлении кричала она, тиская в объятиях Паньку.

Сидор полоснул ее плетью по спине, рванул за руку. Она бросилась было за Панькой, но Сидор преградил ей дорогу, угрожающе выставив револьвер.

Кланя увидела, как упирающегося Паньку бьют в спину прикладом, и замертво упала на землю у ног Сидора.

2

Утром, исполосованный плетьми, Панька шагал к своей могиле...

Сидор не пожелал сам пачкать об него руки. Отдал падовскому уголовнику — Псёнку.

Странное чувство владело Панькой, словно все было во сне. А зачем в руке лопата? Ах да! Его заставят рыть себе могилу... Жнивье больно накалывает босые ноги — нет, это не сон!

И все равно Панька не верит, что вот сейчас в такой теплый осенний день он умрет, что не увидит больше ни Клани, ни сына.

Он шагал быстро, сам не зная, для чего: то ли надеялся, что отстанут от него эти падовские бандиты, то ли хотел, чтобы скорее все кончилось...

— Не торопись, куманек, пуля все равно догонит,— с издевкой сказал Ванька Псёнок, поправив на плече обрез.— Сенька, пхни его прикладом в зад, что он, оглох, что ли?

Сенька, худенький, длиннолицый блондин, ровесник Паньки, неуверенно толкнул прикладом в спину — чувствовалось, что впервые идет на такое дело.

«Может, дать деру? — мелькнуло в голове.— Пусть пуля догонит и убьет сразу...» Но надежда на какое-то невероятное спасение сильнее отчаяния. На что надеялся Панька — сам не знал. Просто очень хотел жить,— любовь Клани и рождение сына взметнули в нем столько сил и энергии!

Только бы жить...

— Ну, стой, хватит,— небрежно сказал Псёнок.

Панька остановился.

— Торопиться некуда,— продолжал Псёнок.— Полюбуемся, как ты себе могилу копать станешь. Так дядя Сидор велел. Пусть, грит, копает, меня вспоминает, слезьми обливается и за отца прощения просит. А тогда, грит, и убивайте, как вам захочется.

У Паньки вдруг страшная тоска засосала под ложечкой. Он окинул взглядом поле — ничего уже не случится, никто ему на помощь не спешит, да и никто не знает, в какое дурацкое положение он попал и как глупо должен погибнуть.

Панька расслабленно оперся на лопату и покосился на Псёнка. Тот оскалил свои гнилые, прокуренные зубы:

— Что? Ослаб? Тошно от моих слов стало? Не то еще будет... Я умею шабашить! Читай молитву, коль не забыл.— Он вынул кисет, стал свертывать цигарку.

Панька никогда не видел более ненавистного лица. Он опустил глаза и увидел вмятые в землю острием лопаты короткие стебельки ржаной соломы...

Мысль работала лихорадочно быстро... Лопата!.. Это же оружие! Убить хоть одного ненавистного Псёнка! Я вам, гады, легко не дамся!

Панька, не поднимая головы, удобнее взял черенок лопаты.

Послышались удары о кремень — Псёнок высекал огонь.

В безумном порыве борьбы за жизнь Панька взмахнул лопатой и с диким криком рубанул железным острием по голове Псёнка. Все это произошло в одно мгновение. Сенька с испуга выстрелил мимо и, увидев, как рухнул на землю окровавленный Псёнок, а Панька занес уже лопату над ним, метнулся в сторону и бросился бежать.

Панька вытащил из-под убитого обрез, выстрелил в Сеньку, но промазал. Он весь трясся, словно в лихорадке, хотя мысль работала четко. Без упора не попасть. Он упал на живот возле тела Псёнка, положил на него обрез и снова выстрелил.

Сенька схватился за плечо, осел на землю.

До крови исколов жнивьем свои ноги, Панька подбежал к Сеньке.

— Не убивай, Паня, милый, добрый, век буду за тебя молиться. Ты и так ранил меня... Возьми с меня все, только не убивай. Насильно меня Псёнок... не хотел я. Возьми меня с собой, куда ты, туда и я...

— А не подведешь, гад?

— Богом и матерью клянусь.— Сенька перекрестился.

Панька разрядил Сенькин обрез, швырнул его далеко в сторону.

— Счастье твое, что руки у меня от злости тряслись, легкой царапиной отделался, а то бы припечатал к поминанию. Вставай, пошли.

К вечеру бандиты нашли труп Псёнка.

Взбешенный Сидор бросился к дому Аграфены.

— Панька забегал сюда? — брызгая слюной, закричал он на Аграфену, кутающую в пеленки внука.

— Когда? — с радостным предчувствием спросила она.— Отпустили, что ли?

— Я вам отпущу, паразиты беспортошные! На краю света сыщу беглецов! Говори, паскуда, куда он мог убежать? — подступил он к ней, взмахнув нагайкой.— В каком селе родичи? Ну?

— У нас во всех селах родичи, не как у тебя! — ответила Аграфена.

— На тебе, корова, родичей! — хлестнул ее Сидор нагайкой по плечу.— Говори, куда Клашку спрятала? Ее заложницей возьмем!

— Ты чего с бабой-то воюешь, слюнтяй,— вдруг отпихнула она его от себя так сильно, что Сидор чуть не упал.

— А-а, краснюки проклятые! — взревел Сидор.— Дьявольское племя! Еще драться со мной?! — Он выстрелил в нее из нагана, кинулся к ребенку.

Аграфена не упала. Медленно развернулась, опустив руку, нащупала донце, взмахнула, но ударить не успела,— двое бандитов, сопровождающих Сидора, в упор выстрелили в нее из обрезов.

Сидор, обезумев от страха и мести, выпустил в плачущего ребенка все оставшиеся в нагане пули и диким голосом крикнул своим спутникам:

— За-па-ливай! Жги проклятых!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Двадцать восьмого сентября Василий Ревякин был вызван к председателю Губисполкома.

Убеленный сединами большевик Александр Григорьевич Шлихтер разговаривал с кем-то по телефону. Жестом пригласил Василия сесть.

— Да, вот Ревякин уже явился. Чекисты пунктуальны. Жду вас.— Он повесил трубку и усталыми глазами стал изучать лицо Василия.

— Партия поручает вам, товарищ Ревякин, особо важное задание. Вот телеграмма Владимира Ильича Ленина. Прочтите.

Василий взял телеграмму, подписанную Лениным.

«Ввиду создавшегося катастрофического положения поступлением хлеба, наличность запасов на Западном фронте — два, Москве и Петрограде — один день, приказываю напряжением всех сил, использованием всех средств губернии, не позднее первого октября фактически загрузить, отправить Москву адрес наркомпрода поименованных отправок два маршрута с хлебом, тридцать пять вагонов каждый с специальными проводниками... № 198.

Предсовнаркома Ленин».

— Вам ясно, насколько ответственна задача?

Василий вернул телеграмму, молча кивнул.

— Уполномоченным Губисполкома поедет губпродкомиссар, а вы с отрядом будете сопровождать его до Староюрьева и обратно. Почему Староюрьево — вы должны сами догадаться. Этот район еще не подвержен зеленой чуме, там меньше эсеров и беднее, а значит, и отзывчивее народ. Будете помогать во всем, вплоть до погрузки хлеба. Пошлете из отряда своих проводников до самой Москвы. Заготовьте им документы. Будьте осторожны в пути. Хотя вы и имеете уже опыт борьбы с бандами, почему мы и остановились на вашей кандидатуре, но предупредить считаю нелишним. Задача понятна?

— Понятна, товарищ председатель. Разрешите идти готовиться?

— Идите. Сейчас придет ко мне губпродкомиссар, мы условимся о точном времени отъезда. Будьте готовы каждую минуту. Сами видите — срок два дня.

Василий попрощался и вышел из кабинета. Только тут, за дверью, не стесняясь секретарши, он глубоко и шумно вздохнул, словно не дышал, сидя в кабинете...

Двое суток без сна, без передышки работал отряд губпродкомиссара Гольдина в Староюрьеве по отправке двух эшелонов хлеба по тридцати пяти вагонов в каждом. Пока грузили хлеб из элеватора, Василий с отрядом метался по соседним волостям, организуя обозы хлеба, ибо зерна в элеваторе едва хватило на один маршрут.

Когда последний вагон был опечатан, все облегченно вздохнули.

Гольдин подошел к Ревякину:

— Победа, товарищи! Иду давать телеграмму Шлихтеру! И — в путь. Ты, Ревякин, с остатками отряда возвращайся в Тамбов, а мне приказано самому явиться в Москву с хлебом. Вашему отряду разрешили отдыхать целые сутки. Так что ты можешь даже заехать вместе с отрядом в коммуну, повидаться с семьей.

Василий радостно подал руку комиссару.

Отдохнуть в селе, в коммуне, где можно отоспаться и хотя бы наесться досыта,— эта перспектива обрадовала каждого бойца отряда.

2

Скакали, напевая песни, словно и не было усталости.

Сокращая путь, взяли прямо на юг. Вот уже миновали Глазок, проехали Никифоровку. Остановились на водопой у речушки Сурены.

С ветхого мостка сошел старичок с сумой — видимо, странник — и, сняв рваную шапку, перекрестился.

— Куда, люди добрые, путь держите? — спросил он.

— А тебе что? — крикнул на него один из бойцов.

— А то, голубок, что смута идет по земле. Люди друг друга секут и убивают. Не знаю, кто вы, красные ли, зеленые ли, только там, куда вы едете, войску много...

Бойцы переглянулись, Василий подошел к старику, ведя коня в поводу.

— Мы, отец, красные. Не бойся нас, скажи, какие там войска?

Старик помутневшими глазами осмотрел одежду Василия, остановил взгляд на шлеме со звездочкой и доверительно тихо сказал:

— Зеленые гуляют до самых Волчков.

— А в Кривуше? — нетерпеливо спросил Василий.

— В Кривуше коммуну разогнали, говорят.

Бойцы окружили старика, тревожно зашептались.

— Убили кого-нибудь из коммунаров? — с тревогой спросил Василий.

— Этого не знаю. На хуторе мне баяли про коммуну. Доехайте, прознайте сами. Там зеленых нет.

Василий вскочил на коня, поправил снаряжение.

— Спасибо, отец, что сказал.— И взял с места в галоп.

Дорога пошла хуже. Моросил дождь, и потому Василий торопился.

Перед Светлым Озером, на взгорье, резко осадил коня и приказал:

— Отсюда видны все дороги. Трое — ты, ты и ты — останетесь на дозоре. А мы заедем на хутор.

У первого же дома спешился, постучал в окошко.

В дверь выглянула молодая женщина. Увидев военного, она испуганно вскрикнула, перекрестилась. Потом, узнав Василия Ревякина, улыбнулась и подобострастно спросила:

— Ты к Соне, что ли? Она...

— Нет, нет,— перебил ее Василий,— ты про Кривушу чего знаешь? Старик нам по дороге встретился. Говорит, там банда. Правда это?

— Правда. Карась там с Сидором Гривцовым третий день пануют.

— С коммунарами что?

— Говорят, все в Тамбов убежали. Аграфену убили только. Она дома оставалась.

— А еще что слышала?

— Туда наши ходить боятся. Один Макар ездил. Евойная Сонька-то, слыхал, что отмочила?

— Что? — насторожился Василий.

— За Карася замуж вышла! Бандитка стала, красные галифе надела.

— Неужто правда?! — удивился Василий.

— Не веришь — к отцу заехай, он сидит дома.— Она обиженно отвернулась и хлопнула дверью.

Василий опустил голову, зажмурил глаза и ясно увидел Соню в красных галифе.

Он молча сел на коня и через весь хутор галопом — к дому Сони. Спешился.

Окна забиты накрест тесинами — значит, дом пустой. Бандитка! Соня — бандитка! Карась убивает людей. Она равнодушно смотрит на это, а может быть, и вместе с ним!..

В бешенстве Василий подскочил к окну, рванул тесину, другую... Кулаком разбил переплет. Зазвенело стекло. Заглянул внутрь — жильем давно не пахнет.

Из-за угла дома вдруг выглянул курносый конопатый мальчишка в нахлобученной на глаза шапке.

— Дядя! Это дом бандитки. — Пацан скрылся так же быстро, как и появился.

Василий посмотрел на камышовую крышу и вспомнил: когда он впервые стоял с Соней на крыльце, дождь стучал по железной крыше. Да уж не ошибся ли домом? Нет, не ошибся, вон она, железная крыша, над крыльцом.

Сейчас идет мелкий дождичек — не слышно, как стучит о железо, а тогда барабанил громко, радостно, и сквозь его дробный шум слышались ее слова: «Заходи, не бойся, бандитов нет. В доме давно мужиком не пахнет».

Василий сел на коня, подъехал к стене дома со стороны двора, откуда не видно хутора. Из большой зажигалки, подаренной кирсановскими литейщиками, выплеснул остатки бензина на камыш и чиркнул колесиком об кремень.

Мгновенно вспыхнуло пламя. Шипя и облизывая сырые камышины, оно поползло в стороны...

Все это он проделал в каком-то неистовом забытьи, которое бывает у человека в моменты огромного душевного потрясения.

— В Тамбов,— тихо приказал он бойцам и пришпорил коня.

Вымахнув галопом на взгорок за хутором, где стоял дозор, Василий остановил коня и, сам не зная для чего, снял шлем.

Бойцы повторили его жест, даже не догадываясь о том, что это значило, а спрашивать сейчас они не решались.

С неба тихо опускался мелкий осенний дождик, где-то прогремел, словно гром, орудийный выстрел.

С взгорка хорошо был виден стоящий на отшибе от хутора дом, который пылал огромным багровым костром.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Большие хлопья снега медленно оседают на все, что встречается на пути: на испачканные кровью руки бандитов, на пропотевшие насквозь от дальних переходов буденовки красноармейцев, на следы конских копыт, изрябивших, словно оспой, все поля и дороги; оседают на неубранные копны ржи и брошенные в поле трупы...

Падает равнодушно снег, тает, впитываясь в сырую ноябрьскую землю, а где-то падают подкошенные свинцом жизни... Впитает и их когда-то мать сыра земля, как эти снежные хлопья...

Смотрит Панька, как исчезает снег во влажных комьях пашни, и думает тяжелую думу о страшной гибели сынишки и тещи. Лежат обугленные трупы под пепелищем, и некому даже предать их земле. Не дает Паньке покоя мысль, что своим спасением он погубил две дорогие ему и Клане жизни. И как ни убеждает его Кланя, как ни оправдывает себя он сам,— нет покоя душе. А руки до боли тискают гранату и револьвер, спрятанные в карманах.

— Хватит тосковать, братишка,— подошел к Паньке молодой бравый командир латышских стрелков Альтов, за которым Панька прискакал по приказанию командующего Сампурским боевым участком Маркина.— Скоро покончим с бандюками. К невесте вернешься о орденом.

— Моя жена со мной,— ответил Панька.— Медсестрой в Рязанском батальоне. Сынишку-малютку у нас убили бандиты в селе... И сожгли.

Альтов нахмурился, молча потряс Паньку за плечо:

— Крепись, братишка! Мстить надо!

2

Маркин был недоволен результатом боев в Понзырях и Верхоценье. Бандиты ушли безнаказанно и теперь готовят нападение на Ивановский совхоз, где коммунисты кормят и охраняют триста отборных кровных лошадей.

Командующий боевым участком уже показал свое военное мастерство и личную отвагу в Кирсанове и Рассказове. Теперь ему предстояло выправить положение на третьем боевом участке — в Сампуре.

В штабной вагон собрались все командиры.

Маркин сразу, без предисловий, приступил к делу.

— У нас под охраной два элеватора, полные хлеба, несколько складов кооперации с кожевенными товарами и мануфактурой. В десяти километрах конесовхоз. Антонов рвется к этим богатствам. Он решил создать регулярные части. Прошу подойти к карте.

Познакомив с данными разведки, командующий изложил свой план обороны:

— Рязанскому батальону занять позиции у элеваторов. Коммунистическому отряду Матвеева охранять склады и пакгаузы на станции. Рота двадцатого полка должна немедленно выступить в Ивановский совхоз. Латышским стрелкам Альтова стоять в Дмитриевке в резерве. Бронелетучке Саленкова — курсировать между вокзалом и первым элеватором. Во время боя обстреливать район Петровское. Бронелетучке Мачихина ходить от второго элеватора до Чакино, обстреливать Хитровский участок. Вопросы есть? Предложения?

Командиры взяли «под козырек»:

— Все понятно!

— По местам, товарищи командиры. Не терять ни одной минуты.

Заметив в дверях адъютанта Олесина, Маркин насторожился:

— Что случилось?

— Эскадрон в двести сабель с пиками прибыл из тульской Губчека!

— Задержитесь, товарищи командиры. Познакомимся с туляком. Зови, Олесин, командира.

В купе вошел кавалерист в буденовке, доложил о прибытии.

— Сколько времени эскадрону нужно на отдых? — спросил Маркин.

— Сутки, товарищ командующий.

— Что? Вы с ума сошли! Через полчаса двинетесь в Ивановский конесовхоз. Вечером ожидается бой.

3

К полуночи подул сильный ветер, взвихривая сырой снег. Сквозь пелену едва слышно донесся одинокий орудийный выстрел.

Маркин быстро очнулся, поднял голову с жесткой подушки, выглянул в вагонное окно. «Неужели в такую метель пойдут?»

Зазвонил телефон. Командир бронелетучки Саленков докладывал о прорыве заставы со стороны Хитровки. Орудийный выстрел послышался у конесовхоза.

Командующий приказал Саленкову вести обстрел и, бросив трубку, выскочил из вагона.

Перед ним, как из-под земли, выросла фигура Паньки.

— Ни черта не видно! — заругался Маркин.— Олесин, скачи в Рязанский батальон. Мой приказ: беречь патроны. Подпускать врага ближе, не палить в метель. Без приказа не отходить, держаться насмерть! В пешем строю бандиты — не вояки. Скачи! — И уже вслед крикнул: — Если нужно, останься там!

Он вспомнил, что жена адъютанта служит медсестрой в Рязанском батальоне.

Маркин вернулся к телефону. Обстановка прояснилась. Антоновцы наступали с двух направлений. С юга,

со стороны села Петровское, они обрушились на Ивановский конесовхоз (там действовал Богуславский, только что назначенный оперштабом бандитов командующим армией). С севера, из района Хитровки, на станцию обрушился Токмаков.

Стрельба слышалась все ближе и ближе. Участились орудийные раскаты: это бронелетучка обстреливала южный район.

Сидеть у телефона было теперь бесполезно. Маркин оставил в купе начальника штаба, приказав ему резерв отважных латышских стрелков послать к конесовхозу.

К вагону гнал галопом верховой.

— Кто?— резко спросил Маркин, выхватив револьвер.

— Посыльный с вокзала. Нас окружают.

— А пулемет почему молчит?

— Пулеметчика убило.

— Слазь с коня! — приказал Маркин.

Легко вымахнув на седло, он поскакал к вокзалу.

У пулемета возился какой-то бородач. Оттолкнув его, Маркин развернул пулемет на выстрелы и крики. Мокрое холодное тело пулемета вздрогнуло и забилось в горячем гневе. Крики бандитов смолкли, но пули все еще летели из невидимого за метелью пространства.

— Батальон коммунистов! — крикнул командующий.— За мной! Вперед! Бей бандитов!

Бородач схватился за пулемет рядом с рукой командующего, и они покатили его по слякоти вперед, навстречу метели и выстрелам. За ними бежало не более десятка красноармейцев из охраны вокзала.

В это время рязанцы вели горячий бой у элеваторов. Антоновцы, оставив коней в Периксе, наступали пешим строем. Они разворотили один из путей, по которому шла бронелетучка Мачихина, и кинулись к элеваторам. Мачихин спешил свой отряд и ударил пулеметным огнем во фланг бандитскому наступлению.

Пьяные бандиты, изрыгая похабные ругательства, лезли на рязанцев. Они уже были совсем близко. Бойцы, залегшие в промозглую слякоть, дрожали от холода и страха.

И вдруг сзади цепи послышался слегка охрипший, но звучный голос командующего:

— Борцы революции! Ни шагу назад. Вперед, только вперед! — Маркин вырвался туда, откуда летели пьяные ругательства, и бросил одну за другой две гранаты.

Панька Олесин с Кланей были на фланге батальона, но ветер донес и до них крик командующего.

Паньку словно подбросило какой-то могучей горячей волной. Он вскочил и побежал вперед.

— Ура-а! Братцы! Ура-а! — закричал он в исступленном порыве, забыв обо всем на свете.

Но цепь не поднималась.

— Что же вы, ребята? — с укором крикнула Кланя в цепь.— Ну, родные! Вперед! — И кинулась за Панькой, придерживая санитарную сумку.

— Ура-а! — прокатилось по цепи сначала неуверенно и тихо, а потом, когда Панька бросил гранату и еще раз громко крикнул: «Братцы! Бей бандитов!», «ура» понеслось, схваченное и усиленное ветром, мощно и грозно.

Командующий пропустил цепь вперед, подбежал к пулеметчику:

— Ты чего лежишь? Чего ждешь? Вперед! За цепью вперед!

Бандитов гнали до самой Периксы.

Кланя потеряла из виду Паньку, она едва поспевала за бойцами, которых неудержимо влекло вперед радостное чувство победы.

А Панька уже ворвался в первый дом села и хриплым от бега голосом крикнул:

— А ну кто тут который?— Он и сам не знает, как всплыли в памяти эти отчаянные слова Петьки Куркова, но он их произнес именно так, как должен был бы произнести Петька,— сурово, беспощадно, героически.

Плешивенький мужичонка упал на колени, снял шапку и заплакал:

— У меня вороного мерина взяли бандюки проклятые, а серка паршивого мне бросили, поскакали они на Кензари край речки. Догони, солдатик, отбей у них мово вороного. Такого век не наживу. Без него я с тоски подохну!

Панька с досадой махнул рукой и выскочил из дома...

Ивановский конесовхоз горел, подожженный снарядами. Несколько часов длился бой. Латышские стрелки под командованием беззаветно храброго Альтова подо-

спели вовремя. Они ударили бандитам в тыл, и те от неожиданности стали разбегаться куда попало, бросая все, что тащили с собой в обозе.

Было там и несколько подвод, груженных сахаром. Этот сахар Богуславский награбил на Покровском заводе; мечтал попутно воспользоваться лошадьми в Ивановке. Да не удалось...

На другой день, 6 ноября, Маркин доложил Тамбовскому военному совету о ходе операции и результатах боев. Свыше ста убитых бандитов и более двухсот раненых, много трофеев. Отличились в боях многие командиры и красноармейцы... В списке отличившихся были имена и супругов — комсомольцев Олесиных.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Когда Сидор привез Митрофана в Воронцовский лес, тот опешил, увидев, как привольно живут в лесной тиши люди... Неподалеку от землянок стоят коровы, которых доит какой-то бородатый толстяк. Тушу барана разрубают и бросают куски в большой котел, похожий на церковный колокол.

В костер подкладывает сухой валежник красивая женщина в красных галифе.

Всмотрелся — Соня! Макарова дочка! Зачем она здесь? Неужели не боится?

— Ты смотри,— предостерег Сидор.— Она теперь Карасева краля. Самогонку пьет чище мужика.

У штабной землянки сидел часовой, дымя самосадом.

— Сам где? — спросил Сидор у часового.

— Дрыхнет. День ангела справляли, перебрали малость.

Сидор подвел Митрофана к костру, рассказал Соне, кого привел в отряд.

Соня придирчиво осмотрела мешковатую фигуру Митрофана, улыбнулась.

— Гвардеец? — спросила у Сидора.

— Трус первейший, а не гвардеец. Отец тележного скрипа боялся, а этот и сам себя боится.

— Это правда? — Соня ласково посмотрела на Митрофана.

— Правда,— опустив голову, сказал он.— Я трус. Из-за этого меня даже убивали. Дядя Сидор спас.

Сидор рассказал все, как было. Соня слушала, поправляя в костре угли под котлом.

— Оставь мне его помощником, дядя Сидор,— попросила она.

— А что ж... К строю совсем непригодный. Бери на кухню. Только служить он и мне будет! Идет?

— Твой он и будет, не беспокойся,— с улыбкой подтвердила Соня.

И началась у Митрофана лесная привольная жизнь. Лишь тоска по оставленной в беде старухе матери омрачала его дни, но Соня эту тоску заслонила собою.

Случилось так, что весь отряд ускакал на митинг в Большую Липовицу, куда приехал антоновский оратор Ишин.

Кроме охраны, никого не было. Соня позвала Митрофана в мелколесье за валежником, да так и прилипла сама к нему, будто любила всю жизнь. От ее горячих поцелуев совсем ошалел Митрофан, даже не замечал винного противного перегара.

Боязливо держа ее в объятьях, он дрожащим голосом тянул:

— Боюсь я, Соня, убьет меня твой...

— Да кто же узнает-то? Глупый. Одна я да моя тоска... Разве я скажу? Ну?..

Это нетерпеливое «ну» сразило Митрофана.

Так и стали они ходить за валежником вместе. Ни у кого даже и подозрения не было, что такой «тюфяк» может увлечь «королевну».

И сам Митрофан, уже привыкший и полюбивший Соню преданной бескорыстной любовью, не мог понять, для чего она связалась с ним, когда в отряде столько удалых красивых парней, готовых ради нее на все.

Да и откуда было знать ему, что Соня искала в нем Василия, который в ласках был такой же вот сдержанный, тихий и робкий, а ее бурная натура только и могла любить стыдливого, тихого мужчину, которому она как бы заменяла и любовницу, и подругу, и мать. Соня даже

пить стала меньше, и лицо ее похорошело от внутреннего ласкового света.

Так бывает — отгорели и почернели уже дрова, упавшие одиноко от костра, но поверни их другой стороной к горячим углям, они вспыхнут и осветят вновь твое лицо.

Соня не хотела верить своему тихому счастью, не хотела обманывать Митрофана...

Однажды она вдруг сказала ему:

— А ты знаешь, что я пропащая?

— Как это — пропащая?

— Казаки меня насиловали во ржe...

— А меня чуть до смерти не убили,— с наивным сочувствием ответил Митрофан. И больше ничего не сказал. Соня поняла, что в его нетронутой душе нет других чувств, кроме добра к людям и жалости к чужому горю, и она еще больше привязалась к нему. Прижималась к его груди и, зажмурив глаза, гладила его волосы, вспоминая свои самые счастливые часы с Василием.

Как-то осенью Митрофан случайно подслушал разговор Сидора с часовым.

Сидор только что вернулся из рейда, был легко ранен в руку. С бешеной злобой он рассказывал, как расправился с Аграфеной и ее внуком за Паньку, убившего Псёнка и убежавшего из-под расстрела вместе с Сенькой.

У Митрофана поднялись волосы дыбом.

Вон она какая, лесная тихая жизнь-то! Для него она только тихая. Совсем недавно кормил он кашей с бараниной и Псёнка и Сеньку, а теперь Псёнка нет в живых, а Сенька у красных. Митрофан никак не мог себе представить, как это Панька мог убежать из-под расстрела, он представился ему богатырем, хотя Митрофан помнил Паньку щуплым, неприметным парнем.

А Сидора Митрофан стал еще больше бояться — у него не укладывалось в голове, как мог застрелить маленького ребенка и женщину человек, который его, Митрофана, спас от смерти, подняв никому не нужного на дороге.

Соня долго плакала, узнав от Митрофана, что случилось в Кривуше.

Карась перевел отряд к кордону, Соня теперь реже встречалась с Митрофаном, да и он как-то стал сторо-

ниться ее,— видно, далеко зашло его чувство к ней и проснулась в нем беспокойная ревность. Она заметила, что Митрофан стал чаще бриться, раздобыл у кого-то красивую кожанку. Даже походка его стала энергичной и твердой.

Близились холода...

Однажды Митрофан зашел на кордон, постучался к Соне в горницу.

Она вышла неубранная, пахнущая постелью и самогоном и кинулась было к нему на шею. Митрофан осторожно снял ее руки с плеч и грустно сказал:

— Муж твой сейчас придет. Теперь нас всех в полк. Он командиром будет, Сидор помощником, а я у них связной. Коня уже дали с седлом. Кончилась моя покойная жизнь. Чует мое сердце, Соня, не встретимся больше. Погибну я. Прощай! В Каменку едем нынче.

— Нет, нет. Увидимся. Я с полком буду ездить. Ни на шаг от тебя не отстану! Слышишь?

Митрофан взглянул на нее. Сколько тоски и страдания было на ее лице! Он озирнулся на окно и схватил ее голову. Жадно целуя, умолял:

— Убежим вдвоем на край света! Ускачем в другую губернию!

— Везде нас, Митроша, найдут и расстреляют. Ведь бандиты мы!

— А ты всегда будешь со мной? Не обманешь? Рядом с тобой я не буду трусом! Убей тогда меня своей рукой, вот этой рукой... Убей, если буду трусом!

И он снова жадно прильнул к ее губам.

2

Над белыми следами полозьев, уходящими к горизонту, висит раскаленный шар. Захару кажется, что мороз стиснул солнце в своих ледяных объятьях и из него уже сыплются искры — так ярко загораются в вечерних лучах мелкие льдинки, оседающие на землю из морозного воздуха.

Захар никогда не любил зимы, а тут залюбовался видом родного села, словно и не лапотная Кривуша впереди, а сказочная деревушка, нарисованная на картинке.

Фиолетовые тени легли от труб на снежные шапки

домов, сизо-малиновые дымки кое-где встали ровными столбами... А раскаленный шар все приближается и приближается к крайней избе, вот он натолкнулся на крышу и будто задержался на миг, опалив крышу золотисто-розовым светом... Ах, как хорошо смотреть бы, радоваться и не думать о том, что ждет тебя завтра.

Мечется Захар по селам, словно хочет убежать от самого себя. Объездил всю волость, разнюхивая, что делается в других сельских обществах, и везде находил одно и то же: молодых мужиков — к Карасю в полк, а пожилых — в комитеты. С обязательством, под расписку.

Попробуй откажись!

Кому хочется голову подставлять зазря, коль еще дел на земле много? Время все перемелет — мука будет. «А если не мука, а му́ка?» Вот от этого-то вопроса и бежит Захар, и мечется по селам. Что-то будет?

В неразберихе смены властей, в непонятных политических спорах, в сумятице насильных поборов (а берут все, кто носит оружие) как тут было разобраться простому мужику, умеющему только пахать, сеять, косить и молотить? Куда ему лучше наступить своим лаптем? Кому угодить, кого лягнуть? С кем посоветоваться, кому открыться, когда человек заходит к тебе в дом в красноармейском шлеме, а выходит грабителем-дезертиром? Когда говорит о свободе, о трудовом крестьянстве, о том, что этому крестьянству трудно живется, а сам берет лучшую лошадь и, оставляя тебе клячу, оправдывается: «Борьба требует жертв»?

В Волчках, говорят, мужики продкомиссара убили, а когда рассмотрели лицо — оказалось: он не коммунист, а барский сынок из соседнего имения. Подделался, чтоб мужикам мстить!

Где правда? Защищаться обществом от «грабиловки» или отдать хлеб и идти за сыном в коммуну и умирать за коммуну вместе с ним?

Сидор так и сказал на сходке: «Моли бога, Захар, что ты вовремя из коммуны удрал, а то быть бы тебе рядом с Аграфеной. За сына не простили бы! Фамилия Ревякина нам ненавистна, потому мы тебя в комитет по уличному прозвищу запишем — Куделин».

Попробуй откажись от комитета, не поставь крестик против новой фамилии — осиновый кол поставят на мо-

гиле. А умирать страшно, особенно теперь, когда пришлась по сердцу молодая жена. Даже сына обещает принести ему Маланья!

Жалко, ох как жалко Васятку! Но ведь никто не гнал его в пекло, сам лез. А теперь куда он денется, когда вся крестьянская Русь, как сказал намедни учитель из Липовицы, против них поднялась?

Ох, погибнет, погибнет, горе-горюхино!

А если все наоборот станется? Как тогда в глаза сыну смотреть? Простит ли он старика?

А главное — в центре-то какая власть?

«Ох, горе-горюхино!» — вздыхает снова Захар, не отрывая взгляда от тревожного, кровяно-красного заката, и погоняет кнутом Корноухого, торопя его к родному двору, где ждет теперь Захара и волнуется не по возрасту ласковая и горячая Маланья...

3

Несмотря на сильные декабрьские морозы, Ефим почти каждый день прибегал на станцию. Толкался среди военных, бродил возле эшелонов, в надежде увидеть Паньку или Клашу. Заговаривал с теми, кто не суетился и внушал доверие. Излагал вкратце всю Панькину историю, потом умолял передать — если удастся свидеться — Паньке Олесину большой поклон от отца и матери и всех родных. Растроганный красноармеец обнимал Ефима, как родного отца, дарил для старухи кусочек сахарцу и обещал всенепременно разыскать Паньку и поклониться ему. Продрогнув у эшелона, Ефим забегал в вокзал погреться и важно подходил к приклеенной на стене газете. Он знал, что к нему сейчас же подойдет кто-нибудь из неграмотных и ласково попросит «зачесть» вслух, что там еще такого «про жисть» пишется.

Это были самые счастливые минуты в жизни Ефима, он чувствовал себя нужным для людей человеком и потому готов был прочесть хоть всю газету.

4

В минуты отдыха Василий любит вспоминать тот вечер, когда после долгой разлуки встретился с Машей... Она не бросилась, как раньше, на шею, не проливала

слез, а жадно и долго целовала его жесткие, обветренные губы. Потом рассказывала, как без него жила... Василий не ждал увидеть ее такой серьезной, такой возмужавшей.

Записку, которую она оставила в Губчека и по которой он нашел ее, Василий возит теперь с собой как дорогую реликвию,— ведь Маша уже сама пишет! Плохо, очень неграмотно, но пишет!

«Васа родной наш иде ти ест мы живом упаньки Маша».

Он был так взволнован этой запиской, что пробежал мимо начальника, не поприветствовав его, за что получил на другой день замечание. Правда, когда Василий показал начальнику записку жены, тот, растроганный, отменил замечание, но все же напомнил, что чекист должен иметь кроме горячего сердца еще и холодный ум.

И тогда Василий открылся начальнику, что семья его чуть не нарушилась, что эта встреча первая после неизвестности и что дом, который он сжег в Светлом Озере,— это дом женщины, когда-то спасшей ему жизнь, а теперь ушедшей в банду.

Начальник Губчека Михаил Давыдович Тонов, высокий худой брюнет, шагал по кабинету, слушая Василия. Потом подошел к нему, положил руку на плечо.

— За искренность спасибо, Ревякин, но скажу откровенно: не нравится мне в тебе слишком большая, я бы сказал, крестьянская чувствительность.— Он сделал еще несколько шагов по кабинету.— Дом сжег зря. В тебе говорила личная месть. Такая роскошь чекисту непозволительна. А женщина эта — по твоему же рассказу — не бандитка. Она несчастна и унижена. Ее еще можно склонить к раскаянию. Она даже сможет помогать нам.

Василий молча посмотрел на начальника, не понимая, к чему клонит он этот разговор.

— Одним словом, в связи с тем, что вы хорошо знаете западную часть губернии, я усиливаю ваш отряд и направляю вас в Волчки. Будете действовать по линии Шехмань, Волчки, Богословка, Большая Липовица. Преграждайте путь плужниковскому «Союзу» в Козловский уезд. Вам придется действовать в родных местах. Поймите это задание как самое суровое испытание вашей

воли. В остальном я не сомневаюсь. Вечером получите приказ и пополнение.

Василий попросил начальника разрешить ему взять в отряд Андрея Филатова, который уже успел оправиться от ранения, полученного при защите коммуны.

Разрешение было получено, и вот уже третий месяц Василий с отрядом кочует по селам, очень близким к Кривуше. Но ни разу не заехал он в родное село. Даже когда нужно было туда заехать, Василий посылал Андрея Филатова с частью отряда, а сам ждал их в соседнем селе.

Конечно, очень хотелось бы склонить голову над могилой матери, постоять на пепелище, где погибли Аграфена и ее маленький внук. Но отец-то... Как смотреть в глаза односельчанам? Ослаб духом старик, поддался на хитрые уговоры Сидора, опозорил сына и внучат. И хотя Василию верят, но так и подмывает его пойти к начальнику и сложить с себя командование отрядом. Зачем возбуждать лишнюю подозрительность у бойцов? А ведь они уже знают, что отец командира — член плужниковского «Союза». Да и начальнику Губчека это известно.

Яростное чувство злобы к врагам невольно распространяется и на отца. Василий даже не знает, как он будет вести себя, если где-то случайно встретится с ним.

Однажды, посылая в Кривушу Андрея, Василий упрямо потребовал:

— Если хоть что-нибудь подозрительное заметишь — арестуй всех членов комитета... Ничего, что старики! Для безопасности так вернее. Отца в первую голову.

Андрей промолчал — он видел, как мучится Василий из-за отца.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Двадцать девятого декабря 1920 года в Тамбов прибыл командующий войсками внутренней службы республики Корнев.

Лично познакомившись с обстановкой в губернии и с командующими боевых участков, выслушав мнения ответ-

ственных работников губернии, Корнев вернулся в Москву, захватив с собой членов Тамбовского военного совета.

Тридцать первого декабря в ВЧК, под председательством Феликса Эдмундовича Дзержинского, состоялось совещание, на котором было принято решение укрепить местные коммунистические отряды ЧОН, создать новые отряды из коммунаров, для чего было выделено две тысячи винтовок. Командующим гарнизонных войск в Тамбов направлялся Павлов.

Через десять дней Павлов докладывал в Москву:

«Москва, Главкому, копия Наркомвнудел Дзержинскому, копия комвойск ВНУС Корневу.

От партизанских действий повстанцы приступили к налаживанию организованной военной силы и гражданской власти. Организация именуется «Союзом трудовых крестьян», руководят ею эсеры...

Гражданская власть — сельские комитеты. Избираются голосованием (поднятием рук) в составе: председателя, товарища его, двух секретарей и члена.

Решительные операции противника ожидаются по сборе всех сил, дней через десять. К этому времени мы закончим сосредоточение своих сил.

Главный контингент военных сил Антонова — дезертиры, их бить можно и должно, что и постараюсь сделать. 11 января 1921 года».

Но Антонов и Плужников торопились. Уже в тот день, когда Павлов отправлял в Москву свой доклад, они бросили свои новоиспеченные «полки» на Токаревку, Уварово и Инжавино, где надеялись приодеть своих «лапотников» и пополнить обоз боеприпасами и провизией, ибо рассчитывать теперь на помощь Польши и Врангеля не приходилось — поляки заключили мир, а Врангель был сброшен в Черное море.

Мужественно и самоотверженно дрались с антоновскими «подушечниками» батальоны красноармейцев, дислоцированные по боевым участкам. Еще более самоотверженно сражались с бандитами коммунистические отряды.

Токаревку героически защищал Первый коммунистический отряд, которым командовал коммунист Иван Иванович Машков. Отряд в двести пятьдесят человек, из которых шестьдесят были коммунистами, долго сдерживал натиск трех полков. Семьи коммунаров и до сих пор помнят своих героических защитников: Андрея Митрофановича Никушкина, Дмитрия Алексеевича Бреднева, Ивана Николаевича Дудина...

В Уварове тридцать семь бойцов отряда ЧОН держались в осажденном каменном здании волисполкома четверо суток. Антоновцы заняли село, дико кричали у здания, угрожая растерзать, если не сдадутся добровольно, но голодные, измученные коммунисты не сдавались. Последние крошки хлеба из карманов, последние капли воды из натаянного льда отдавали тяжело раненному командиру отряда Д. А. Сушкову. Он умер на их руках с последней просьбой — не сдаваться. Только на пятый день из Балашова пришли бронелетучка да два эскадрона 15-й сибирской дивизии. Штурмом освободили Уварово. С воинскими почестями хоронили командира отряда Сушкова, комсомольца Ваню Солнцева, председателя волисполкома матроса Мирона Кабаргина...

Смелые, отважные командиры красных частей шли по следам бандитских «полков», но те не принимали боя, уходили, изматывая красную пехоту дальними переходами по снежным дорогам. Павлов, обещавший легко побить дезертиров, понял, что ошибся: просто бить было некого.

А антоновские головорезы с каждым днем все зверели и зверели. Даже дальних родственников коммунистов и красноармейцев стреляли, резали, терзали. Запуганные «военной силой» Антонова и брехней плужниковских агитаторов о «конце коммунии», мужики ездили в обозе антоновских полков с провизией и фуражом.

Дезертиры и привыкшие к разгулу сельские лоботрясы, подпоенные кулаками, перли в банду, бездумно горланя песни,— их соблазняла прославляемая эсерами неуловимость «партизан», возможность легко пожить и поживиться. Это было похоже на то, как по влажному снегу катают комья, наращивая до тех пор, пока они не превратятся в глыбы. Офицеров набралось — хоть отбавляй.

Антонов создал из них специальный «полк гвардейцев оперштаба».

Весь юг, юго-восток и северо-восток губернии в январе 1921 года контролировались плужниковскими комитетами и отрядами антоновской внутренней охраны. Поступление хлеба по продразверстке почти прекратилось. Продотряды вливались в местные воинские части.

«Полки» зеленых бороздили села, обтекая уездные центры и города, где стояли крупные гарнизоны.

Плужников и Антонов твердо обещали своим «воинам» к весне взять Тамбов.

А мужички-середнячки, с которых Антонов тоже стал брать «разверстку» для прокорма армии, оглядывались, почесывались, крестились и с опаской спрашивали друг у друга: «А в центре-то какая власть?» И с замиранием сердца ждали: что-то будет?

Из Тамбова в Москву продолжали поступать тревожные вести.

Было решено вернуть в Тамбов Антонова-Овсеенко и создать под его руководством полномочную комиссию ВЦИК.

2

В просторной горнице поповского дома у окна стоял, скрестив руки на груди, Антонов. Нервно покусывая губы, он слушал оправдания Германа.

— Не виляй, я сам тебя видел пьяного! Контрразведчик называется! Упустил двух «куманьков», а они, может быть, шпионы!

— Не уйдут далеко, поймаем,— пообещал Герман.

— «Не уйдут»! — передразнил Антонов.— Утешил! Нам время дорого. К большому делу готовимся. Понял или нет, дурья голова?

— Прости, Степаныч...

— А это что за старик у крыльца? — кивнул Антонов на улицу.

— Подозрительный дедок. Лясы точит с мужиками. Выспрашивает.

— Стариков ловите! — ехидно скривился Антонов.— Ну, веди старика. Покалякаю.

Ефим Олесин переступил порог, выставив впереди се-

бя огромный суковатый посох, который он научился держать именно так, как держат странники. На глазах черные очки.

— Мир дому твоему, хозяин! — произнес Ефим нараспев. Снял лохматую старую шапку, перекрестился.

— Ты кто? — напуская на себя грозность, спросил Антонов.

— Я Кондрат, людям — брат, молодым — сват, а богу — послушник.

— Потехой занимаешься? В такое-то время?

— Потеха — делу не помеха и мозгам не прореха.

— О! Ты, я вижу, мудрец!

— Господь все видел — мудростью народ не обидел.

— А что ты можешь сказать, мудрец, про моего помощника? — Антонов метнул злорадный взгляд на Германа.

— Тебе надо, начальничек, глуховатого помощничка.

— Это зачем же? — насторожился Антонов.

Герман угрожающе подался вперед.

— Глуховатый-то меньше ерундистиков слухать будет, а нужное дело даже глухой услышит.

Отвыкший смеяться, Антонов широко улыбнулся.

— Мудрец, старик, мудрец! Сплетни слушать они горазды!

— Мудрецом быть нетрудно, коль бог наградил этой благодатью.

— А что же, по-твоему, трудно?

— Добрым быть трудно.

— Почему?

— Потому что делаешь вроде добро, а оно злом оборачивается, делаешь зло — добром отзывается. Никак не потрафишь.

— Не на меня ли намекаешь?

— На всех людей намекаю. А ты тоже человек, значитца, и к тебе приложить возможно.

— Пожалуй, пожалуй...— Антонов задумался.— Добра хочу русскому мужику, а зло по следам ползет и меня затягивает.— Глаза его остановились, как у обреченного.

В наступившей тишине выстрелом прозвучал стук дверцы стенных часов, из которой выскочила деревянная кукушка.

«Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» — отсчитала она три часа.

— Ишь как кукует,— сказал Ефим.— На чью-то голову накуковывает. Не на мою ли?

Антонов вздрогнул:

— Ну, вот что, старик... Кондратий, говоришь? А фамилия?

— Липатов.

— С каких краев?

— С-под Моршанска. От города ушел... Южные-то края хлебные!

— Хлебные, да не всех кормят. Ну ладно, иди, потешай людей. Мы тебя не тронем.— И Антонов махнул головой, давая знак Герману — проводи, мол.

Через несколько минут Герман вернулся к Антонову веселый:

— Поймали!

— Ну то-то же!.. Где они?

— В амбар отвели.

— Пойдем, сам посмотрю.

...В полутемном амбаре лежали вячкинские мужики Аникашкин и Гаврилов, избитые и полураздетые.

Антонов подошел к Аникашкину и ткнул сапогом в бок.

— Коммунист?

Тот привстал на локоть:

— Чего ж говорить... вы не верите.

— Коммунист, спрашиваю? Отвечай! — озлился Антонов.

— Выходит, коммунист,— едва слышно ответил тот.

— Ну вот тебе, «куманек»! — Антонов ткнул дуло маузера ему в зубы. Раздался глухой выстрел.

— Да что же вы, звери, делаете! — крикнул хриплым голосом Гаврилов, метнувшись от убитого товарища.— Дайте слово-то сказать!

— А-а! Ты агитировать меня хочешь? — осклабился в хищной улыбке Антонов.— Ну-ну, поговори, послушаем... может, пригодится?

— Никакие мы не коммунисты! — захрипел Гаврилов.— Лошадей в Кирсанове по справкам давали, а в справках-то надо было указать, что красноармейцы или коммунисты... Из-за клячонок бракованных пропадаем! Господи! Да что же это? Правде не верят.

— А-а... жить захотелось! Бога вспомнил! А ну на колени!

Гаврилов ошалело уставился на Антонова и машинально отодвинулся к стене.

— На колени, говорю! — взбесился Антонов.

Тот встал на колени.

— Молись и проси меня, чтоб в свою армию взял.

— Зачем же мне в армию? Стар я для армии, детишек куча...

— Молись, подлая душа! — взревел Антонов, взмахнув маузером.

Гаврилов испуганно перекрестился, но сказать уже ничего не смог, словно отнялся язык.

3

Ефим прошел на край села.

Несколько сухих кусков хлеба, которые болтались в сумке, напоминали ему, что с голоду он не умрет, но ему захотелось хлебнуть хоть несколько ложек горячих щей, промочить пересохшее после свидания с Антоновым горло.

У дороги, на свежих сосновых бревнах, сидели несколько мужиков и двое бандитов, жадно раскуривающих самосад.

— Мир честной компании! — приподнял Ефим край шапки.

Ему никто не ответил. Только покосились на него.

— Эх, и хороши сосенки на венцы,— постучав палкой по бревнам, добавил Ефим, чтобы вызвать мужиков на разговор.

— Они и на винцо сойдут,— ухмыльнулся старший из бандитов.

Чувствовалось, что они уже пьяненькие.

— Тонковаты бревешки-то,— обиженно заговорил сумрачный мужик.— Я ведь потолще просил.

— Потолще сам привези,— огрызнулся старший.— Жадён очень. Четверть неполную поставил и табаку жалеешь.

— А жадность-то, она у всех старых людей есть, милай,— заступился Ефим за мужика, рассчитывая у него пообедать.— Вот ты про фабриканта Асеева слыхал? Уж

куда богаче его быть, а он какой жадный был? Знаешь?

— Ну, ну, скажи, коль начал,— заинтересовался старший.

Ефим подсел к мужикам.

— Молодые-то пошли моты... Вот и у Асеева сынок, бывалча, на бал с отцом к кому-нибудь приедет — ему баклажку прозрачную с вином шипучим на подносе подносят. Он глоточек отглонет и назад ставит, а тому фициянту рупь на поднос кладет. А отцу поднесут — всю баклагу опрокинет, а на поднос — только гривенничек. Сыну, говорит, можно швыряться деньгами, у него отец миллионщик, а мой, говорит, отец был мужик, мне надеяться не на кого.

— Верно, вот как верно! — обрадовался такой защите мужик.— Хрип гнем, гнем, годами по былочке хозяйство собираем, а сыны разорить готовы за одночасье.

— А то еще и так говорят про Асеева,— продолжал Ефим, заметив, что его рассказом заинтересовались бандиты.— Пришел он к богомазу и говорит: продай мне икону самую дешевую. Сына венчать буду. Тот повел его в подвал, разыскал самую дешевую. Сколько, говорит? Да полтинник хватит. Взял богомаз полтинник, да не удержал, уронил на пол. Асеев чиркнул спичку, вынул из кармана десятку и поджег ее, чтобы светлее было богомазу полтинник искать на полу.

— Да неужли десятку спалил? — в ужасе спросил мужик, ближе придвигаясь к Ефиму.

— Я там не был. Слухом пользуюсь. Врать не люблю, а где совру — людям потеха! — И улыбнулся.

— Сейчас у самого был,— важно сказал Ефим после паузы.— Мудрец ты, говорит, старик, нравишься мне. Ходи и потешай моих людей, дух подымай.

— У Антонова был? — удивленно уставился на Ефима старший бандит.— А зачем ходил?

— А ходил, милай, не по своей воле. Я человек в этом селе новый, вот и задержали, чтобы узнать, кто я.

— И чей же ты? — допытывался бандит.

— Чечкин-изподпечкин, бывший моршанский пономарь,— шутливой скороговоркой отговорился Ефим.

— А очки черные зачем носишь?

— Белизны много стало зимой. Глаза слезятся, на свет бы не глядели!

— А ты, старик, знаешь, из каких частей винтовка состоит? — с напускной грозностью спросил молодой заплетающимся языком.

— Она, грешная, как я слыхал, из трех частёв состоит: железяка, деревяка и ременяка.

Бандиты и мужики дружно захохотали.

Шедшие мимо антоновцы заинтересовались веселой компанией — подошли, окружили Ефима.

— Ну, а как понравился тебе наш главный? — продолжал допрашивать старший.

— Да как тебе сказать...— замялся Ефим.

— Ты по пословице: хлеб с солью ешь, а правду режь,— подзадорил мужик.

— Э-э, милай, с правдой осторожно надоть... Я это еще в ребятенках на своей шкуре испытал. Правду-то не всякую и не всегда молвить можно... Помню, с сестрой Дашкой на печке сижу, а мухота — страшная. И в нос, и в рот лезут, проклятые, ничего не понимают. У Дашки по самым лодыжкам мухи ползают... Она подкараулит штуки три, да как щелкнет, а я со смеху покатываюсь... Мать к задороге: ты чего гогочешь, как гусь возле гусыни? Я уперся: не скажу да не скажу... Слазь, говорит, суда. Мать за скалку: говори, об чем гоготал? Убью! На ляжки, говорю, Дашкины глядел, как она мух ими щелкает. Тут она и давай меня обхаживать! Вот и сказал правду!

Ефимовы слушатели покатывались со смеху, подмигивали друг другу, повторяли, смакуя, его словечки.

— Одним словом, милай, допрежь чем бухать в колокол — посмотреть надобно в святцы. У нас в селе однова такая была оказия, что от смеху может пузо лопнуть, особливо кто пузатый.

— Давай рассказывай! — неслись со всех сторон подбадривающие крики, и Ефим уже вошел в роль, почувствовав себя в центре внимания.

А толпа все росла, над нею в морозном воздухе медленно плыли дымки от цигарок.

— Был у нас в селе Гурей... Приглядел сыну неве-

сту — и собой сдобную, и приданым не последнюю. А сын-то — показывать стыдно. Вот и решил Гурей вместе со сватами послать своего брата, чтобы тот поддакивал, где нужно... Ну и пошли. Слово за слово, сваты расхваливают хозяйство Гурея. Две лошади, говорят, есть. А брат Гурея добавляет: «А вы жеребчика еще забыли...» Две коровы, говорят. «Да что там — две коровы, у него целое стадо во дворе!» — прибавляет брат. А невестин отец, не будь дурен, и спроси: «А как сын-то? Глуповат, говорят». Братец-то не подумал и бухнул: «Да что там глуповат! Совсем дурак!»

Толпа грохнула, а Ефим только хитрой улыбочкой обошелся: не понимают дураки, что над собой смеются...

— После того стало в селе два Гурея — один одного дурее. И мне мой отец после того завсегда внушал: «Бойся, сынок, корову спереди, коня сзади, а дурака со всех сторон...»

Толпа устала от хохота. Ефим понял, что пора намекнуть мужику, купившему бревна, насчет обеда.

— Эх, мать твою бог любил,— вдруг крикнул он шутливо, обращаясь к мужику.— Я ведь и забыл совсем сказать тебе... Заговорился, шут гороховый! Голодный ведь я с утра! Давай лапшу варить: моя вода и ска́ла, а твоя мука и сало. Покорми, братец, а то от голоду у меня голова лысеет! И так осталось кудрей на одну ругань с бабой.— И он поднял шапку, показывая свой жиденький чуб.

Бандиты вновь зареготали. Мужик помахал головой в знак согласия.

— А ну-ка дайте мне посмотреть,— вдруг раздался из толпы зычный голос.— Что тут за шут гороховый?

Ефим обмер. Этот голос он мог бы отличить из тысячи. Это был голос Сидора. Как он сюда попал? Ведь с Карасем был в Воронцовском лесу...

Сидор растолкал толпившихся вокруг Ефима антоновцев и резким, быстрым взмахом руки сорвал с него очки.

— Вот ты где мне попался, иуда! — И Сидор изо всех сил ударил Ефима в лицо.

Антоновцы схватили Сидора за руки.

— А ты кто такой? Мы тебя тоже не знаем! — грозно сказал старший бандит.

— Я помощник командира полка! — зарычал Сидор.— А это мой батрак, иуда! Сына убил!

— Был батрак, а теперь нет батраков! — крикнул кто-то из толпы.— Разобраться надо!

— Старик у самого Антонова был!

— Хороший старик! Чего он!

— Батрака ему нужно!

— Подумаешь, генерал!

— Разобраться надо!

Под хор этих сочувственных голосов Ефим встал с земли, стирая кровь с губы.

Сидор рвался к нему, хватаясь за кобуру, но антоновцы оттерли Сидора, успокоив тем, что старика отведут на проверку.

Сидор побежал в штаб, чтобы у самого Антонова взять разрешение на расправу с Юшкой.

Двое дюжих антоновцев взяли Ефима под руки и повели к штабу.

— Ты его прости, старик, погорячился он. Может быть, он спутал тебя с кем,— сказал один из конвойных.

Ефим долго молчал, шевеля сине-красной губой, потом тихо, словно для себя, ответил:

— Простить-то бывает легко, да забыть нельзя.

4

Соня пробралась к дому Насти задворками и нерешительно постучала в кухонное окно. Она была одета в старую шубейку и укутана шалью.

Настя выглянула в окно и, накинув полушубок, вышла на крыльцо.

— Сонюшка, господи, да ты ли это?

Они долго стояли, обнявшись и плача.

— Ушла от них? — спросила, успокоившись, Настя.

— Да нет... от себя теперь не уйдешь. До дна испить горе придется. Об одном молю, чтобы сразу до смерти прикончили,— не мучиться самой и людей не мучить. С Митрошей Ловцовым связалась — с ним хоть душою отдыхаю.

— Да ну? — по-женски сочувственно удивилась Настя.— Неужели любит он тебя?

— Изменился, бедный. Осмелел. Клянется, что рядом со мной помрет.

Соня заметила, что Настя не приглашает в дом,— значит, кто-то есть у нее. Может, ухажер?

— Я на минутку...— торопливо заговорила она.— Отец меня ждет у леса. Я к нему приходила, а теперь он меня отвезет до Каменки. А зашла я сказать, Настя...— Она огляделась кругом и зашептала: — Если Василия увидишь, скажи, чтобы уходил из этих краев или поберегся... Скоро вся «армия» сюда навалится. Карась говорил мне по пьянке... Пойдет Антонов к Тамбову, чтобы окружить... Скажи Васе, что за зло добром хочу отплатить...— Она судорожно глотнула пересохшим ртом и еще тише прошептала: — И помню... все помню.

— Неужели все еще любишь, Сонюшка? — не удержалась, спросила Настя.

— Да что теперь в том,— вздохнула Соня.— Во мне одной теперь все... И уйдет со мною все в могилу. Взглянуть бы еще хоть разочек на него...

Настя вдруг оглянулась в темный проем сенной двери, заговорщически приложила палец к губам.

— Подожди меня тут.

По улице шел красноармеец, взглянул на Соню, поправил на плече винтовку и пошел дальше, изредка оглядываясь.

Настя вернулась на цыпочках, повела ее во двор. У окна, выходящего на вишневый садик, остановилась.

— Ты прости, Сонюшка... бояться я тебя стала, как ты с Карасем ушла. С собой-то ты ничего не носишь? — И Настя озабоченными глазами обыскала фигуру Сони.

Соня горько улыбнулась, распахнула шубейку, вывернула карманы.

Настя опустила голову и тихо сказала:

— С уголка потихоньку взгляни... На моей постели он лежит лицом сюда. А часовой на кухне обедает.

Соня жадно приникла к ставне, осторожно заглянув в дом одним глазом.

Василий лежал на левом боку, в полной форме, толь-

ко без шапки. На правом боку, у раскрытой кобуры, покоилась расслабленная рука с крупными, полусогнутыми пальцами, которые так любили теребить Сонины волосы и так жадно скользили по ее узким плечам.

Усталое, даже во сне сумрачное лицо бледнело на розовой подушке. Соня всхлипнула и, испугавшись этого звука, отпрянула от окна.

Уткнув лицо в воротник шубейки, Соня взяла Настю под руку и торопливо потянула к сеням.

— Проводи меня, Настя. Страшно мне. Хоть до ручья проводи. Патруль ходит.

Настя вывела Соню на зады.

— Про тебя тоже спрашивал,— сказала вдруг она,— но сердито как-то. Злой стал. Убьет, боюсь, а то бы разбудила его. Может, поговорили бы...

— Что ты, что ты, бог с тобой! — отступила от нее Соня.— Никогда! Я грязная... Он никогда меня больше не увидит, удушусь скорее!

— Ну, бог с тобой, Сонюшка, молись за Васю, трудно ему тоже, милая... Прощай.

Соня кинулась к Насте, зарыдала. Сквозь рыдания едва можно было разобрать ее слова, Настя успокаивала ее, но от этого Соне было, наверное, еще горше.

— Настенька... обе мы... несчастные с тобой... прощай.

Она резко оторвалась от Насти и побежала вниз, уже не скрывая громких рыданий...

5

В Каменку Соня приехала с отцом в тот момент, когда Ефима Олесина вели по дороге к штабу.

— Эй, сторонись! — крикнул Макар бандитам, которые вели Ефима.

Те остановились, пропустив подводу.

На мгновение глаза Сони и Ефима встретились. Он узнал ее — презрительная гримаса проползла по его скровавленному лицу. Соня сжалась под его взглядом. Отец соперницы... А как жаль его, как хочется сделать ему что-нибудь хорошее.

— Батя, видал Ефима-коммунара? — тихо спросила Соня у отца.

— Видал, дочка. Пропал, бедняга... Убьют его, коли Сидор тут.

— Тут он, вон у штаба мечется.

Проезжая мимо штаба, Соня слышала, как часовой отвечал Сидору:

— Тебе русским языком сказано: до утра никого не примает. Хворает он.

— А Герман где? К нему пойду.

— В Ольшанку вызвали. Нет его.

Соня потянула отца за руку. Лошадь остановилась.

Из-за отцовской спины ей хорошо было видно, куда ведут Ефима.

За штабным домом, в глубине двора, стоял рубленый амбар. Туда сажали подозрительных, которых допрашивал Герман. В этот амбар и завели Ефима, закрыв за ним глухую, с железным засовом дверь.

Краем глаза Соня заметила, что к повозке бежит раздетый, без шапки Митрофан, но она не подала вида и все следила за Сидором.

А Сидор, увидев Митрофана, позвал к себе:

— Одевайся и становись на пост рядом с часовым. Головой ответишь, коль убежит из амбара мой заклятый враг. Ихнему часовому у меня веры нет, побасками их улестил, дьявол!

Митрофан прошел как можно ближе к повозке, поздоровался с Макаром и извинительным грустным взглядом посмотрел на Соню.

— Митроша,— тихо сказала она ему вслед,— зайди ко мне сейчас на минутку. Я у фельдшера стою.

Митрофан кивнул головой.

— Батя,— попросила Соня отца, когда они подъехали к дому,— ты у меня умный и добрый. Поезжай сейчас же в Федоровку, чтоб все видели, что ты уехал засветло. И жди там Митрофана. Он придет не один...

— Что ты задумала, дочка? — тревожно перебил Макар.

— Что задумала, батя, то на сердце лежит. Не убивай меня лишним горем. Сделай, как прошу. Отвези их к станции...

— А крюк-то какой, доченька. Заподозрят.

— До станции Митрофан отвечает за все. Ты молчи.

А один останешься — говори, что дочь посылала сахару купить. Денег еще возьми.— Она достала пачку денег.— Откупись, коль что. Они все продажные! Я-то знаю!

— Ну, прощай, дочка... Господь тебя простит за добро.

Макар перекрестился и тронул лошадь.

Соня торопливо вошла в дом.

Вскоре прибежал Митрофан и, заметив, что Соня одна, кинулся к ней, впился пухлыми губами в ее холодную щеку. Но Соня отстранила его.

— Митроша, любишь меня?

— Зачем, Соня, такие слова говоришь?

— Так вот... пришел час испытать тебя.

Митрофан побледнел.

Соня прильнула лбом к его колючему подбородку и тихо добавила:

— Я приду вечером к амбару и передам приказ командира полка — привести арестованного.

— А кто там сидит?

— Дядя Ефим из Кривушинской коммуны... Юшка!

— О господи, Сидор убьет меня за него. Он ведь Тимошку у него убил.

— А тебе и не надо возвращаться к Сидору.

Митрофан обалдело уставился на Соню:

— Как так?

— Вместе с Юшкой уйдешь. До Федоровки под конвоем веди... Мой отец вас ждать будет на краю села. Гоните к станции. Там бронелетучка ходит. Тебя за Юшку простят.

Митрофан забормотал в страхе молитву, и Соня увидела, что глаза его трусливо остановились на иконе.

Митрофан упал на колени:

— А ты-то как же? Помру без тебя.

Соня подумала.

— И я скоро уйду. Настю из Падов знаешь? Она спасет меня, защитит. Слышишь? Жди меня. Ну?

Митрофан поднялся.

— Ты только дядю Сидора отвлеки как-нибудь.

— Я к нему сразу вернусь. Чаю попрошу.

— А муж-то где?

— В разведку услали к Инжавину. Обещал мне новые серьги достать.— И Соня горько улыбнулась.

Это напоминание о серьгах больше всего подействовало на Митрофана. Он как-то напружинился, распрямился.

— Ну, прощай, коль что, Сонюшка. Помни, за тебя на смерть иду.

— С богом, Митроша.— Она притянула его к себе, погладила пальцами отросшие вихры на затылке...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Февральским вьюжным днем двадцать первого года, приминая снег Кремлевской площади подшитыми валенками, тамбовские ходоки-крестьяне протаптывали исторический след к ленинской правде... Остались в тревоге и страхе их семьи там, далеко, в глухих волостях Тамбовской губернии, где озверевшие от неудач эсеро-бандитские шайки уничтожают всякого, кто сочувствует советской власти, кто помогает коммунистам. Давно уж не были ходоки дома. Взяли их красные вместе с сотнями других крестьян как заложников из «бандитских» сел, а когда всех отпустили, то им, пятерым, предложили поехать в Москву, к Ленину, чтобы рассказать вождю о крестьянском житье-бытье.

Все они простые хлебопашцы, принявшие от отцов неизбывную тоску по свободной земельке. Среди них только один сочувствующий коммунистам — крестьянин Пахотноугловской волости Иван Анисимович Кобзев. Да и он колеблющийся.

Рядом с ним шагает односельчанин Иван Гордеевич Милосердов. С разговорами все осторожничают — чего затевать разговор с посланцами других волостей! Молчит Кобзев, молча вздыхают все. Развратила душу тамбовских крестьян антоновщина. И без того угрюмые, молчаливые, совсем замкнулись — от страха и неизвестности...

...Вот и широкая лестница... К нему, «самому главно-

му большевику», как сказал грушевский ходок Соломатин.

Провожатый ввел их в приемную и предложил раздеться. Мужики наотрез отказались снять свои шубенки, будто без них они останутся совсем беззащитными и слабыми. Недолго пришлось ждать. Из кабинета Ленина вышел секретарь Тамбовского губкомпарта Немцов.

— Владимир Ильич приглашает пройти к нему.

Когда шли, ожидая встречи, в душах страшок трепетал, а переступили порог — и все «обыкновенно».

Ленин встретил их приветливо.

— Что же вы не раздеваетесь, товарищи? — гостеприимно развел руками Владимир Ильич.

— Да не жарко вроде,— глухо пробасил Соломатин,— да и стыдно заплаты оказывать посконные...

Разоружила мужиков ленинская приветливая улыбка, задвигались, зашуршали шубейками... Кто-то свою под кресло норовит заткнуть. Ленин замечает движение, ведет мужика к вешалке.

И вот сидят они перед ним — руки лопаточками на колени положили, будто наготу свою прикрывают. Острые глаза вождя вглядывались в усталые лица мужиков из «бандитских селений», а мужики мялись, покашливали: никто не хотел начинать говорить.

— Дорогие товарищи крестьяне-тамбовцы, объясните мне, пожалуйста, чем вы недовольны, что у вас там делает банда Антонова?

Самым смелым оказался Василий Бочаров из Бахарева:

— Бандиты грабят советские хозяйства, потребиловки... У крестьян отымают скот, лошадей, сбрую, фураж.— Сделав небольшую паузу и опустив глаза, добавил: — А после приходят красные и тоже... обижают крестьян... А главное — Советы наложили непосильную продразверстку...

— А в восемнадцатом и девятнадцатом как вы выполнили разверстку? — спросил Ленин.

— Тогда выполняли без скандала. А в этом году сильный неурожай, разверстку выполнить невозможно... Не обижайся, товарищ Ленин, это мы говорим от общества.

— Вот и хорошо, что от общества. Говорите все, что наболело. Советская власть — власть рабочих и крестьян... Ваша власть.

— Пока что только рабочих,— буркнул кто-то.

— Это эсеровский бред, без союза рабочих с крестьянами не будет советской власти.

Строгие, твердые слова вождя растопили недоверие мужиков, и они вдруг заговорили все разом, жалуясь на свои судьбы, на злоупотребления «местных властей», на «полный развал крестьянской жизни».

Ленин не нарушал естественного хода беседы, изредка задавал вопрос, успевал схватить суть из каждой фразы перебивающих друг друга крестьян; записывал цифры, факты...

Может быть, именно в те минуты острой беседы и рождались ленинские мысли, которые чуть позже он выскажет, выступая на съезде транспортных рабочих России: «...Крестьянство должно было спасти государство, пойти на разверстку без вознаграждения, но оно уже не может выдержать такого напряжения, и потому в нем растерянность духа, колебание, шатание, и это учитывает враг».

А ходоки, чувствуя, как внимательно слушает их вождь, да еще и записывает, стали, может быть, впервые в жизни такими откровенными.

— Очень обидно,— заговорил Соломатин,— что продагенты наш труд крестьянский оскорбляют. Берут, к примеру, картошку... Мы ее свозим, а она там лежит, пока не сгниет, и нас же это место очищать заставляют. Жалко ведь, что нашим трудом красноармеец или рабочий не пользуется.

Ленин быстро записал на листке: «Берут. Гноят...» — и резко подчеркнул эти два слова. На том же листке появляется новая запись: «Соли нет. Раз только давали за вывоз дров». И снова подчеркивает написанное.

— Мы, будучи в осажденной крепости, не могли продержаться иначе, как применением разверстки. Мы брали излишки, а иногда и не только излишки, а кое-что необходимое вам, лишь бы сохранить способной к борьбе армию и не дать промышленности развалиться совсем.

Ходоки слушали Ленина, затаив дыхание, они верили ему и хотели знать все от него самого.

— Если вас обижают местные власти, сообщайте губернским властям, а если надо, то и в Москву, в Кремль. Пишите мне лично. Вы, крестьяне, вместе с рабочими проливали кровь за свободу, за власть Советов, за свою власть. Так держите ее крепко вместе с рабочими в своих руках. И тогда увидите, какая это будет власть! Выбирайте самых честных людей из крестьянства в советскую власть! А пока вам трудно, я знаю. Но прошу вас: передайте всем тамбовским крестьянам: надо потерпеть, сознательно помочь своей власти разогнать врагов, чтобы строить новую жизнь. А теперь я хочу сообщить вам, что с вашей губернии решено снять продразверстку досрочно. Вы довольны?

Когда же Владимир Ильич каждому дал с собой решение об отмене продразверстки, куда подевалось стеснение: за руку попрощались и слово дали все разъяснить, как есть, в своих волостях. И заторопились.

— Доброго здоровьечка советской власти,— отвесил поклон Соломатин.

— К бандитам с этой бумагой пойду, не побоюсь,— сказал коренастый бахаревский крестьянин Бочаров.

2

Василий Петрович Бочаров вернулся в родное село и не узнал его: оно точно вымерло. Только собаки охрипло завывают не то от голода, не то от страха.

В Ивановском совхозе коммунист Гаранин предлагал Бочарову револьвер для обороны, но он отказался.

— Убить и с револьвером убьют. А правду убить невозможно. Она со мной. Мне ее Ленин дал.

Бочаров шел по селу и отмечал для себя, сколько сгорело домов. А вот тут и его дом должен быть... Пепелище...

С трудом разыскав свою семью, Бочаров начал строить землянку. Второго апреля его пригласили на собрание крестьян Ивановской волости. Бочаров рассказал

им о Ленине, о его наказе помочь советской власти избавиться от бандитов.

А вскоре Бочаров пошел из своей землянки в Каменку — «столицу» бандитов. Не сказал никому дома, на какой шаг решился, не хотел слушать уговоров и слез.

Обступившим его каменским мужикам прочитал Декрет, дал листовки, а в листовках объявлена амнистия тем, кто сложит оружие. Кто-то выдал Василия Петровича бандитам, его заперли в амбар. Но часовой, уже прослышавший об амнистии, ночью приоткрыл дверь и позвал Бочарова:

— Не брешешь, Василь Петров? В селе тихо, бежим скорее отсюда!

Торопливо шагая рядом с часовым к родному селу, Бочаров вспомнил Гаранина, предлагавшего ему револьвер, и радостно улыбнулся: правду в амбар закрыли, хотели убить, ан засов-то перед правдой сам открылся и выпустил правду на свободу!

И к землянке, где ютился с семьей Бочаров, потянулись обманутые и насильно загнанные в банду крестьяне, сдавая ему оружие.

...Надо было бы сохранить в свое время эту маленькую землянку, чтобы из поколения в поколение передавалось уважение к тем, кто, не боясь смерти, нес из таких вот землянок людям свет ленинской правды.

3

Второго марта 1921 года в Кронштадте под руководством генерала Козловского вспыхнул эсеровский мятеж, а 6 марта антоновский главоперштаб уже издал приказ о повсеместном и одновременном выступлении всех сил «Союза трудового крестьянства».

Гонцы Антонова поскакали во все уезды губернии, но не так-то просто было отыскать кочующие «полки» местных бандитов, тем более что многие местные батьки отказывались вообще подчиняться кому бы то ни было, они действовали так, как им хотелось, и шли туда, где можно легче грабануть и веселее гульнуть.

Только две «армии», которые были под рукой Анто-

нова, неподалеку от Каменки, выступили немедленно. С одной пошел в рейд сам Антонов. Села, которые они проходили, оккупировались войсками ВОХРа. В дома бывших волисполкомов и сельсоветов водворялись комитеты «Союза», и начиналась расправа со всеми, кто сочувствовал коммунистам, кто не подчинялся новой власти.

Крупные войсковые соединения красных Антонов обходил стороной, приберегая силы для удара по Тамбову, а на мелкие обрушивался всеми полками, беспощадно уничтожая красноармейцев. Иногда, правда, на него находила блажь — разув и раздев до нижнего белья, он отпускал красных бойцов. «Смотрите, мол, какой я добрый: жизнь дарую своим врагам».

Три уезда — Борисоглебский, Тамбовский и Кирсановский — оказались почти полностью в руках эсеровских комитетов. Оставались небольшие островки — крупные железнодорожные станции и города, где стояли большие гарнизоны и бронелетучки.

Части Красной Армии занимали села, искали бандитов, но не находили их, двигались дальше, а тем временем из подполья вылезали плужниковские комитетчики и вывешивали опять антоновское знамя.

В селах вдруг стали появляться целые отряды в красноармейской одежде. Они грабили население, издевались над женщинами, а следом за ними шли антоновские полки и «проявляли» заботу о пострадавших. Эту комедию не совсем тонко разыгрывал Герман со своими карателями, и их быстро разоблачили мужики.

Пожаловались самому Антонову. Он промолчал. Да и что ответить, когда сам подал эту идею Герману?!

А красные бойцы получали по фунту непросеянного овсяного хлеба и стойко переносили все невзгоды боевой походной жизни. Но чтобы не было даже отдельных случаев мародерства или поборов с населения, уполномоченный ВЦИК Антонов-Овсеенко обратился к бойцам с письмом:

«Красноармейцы! Больше порядка!

Если идете походом и обозы оторвались, войсковое снабжение прекратилось,— только в таком случае край-

ней нужды требуйте у крестьян продовольствия и фуража, но требуйте по форме, через своих командиров под точную расписку командира, сколько чего и с кого получено. Копию расписки надо хранить в канцелярии части, чтобы потом не было на вас наговоров.

Выполняйте это в точности, не срамите имени Красной Армии!»

Восьмого марта открывался в Москве Десятый съезд партии. Проводив Бориса Васильева на съезд, Антонов-Овсеенко начал подготовку к широкой беспартийной конференции крестьян —представителей всех уездов губернии.

Поговорить по душам, услышать честный и прямой разговор крестьян и узнать их отношение к бандиту Антонову — вот цель, которую преследовал уполномоченный ВЦИКа, собирая крестьян губернии. А главное — ему не терпелось узнать у делегатов, попали ли в руки крестьян листовки о досрочном снятии продразверстки с Тамбовской губернии.

Делегатов собирали на станциях, привозили под охраной красных отрядов из сел, где сидели плужниковские комитетчики, и наконец из домов заключения брали крестьян, осужденных за участие в мятеже.

Десятого марта конференция начала свою работу.

Речь, с которой выступил Антонов-Овсеенко, взволновала всех крестьян. Он требовал от них откровенно и без утайки выложить все сомнения, все беды и обиды, рассказать о своих заблуждениях и посоветоваться с руководителями советской власти, как общими усилиями искоренить бандитизм, чтобы начать Великий посев — первый мирный посев после гражданской войны.

Потом рассказали о встрече с Лениным вернувшиеся из Москвы ходоки. Делегаты слушали их не дыша, потом один за другим выходили на трибуну и говорили обо всем, что наболело.

Называли продагентов и продотрядчиков, преступно относящихся к исполнению своих обязанностей; рассказали, как в Карай-Салтыки агенты сгоняли по продразверстке скот, а он там сдыхал от бескормицы, как горы

картошки гнили на станциях, как охранники меняли хлеб и картошку на самогон.

Иные требовали, чтобы партия поглубже заглянула в деревню и почистила свои ряды.

Антонов-Овсеенко записывал себе в блокнот каждое выступление, в перерывах беседовал с теми, кто приехал издалека, а выступить не может.

Крестьяне сами, через своих выборных составили и резолюцию конференции.

В ней говорилось:

«В настоящее время крестьянское хозяйство Тамбовской губернии так отощало, что ему в иных волостях грозит полный упадок, если государство не придет на помощь.

Мы приветствуем заявление товарища Ленина на съезде о необходимости дать простор крестьянину и перейти от продразверстки к натуральному налогу...»

Это был приговор антоновскому мятежу. Недаром Антонов приказал Герману на время отложить казни и преследования и употребить все силы на улучшение информации из Тамбова и Москвы.

Со скрежетом зубовным читали Антонов и Плужников постановление Президиума ВЦИК о замене разверстки натуральным налогом и резолюцию тамбовских крестьян, одобряющих постановление ВЦИК.

В отчаянье бросали они свои полки в бои с новыми красными частями, но «сельская кавалерия» не выдерживала натиска дисциплинированных, обученных тактике боя красноармейцев. О захвате Тамбова уже никто не смел напоминать в присутствии Антонова — он принимал это за насмешку.

Он все ждал помощи эсеровского Центра и верил в успех, больше всего заботился о сохранении «армии», будто она была нужна ему только для парада, который он будет принимать в Тамбове, гарцуя на сером в яблоках жеребце.

Но и сохранить «армию» было нелегко. В Тамбов прибыли новые красные части с фронтов. Бойцы 15-й сибирской кавдивизии начали громить «полки» бандитов; как говорится, пух летел от них,— а пух летел и в самом деле — из разорванных подушек.

Третьего марта была разгромлена банда Селянского в районе Пахотного Угла. Зарублено было более трехсот бандитов в открытом бою.

О разгроме отдельных банд газеты извещали ежедневно.

4

Антонов метался по комнате.

Герман сидел на крестьянской лавке у двери, понурив лохматую нечесаную голову.

Глаза Антонова застлало черной решеткой огромных мелькающих букв, которые он только что прочел в принесенных Германом газетах.

«Кронштадт наш!», «Торговый договор с Англией подписан!», «В Петрограде пущены заводы!» — эти заголовки с восклицательными знаками стояли в глазах, как призраки, не давали сосредоточиться. Тамбовские «Известия», которые он швырнул, не дочитав и до второй страницы, лежали на лавке, притягивали взгляд. Но он уже не мог взять газету в руки — они тряслись от бешенства. Не хотелось показывать Герману своей слабости.

— Читай вслух третью страницу! — приказал Антонов Герману.

Герман нехотя взял газету и хриплым, пропитым басом прочел:

— «Ко всем участникам бандитских шаек. Полномочная комиссия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета заявляет:

1. Советская власть строго карает подстрекателей и вожаков бандитских шаек, но она милостива к трудовым крестьянам, втянутым по недоразумению или обманом в это разбойное дело.

2. Рядовые участники бандитских шаек, которые явятся добровольно и с оружием в штаб красных войск, получат полное прощение. Те из них, кто является дезертиром, будут отправлены в Красную Армию без всякого наказания, остальные будут отпущены по домам на честное крестьянское слово...»

— Что? — взвыл Антонов.— Врешь, дай сюда! — Он выхватил из рук Германа газету и впился воспаленными глазами в строки.

«3. Вожаки и подстрекатели,— писалось дальше в газете,— если явятся добровольно и принесут чистосердечное раскаяние, будут преданы суду, но без применения высшей меры наказания; причем суду предложено применять в широких размерах условное осуждение, т. е. отпускать на свободу с указанием, что если совершит новый проступок, то будет взыскано вдвое.

4. Разграбленное в советских хозяйствах и кооперативах народное имущество должно быть возвращено.

Срок явки и возврата имущества до 5 апреля. Настоящее распоряжение прочесть на всех сельских сходах и вывесить в общественных зданиях...»

Антонов рванул газету, сложив вдвое, еще рванул и так рвал с неистовством и остервенением до тех пор, пока не посыпались из рук мелкие клочки.

— Своей рукой расстреляю, у кого найду листовки! — зарычал он на Германа, топча обрывки сапогами.— Объяви самую страшную казнь тем, кто сдастся! Головы выкручивай! Живыми в землю закапывай предателей! Семьи уничтожай беспощадно! Жги! Режь! Бей!

Тонкие губы со зловещими змейками по углам всегда плохо прикрывали его выступающие вперед челюсти, а теперь за посиневшими губами застыл хищный щербатый оскал. Даже видавший виды Герман вздрогнул, взглянув на Антонова.

А тот снова заметался по комнате, тиская дрожащие, покрытые холодным потом ладони.

Герман застыл, боясь пошевельнуться.

Когда шаги Антонова заглохли у окна, Герман покосился на него и, увидев, как тот шарахнулся от окна, схватившись за голову, с испугом подумал, что «полководец» сходит с ума.

— Кто там стоит? — удушливым шепотом крикнул Антонов, не отрывая глаз от окна.

Герман кинулся к окну и вдруг — рассмеялся.

— Ты что смеешься? — трясущейся рукой схватил Антонов Германа за грудки.— Кто это?

— Да это Титок Гладилин из Борисоглебска, по прозвищу Анчутка. Чтоб страх нагонять на красноту, половину головы обрил. Ты сам нам рассказывал, что читал про сахалинских каторжников... Вот мы и учудили... А Титок-то, он придурковатый малость.

Антонов расслабленно опустил руку, его била дрожь.

— А ну позови его сюда! — ляская зубами, зловеще прошептал Антонов.

Герман привел Титка, огромного детину с изуродованным чьей-то искусной бритвой лицом.

Титок дотопал до середины комнаты, картаво отрапортовал и снял шапку, словно решил еще выгоднее показаться перед начальством,— его лохматая, всклоченная шевелюра, как и обросшее бородой лицо, была наполовину обрита. Теперь, без шапки, он выглядел еще страшнее, будто кто рассек его голову пополам и вместо второй половины приставил часть чужой, совершенно лысой, безбровой головы.

Антонов молчал, рассматривая Титка остановившимися мутными глазами.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В начале апреля первый тамбовский полк, которым теперь командовал Маркин, попал в окружение в Пахотном Углу. Антонов, решивший во что бы то ни стало разбить северную группировку войск, дабы развязать себе руки и навалиться всей силой своих кавалерийских «полков» на Рассказово, сам руководил наступлением на Пахотный Угол. Он уже не щадил никого и не берег «полки» — чувствовал, что близится конец игры, и торопился мстить...

В четырех верстах от Пахотного Угла, в Комаровке, стоял московский полк ВЧК. Связь между полками была нарушена. Один батальон ВЧК и эскадрон кавалеристов попали в окружение на краю Пахотного Угла.

Маркин со своим полком был зажат в церкви. Бойцы залегли с пулеметами за железно-каменной оградой. С колокольни были хорошо видны антоновские «войска», уже рассыпавшиеся по огромному селу в поисках свежих лошадей и корма. Видна была дорога на Комаровку, тоже окруженную бандитами.

Начинало смеркаться. Надо было немедленно принимать решение. В темноте бандиты могли подтянуть орудия к церкви, и тогда спасения не будет.

Маркин подозвал Паньку Олесина, с которым он не расставался с самого сампурского боя, и приказал вызвать на колокольню командиров батальонов.

— Вы видите, как расползлись по улицам бандюки,— сказал Маркин собравшимся командирам.— С наступлением темноты на четырех санях установите пулеметы. Впрягите самых хороших лошадей. С этой ударной группой я выеду сам в направлении батальона ВЧК, на край села. Нас сопровождать будут десять кавалеристов. Командир первого батальона остается за меня. К моменту нашего выезда открыть огонь из орудий по противоположной окраине села...

В церкви лежало несколько раненых бойцов, за которыми ухаживали Кланя и жена Маркина. Раненые не знали, что происходит там, за каменными стенами церкви, но по настроению арестованных бандитов, которые содержались тут же, догадывались, что дело плохо.

Кланя не спала вторую ночь, глаза ее невольно закрывались, как только она присаживалась к изголовью раненых.

При свете керосиновой лампы лицо Клани казалось испитым, желтым, как у мертвеца, на нее жалко было смотреть.

Под высокими сводами церкви даже звук кашля раздавался как выстрел. Кланя вздрагивала, вставала на ноги, чтобы отогнать сон...

А Панька в это время скакал за санями, на которых стояло два пулемета, а между пулеметами сидел командир полка и сам управлял резвым жеребцом, которого специально впрягли в первую повозку.

Восемь пулеметов с четырех повозок, несущихся цугом по улице, подняли такую панику среди бандитов, уже

готовящихся расположиться на ночлег, что они, не успев даже одуматься, в страхе разбегались в стороны.

Уже на окраине села пулеметы замолкли, и Панька вырвался вперед, чтобы предупредить своих.

Вскоре батальон ВЧК с криками «ура» двинулся к церкви по образовавшемуся коридору, а Маркин взял с собой эскадрон, который был здесь, и поскакал по другой улице в сторону Комаровки на выручку полка ВЧК.

Бандиты, услышав крики «ура» и пулеметную стрельбу на другой улице, смешались — решили, что их окружает свежая воинская часть.

Как ни орал Антонов на отступающих в беспорядке «подушечников», вернуть боевой дух уже не удалось.

А вот мощное «ура» покатилось и со стороны Комаровки. Артиллерийские залпы от церкви прекратились. Батальон ВЧК соединился с осажденными батальонами. Вместе они повели атаку в сторону южной околицы села, где разместился антоновский штаб.

На рассвете полк ВЧК, которым командовал Ворсвик, прижал несколько сот в беспорядке отступающих пеших бандитов к речке, уже наполнившейся мутной вешней водой, но еще не вскрывшейся.

Маркин, который теперь действовал вместе с полком ВЧК, со своей пулеметной бригадой галопом поскакал к мосту.

Толпы обезумевших от страха бандитов, успевших приодеться в Пахотном Углу в полушубки, кинулись на мост.

Пулеметным огнем Маркин сбросил их с моста, они шарахнулись в воду, залившую лед: скользили, падали, ползли по воде, догоняемые свинцом пулеметов.

— Искупайтесь, гады, охланите, проклятые! — приговаривал Панька Олесин, заменивший командира у пулемета.

2

Антип Семилетов, высокий, как жердь, старик с белой бородой, стоял в сумерках на краю села и прислушивался к далеким звукам частой стрельбы...

В Рассказове шел бой.

Последний сын Антипа, Прошка, рыжий сорванец, мечется теперь где-то с антоновцами...

Побеждают или бегут, спасаясь?

Обещал Прошка достать в Рассказове сукна. Много уже навозил Прошка домой всякого добра. Радуется подаркам мачеха, заражает этой ядовитой радостью и Антипа. Ощупывая руками привезенные сыном с очередного рейда вещи, забывает он, что уже три старших сына сложили головы где-то далеко от дома.

Первого расстреляли как злостного дезертира; второй мечтал привести отцу из Ивановского совхоза племенную матку — он «служил» у Богуславского,— да так и остался у каменной стены конюшни вечно нюхать конский помет. Третьего снарядом разорвало в бою...

Рождались они — все четверо — друг за другом. Росли крепкими, здоровыми — все в отца. Хотелось жене дочку, да бог просьбе не внял, пятая беременность свела Феклу в могилу... Остался Антип с сынами вдовствовать. Долго не мог он по сердцу найти себе бабу. Но однажды привел из Рассказова красивую, ладную мещаночку с белыми кудряшками и велел сынам любить ее и жаловать, как мать.

Баба оказалась работящей, с сынами ужилась, но Антипу с ней не стало покоя — жажда наживы, жадность к накоплению всякого добра была в ней настолько неистребимой, что Антип со страхом глядел в ее красивые насмешливые глаза — не ведьма ли в ангельском лике?

Он считал себя тоже скупым, но в глазах новой жены оказался «простодыром и мотом».

Варвара, так звали жену Антипа, приучила детей тащить в дом все, что плохо лежит, и повзрослевшие мальчишки вскоре стали отчаянными ворами. Недаром на селе сложили прибаутку: «У Антиповой Варятки все пасынки ворятки».

Шло время. Богатела семья Антипа. Сыновья уже работали в поле. Днем пахали, а вечерами крали и перепродавали лошадей. Некогда им было гулять на вечерках с девками, и по селу пополз слушок, что их всех приворожила молодая мачеха...

Приворожила она и Антипа, да не тем, о чем говорят люди... Но и теперь ждет она не дождется Прошку с награбленными в Рассказове отрезами сукна.

Антип стоял и слушал, а в глазах его уже скакали к селу розвальни, а в них — весело размахивающий вожжами сын...

Прошка... последний, самый бедовый и удачливый...

Но вот заглохла стрельба, горизонт озарился заревами пожаров. Кто кого жег? Неизвестно.

Антип постоял еще несколько минут и зашагал домой.

На заре Прошка прискакал верхом. От седла, которое Антип справил еще до революции, отвязал кусок шинельного сукна, бросил к ногам мачехи и, не слезая с коня, сердито буркнул:

— Командир воз повез, а меня гонял с поручениями, вздохнуть не давал, сволочь. Не буду больше адъютантом.

Мачеха подняла кусок сукна и с видимым недовольством швырнула в сенцы.

— Ты чего сидишь, не слазишь? — озабоченно спросил Антип.— Молочка попей.

— Отстану от своих. На Уварово наши пошли, теперь не скоро свидимся. Прощайте!— И Прошка пришпорил вороного мерина.

— Ты бы отцу хромовые достал, Прошка! — крикнула вслед мачеха.— Обещал ведь!

Прошка махнул головой и исчез за углом соседнего дома.

...Через два дня за селом, в овраге, в вечерних сумерках разразился неожиданный бой. Стрельба была густой и долгой, будто кто усердно ломал хворост за стеной избы, заготавливая топку. Антип прислушался, не выходя из избы, велел жене закрыть двери на засов. Но стрельба оборвалась так же неожиданно и сразу, как и возникла.

Антип вышел на улицу. К нему подошел сосед.

— Пойдем, Гордей, посмотрим, что там было? — предложил Антип.

— Господь с тобой. Ни за какие миллионы не пойду,— перекрестился сосед.— Иди, коли смелый.

Антип постоял, потоптался. Любопытство погнало его к оврагу. «Кто старика тронет»,— успокаивал он себя, шагая по апрельскому хрустящему ледку, продырявленному прошлогодней жесткой травой.

Кругом было тихо. Только где-то за бугром слышно

было удаляющееся цоканье конницы и неясные крики людей.

Антип прошелся по краю оврага. Хотел обойти куст дубовой поросли с прошлогодней жухлой листвой и — чуть не споткнулся. Из куста торчали ноги, обутые в сапоги.

Антип отпрянул. Он был не из трусливого десятка, но столь неожиданная встреча испугала его.

Успокоившись, он подошел, толкнул лаптем ноги: не раненый ли?

Убитый лежал ничком, голова его, видимо, была рассечена саблей — вся залита кровью, а шапка повисла на сухом сучочке у пенька. На убитом — кожанка.

«И сапоги вроде хромовые,— отметил для себя Антип.— Комиссар, знать».

Озирнувшись, Антип дотронулся пальцем до сапог — мягкая кожа легко продавилась. «Хромовые»,— прошептал Антип. Ему вдруг захотелось стащить их с убитого, пока ноги совсем не закоченели, но безотчетный страх прогнал его домой.

Варвара ждала его у крыльца вместе с соседом.

Безразлично зевнув, Антип махнул рукой:

— Ничего не видать. Ускакали, знать, все на Хитровку.— И пошел в дом.— Спать пора, Варя.

Когда она вслед за ним вошла в дом, Антип закрыл дверь на засов и торопливо рассказал, что видел.

— Что ж ты, старый дурак, сапоги-то бросил на произвол! — зашептала Варвара.

— Одному неловко и страшно.

— Пойдем по задам,— решительно сказала Варвара.— Возьми ножик на случай.

Антип едва поспевал за маленькой фигуркой жены, пробирающейся по апрельским жестким комьям прошлогодней пахоты.

Вот и куст. Антип огляделся кругом, поманил жену. Они наклонились над трупом.

Сапоги не снимались с застывших ног, Антип разрезал их по шву... Чтобы снять кожанку, стали поворачивать труп. Под его тяжестью громко хрустнула сухая ветка. Антип и Варвара присели от страха. Долго не могли даже пошевельнуть руками...

Пришлось разрезать и рукава. Антип спешил, руки его дрожали. Неловким движением он обрезал палец, крякнул от досады. Варвара свернула кожанку, сунула ее под мышку, схватила сапоги.

И вдруг со дна оврага раздался тихий, но хорошо слышный стон...

Только на родном подворье пришли они в себя.

За печкой, прямо на полу, засветили сальничек и стали рассматривать принесенные вещи. Антип схватился сразу за сапоги. Варвара вывертывала карманы. Из бокового вытащила бумажки и с любопытством развернула их.

— Листовка,— тихо сказала Варвара, прочитав серо-желтую плотную бумагу.— А это что?

Антип не смотрел на бумаги, они его не интересовали. Он поглощен был осмотром сапог. Один сапог оказался сильно порезанным.

И вдруг, даже не глядя на жену, он почувствовал, что с ней что-то случилось. Вскинув на нее озабоченный взгляд, Антип остолбенел.

Круглые остановившиеся глаза, в безмолвном крике раскрытый рот жены заставили побледнеть Антипа. Он оглянулся, думая, что она увидела там что-то страшное, но кухонный стол мирно и сиротливо стоял на прежнем месте, чуть склонившись к углу.

— Прошка! — взвизгнула Варвара и протянула Антипу бумагу.

Антип взглянул на измятый листок с печатью — читать он не умел.

— Что с Прошкой? — испуганно кинулся он к жене.

— Это Прошка наш! Это он убитый! — закричала она, указывая на кожанку.— Его документ!

Антип несколько мгновений обалдело смотрел на жену, словно не понимая, что случилось. Лицо его перекосилось и задергалось, руки забегали по полу, ища что-то. Вот они нащупали кожанку, наткнулись на сапог.

Антип зловеще хихикнул:

— Не вижу... Где Прошка? Где седло? Где конь?

Трясясь всем телом, он привстал, держась за приступку полатей. Подался вперед, к жене, выставив вперед руки.

— Где седло? Не балуйся. Прошка... Прошка, не

прячься! — заорал он.— Отдай седло! — Руки его нащупали шею рыдающей жены и конвульсивно сжались.

— Караул! — захрипела Варвара, вырываясь.— Караул!

— Отдай седло! — уже брызжа пенящейся слюной, рычал Антип в лицо задыхающейся жены.— Отдай седло!

И вдруг замертво повалился на пол.

3

— Как можно было после успешного боя в Пахотном Углу сдать Рассказово? — тихо, но строго спросил Антонов-Овсеенко у комвойск Павлова, который сидел против него рядом с членами полномочной комиссии — Васильевым и Лавровым.

— У Антонова всюду агенты и разведчики. Он воспользовался сменой гарнизонов, а главное — с юга вызвал вторую армию, не побоявшись оголить Каменку. Но это уже отчаяние...

— Его отчаяние не оправдывает наши потери и ненужные жертвы,— резко встал Антонов-Овсеенко.— Мы теряем замечательные кадры бойцов и командиров. Пора кончать игру в кошки и мышки. Антоновцы срывают сев. Сегодня мы выслушиваем людей, которых я вызвал по специальному списку,— представителей разных слоев крестьян, чекистов, совработников с мест. В ближайшие дни поеду в Москву просить новые войска и бронеотряды. Я не верю, что крестьяне этих трех уездов поддерживают бандитов... Не имеем возможности охранять их мирный труд — вот в чем суть вопроса.

В кабинет вошел штабной командир и передал Павлову свежую сводку. Павлов прочел и передал Антонову-Овсеенко.

— Вот, пожалуйста.— Антонов-Овсеенко поправил очки и стал читать вслух сводку второго боевого участка: — «Банда Антонова шестнадцатого апреля, разделившись в Большой Зверяевке (юго-западнее станции Чакино) на две группы, ушла по двум направлениям: одна через Каменку в Никольское-Лукино, другая, с самим Антоновым, в составе четырех полков, численностью

две тысячи конных, вооруженных винтовками, при одном орудии, нескольких пулеметах и обозе — двести подвод — двинулась в северо-западном направлении на Покрово-Марфино...»

— Новый рейд, новые жертвы! — заметил Павлов.

— Опять колесом вокруг Тамбова попер,— грубовато заговорил Андрей Лавров.— Ему бы все пути перерезать, да войск мало.

— И у него их негусто,— ответил Павлов.— Но ведь он не стоит на месте, не принимает боя, когда невыгодно. А у нас кавалерийских частей почти нет. Надо просить кавалерию.

— Товарищ Павлов,— перебил его Антонов-Овсеенко,— я вас отпускаю. Займитесь оперативной работой по этой сводке, а мы будем беседовать с людьми. Вечером зайдите ко мне с начальником штаба.

Павлов встал и тяжело зашагал к двери.

— Товарищ Лавров, где ваш Ревякин? Вы его вызвали?

— Он ждет, Владимир Александрович, здесь, в приемной.

— Зовите его.

Василий не знал, зачем его вызвали к Антонову-Овсеенко прямо с боевых позиций отряда, и потому вошел в кабинет настороженно.

Отрапортовав, сел в указанное Лавровым кресло перед столом.

— Мы с вами знакомы с прошлого года, Ревякин,— с усталой доброй улыбкой заговорил уполномоченный ВЦИК.— Помните картошку самоварного приготовления? Очень вкусно было!

Василий кивнул, но улыбки у него не получилось. Он оглянулся на Лаврова — тот смотрел на него ласково, прищурив глаза.

— Мы вас пригласили посоветоваться,— мягко продолжал Антонов-Овсеенко.— Вот говорят, что Антонова поддерживают крестьяне трех уездов, где прошло пригородное движение и где созданы комитеты СТК.

Василий нахмурился: «Не к тому ли клонит, что мой отец в комитете? Я сам признаюсь, нечего меня успокаивать!»

И он, подняв глаза на Антонова-Овсеенко, твердо сказал:

— Вам про моего отца сказали? Да, это верно. Он в комитет был записан. Я уже командование сдал Андрею Филатову.

— Подождите, я не понимаю,— развел руками Антонов-Овсеенко.

— Почему сдал? — тревожно встал с кресла Лавров.— Кто приказал?

— Зачем приказа ждать? Я коммунист. Раз отец в предателях...

— Ах, вон оно что! — закивал головой Владимир Александрович.— Теперь все ясно. А почему вы, Ревякин, считаете отца предателем?

Василий замялся.

— Хорошо, к отцу еще вернемся. Давайте поговорим вообще о крестьянах. Вот вы, Ревякин, верите, что за бандитов стоят крестьяне? Основная, средняя масса?

— Да что вы, Владимир Александрович! — воскликнул Василий, почувствовав себя легче оттого, что снял с души груз.— От темноты от своей мужик страдает. Вот я, примерно, знаю, что надо пережить тяжелое время. Знаю, что скоро будет легче... А мужики этого не знают и не верят этому. Отвыкли верить. А им шептуны всякое нашептывают про коммуну, грозят. Да еще наши дураки... некоторые,— поправился Василий,— властью балуются...

— Очень хорошо сказал! — воскликнул Антонов-Овсеенко.— Именно: балуются властью! Врагам, эсерам пищу дают для пропаганды! Кстати,— повернулся он к Лаврову,— из Москвы скоро прибудет к нам сто человек лучших рабочих-пропагандистов. Разошлем по уездам. Так тогда в чем же дело, дорогой Ревякин? Почему крестьяне молчат? Почему без сопротивления отдают Антонову овес, хлеб, лошадей? А от наших продорганов прятали хлеб в землю?

— А это, Владимир Александрович, в селах такой неписаный закон: круговая порука. Вот мне в прошлом году старик один так сказал: вы, говорит, приедете на денек, да и уедете, а нам тут с потьмой да с тоской оставаться наедине. Выдай я вам кого — мне красного пе-

туха под крышу подпустят. Куда я ночью с семьей денусь? А то и совсем убьют. У нас, говорит, как в стаде: одна круженая овца может всех замучить... И я тогда, Владимир Александрович, еще подумал: вот бы в каждом селе иметь свою круговую поруку!

— Примерно то же самое говорил я вам вчера,— обрадованно воскликнул Борис Васильев, сидевший до сих пор в стороне.— Именно круговая порука использовалась земствами, именно ею воспользовались и эсеры! Стоит дать крестьянам почувствовать, что в селе прочно обосновалась красная воинская часть, они выдадут всех своих обидчиков, всех бандитов! А мы устраиваем погони, топчем поля вслед за антоновцами.

— Уже и сейчас много случаев,— подтвердил Василий,— когда мужики приводят бандитов. И бандиты сами стали приходить. Я сегодня в Губчека с тестем встретился. Мы считали его погибшим, он разведчиком был заслан под Каменку. Там попал в руки вохровцев... Но его спас Митрофан Ловцов, бывший дезертир, мой односельчанин из сектантской семьи. Теперь к нам перешел. А помогал им ямщик Елагин, мужик крепкий, умный...

Хотел Василий сказать и про Соню, да застряло слово в горле.

— Ну вот, видите,— радостно поднялся с кресла Антонов-Овсеенко.— А вы своего отца уже в предатели записали! Вы виделись с ним? Говорили?

— Нет... не говорил. Мимо ездил, а не лежала душа встречаться.

— Он еще к тебе в коммуну вернется,— с улыбкой сказал Лавров, подойдя к Василию.

— В тебе, Ревякин, мы не сомневались.— Антонов-Овсеенко подал ему листок бумаги, на котором было написано: «в 4 часа 30 минут».— Это время, на которое надо прислать ко мне вашего тестя, вернувшегося из плена, и этого... Как его? Да, да, Митрофана Ловцова.

— Есть пригласить Олесина и Ловцова,— отчеканил Василий, вставая.

— Не удивляйтесь, Ревякин, когда вернетесь в Губчека: пока вы сидели в приемной, у вас там арестован Смородинцев. Он был связан с агентурой эсеров. Он да-

же на вас писал донос, вы это знаете? — Антонов-Овсеенко изучающе посмотрел на Василия.

— Я подозревал, что кто-то меня оговорил перед начальником, но на Смородинцева не грешил. Он всегда был со мной приветливый.

Антонов-Овсеенко многозначительно переглянулся с Лавровым и Васильевым.

— Подальше от такого привета, Ревякин! — по-отцовски строго посоветовал он Василию.

— Желаем тебе, Ревякин, победы. Когда думаешь вернуться в отряд? — поинтересовался Лавров.

— Как прикажут. Хоть сейчас.

— Сегодня тебя не отпустят. Обстановка изменилась. В ваш край двинулись крупные силы Антонова. Не забудь о листовках. Захвати их с собой побольше!

— Есть захватить побольше!

Выйдя из кабинета, Василий быстро зашагал по коридору и чуть не столкнулся на повороте с Пановым.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Едва различимый запах молодой травки уже тянулся с лугов. Наголодавшаяся корова металась в хлеву, припадая губами к светлой дверной щели, откуда доносился этот призывный запах жизни, и жалобно мычала — просилась на волю.

Но никто еще в селе не выгонял скотину на выпас: боялись внезапного возвращения зеленых. Стрельба все еще слышна была где-то в северной стороне. Бабы молили бога, чтобы подальше ушли зеленые в чьи-нибудь края, дали бы отдохнуть от бессонных ночей, от страха и беззакония...

К Серафиме, жене Макара, часто приходила соседка. Она сокрушенно качала головой и задавала всегда один и тот же вопрос:

— Серафимушка, переживем ай нет?

И сама отвечала:

— Только не думается. Страсти кругом и голодище...

Серафима, строгая и неразговорчивая, кивала головой, а сама все пряла и пряла пряжу, словно у нее была

такая семья, что хоть ночей не спи, а пряди. Макару нравилось трудолюбие Серафимы, но он-то знал: это она прядет тоску по детям, которых у нее не было и не будет. Ждала внучат от Сонюшки, а она вон какую штуку выкинула.

Воспоминание о Соне больно отдалось в сердце Макара. Что-то тревожило Макара в поведении Сони, а что —он не знал. К какому берегу она хочет причалить? Бог весть! Но неспроста так неожиданно налетел на Светлое Озеро отряд Василия Ревякина и чуть не захватил штаб Токмакова, который стоял тогда в его доме. Макар сам видел, как Ревякин погнался за Токмаковым, выскочившим в одних штанах. И убил его где-то за селом, у омета соломы.

«Ох, пропадет, пропадет Сонюшка! Горе, горе стоит за ее спиной».

Весь день Макар возился во дворе. Приготовил соху, проверил в тайнике семенное зерно, но душа была неспокойна. Необъяснимая тревога точила и точила с самого утра.

Съев несколько запеченных на сковороде круглых картошин с крупинками соли на румяных боках, Макар собрался было пойти помочь больной куме управиться со скотиной, как вдруг за окном показались всадники. Вот они уже у крыльца...

Он еще не разобрал, кто это — красные или зеленые, но сердце его словно оборвалось. Ни от красных, ни от зеленых он уже не ждал ничего доброго.

В избу ввалился рыжий детина Герман в сопровождении четырех здоровенных молодцов.

Макар испуганно осел на лавку. Герман даром не возвращается на старые места!

— Ты Елагин Макар? — грубо спросил он.

— Я...— едва слышно ответил Макар.

Герман метнул взглядом на Серафиму:

— Бабе есть куда уйти? Секретное дело.

— Серафима,— попросил каким-то чужим, едва слышным голосом Макар,— сходи к куме, помоги скотину убрать.

— Когда только в покое нас оставите, анчутки,— строго сказала Серафима, накидывая платок.

— Живей, живей,— сквозь зубы процедил Герман и помахал плетью.

Макар проводил взглядом жену до порога. Если бы она оглянулась, то прочла бы в этом взгляде мольбу не оставлять его. Но дверь хлопнула. Мимо окна прошла согнувшаяся Серафима.

— Ты выезжал с хутора, когда тут стоял штаб? — грозно спросил Герман.

— Сам Токмаков посылал,— угодливо ответил Макар.— К фельдшеру за лекарствами в Большую Липовицу.

— А куда заезжал без спросу?

— Соня, дочка, просила к ней заехать, она в Падах у подружки стояла. Давно не видались мы...

— А еще куда? — шагнул ближе к Макару Герман.

— Больше никуда.

— Врешь! — взвизгнул Герман и невидимым быстрым движением полоснул Макара плеткой.

Удар пришелся по плечу, боли не было, но Макар весь затрясся от страха.

— Кроме тебя, никто не мог сообщить красным о расположении штаба. Кому говорил?

Макар хорошо помнит, что только Соне сказал о своих постояльцах. Неужели она?.. Ужас охватил его от догадки.

— Крестом клянусь,— Макар рухнул на колени и несколько раз перекрестился.

— Иудиному кресту веры нет. Встань! Выводи лошадь!

Макар не мог оторвать колен от пола, словно кто прибил их гвоздями.

— Ну-у! — заорал во все горло Герман и снова полоснул плеткой.

Двое грубо оторвали Макара от пола и толкнули к двери.

2

Зорька настороженно запрядала ушами.

Она уже давно научилась различать добрый разговор людей и их злую ругань. Возле конюшни незнакомые го-

лоса громко кричат на хозяина, а он отвечает тихо и непривычно долго гремит замком.

Неохотно отворилась дверь, и апрельская вечерняя прохлада потянулась к ноздрям. Зорька сразу заметила за дверью двух притаившихся чужих мужиков с какими-то толстыми кнутовищами в руках. Хозяин в растерянности топтался у клетки, не решаясь войти, и это больше всего напугало Зорьку. Она привыкла к властному доброму окрику хозяина, к его грубоватой ласке, когда он треплет гриву или тяжелой ладонью похлопывает по крупу, а сейчас он словно боится подойти к ней, будто она ему уже совсем чужая.

Зорька повела налитыми кровью глазами на хозяина и, всхрапывая, заметалась в тесной клетке...

Раньше хозяин в ответ на такую выходку хлопнул бы ее по крупу и властно сказал: «Стоять, Зорька!» А сейчас жалостными глазами смотрел на нее и, молча положив руку на спину, бочком, бочком пошел к кормушке, над которой висела уздечка.

Зорька, шумно раздув ноздри, втянула в себя родные запахи хозяйской одежды, словно сомневалась, он ли перед нею, потом послушно подставила голову. Может быть, хозяин решил ускакать от этих злых людей? Она выбьется из сил, но докажет ему свою верность!

С улицы донеслось громкое ржание коней.

Живей, живей!

Руки хозяина дрожали. Инстинкт подсказал Зорьке, что несчастье уже случилось, но какое — она не знала. Понурив голову и тревожно фырча, Зорька побрела за Макаром.

У крыльца стояли незнакомые оседланные лошади. Он них шел пар. Они тяжело дышали. Знать, долог был их путь...

На улице, на свету, стало не так страшно. Весенний звонкий простор всегда опьянял Зорьку желанием долго-долго мчаться в свободном легком галопе по дорогам, полям, лугам — к той ровной, самой большой дороге, за которую вечерами прячется огромный таинственный красный шар.

Чего медлит хозяин? Надо скорее ускакать от этих злых людей, от этих загнанных потных коней.

Но хозяин отдал повод одному из чужаков. Из дома вышли еще двое, стали что-то делать с его руками, после чего он держал их только за спиной.

У самого злого чужака появились в руках вожжи. Он крикнул что-то и подошел к Зорьке. Сложил ее длинный хвост вдвое, перехлестнул петлей ременных вожжей и затянул узел, злобно крякнув от натуги.

Зорька навострила уши, нетерпеливо переступала ногами. Чужак дернул за повод и повелительно крикнул. Жалобному ржанию ее ответил умоляющий голос хозяина. Он упал на колени и зарыдал...

Зорька почувствовала, как натянулись вожжи, привязанные к ее хвосту. Теперь хозяин держался за вожжи, вывернув руки назад, и никак не хотел вставать с земли...

Чужак закинул повод и ловко вспрыгнул на спину Зорьки.

Она вся напряглась, готовая сбросить злого седока, а выпученные от страха глаза ее неотрывно следили за хозяином.

Чужак изо всех сил ткнул в лицо хозяину сапогом, и тот повалился, издав пронзительный, истошный крик.

Зорька никогда не слышала такого крика, она птицей метнулась в сторону, сбив седока, и, ощутив, что хозяин дернул вожжи, взяла с места в галоп, пренебрегая непривычно острой болью в хвосте.

Покосив назад глазом, она с радостью увидела, что хозяин держится за вожжи, хотя никак не может подняться на ноги, но в то же мгновение услышала еще более резкий и непривычный крик хозяина.

И Зорька потеряла самообладание. Храпя и брызжа слюной, она понеслась, взбешенная, изо всех сил на окраину хутора, за озеро...

Она не замечала уже людей, в страхе шарахающихся с ее пути, не слышала рычания собак, сопровождающих привязанный к вожжам страшный груз, в ее ушах застрял один повелительный дикий крик хозяина, а в глазах стоял только красный шар, опускающийся к той ровной дороге, за которой не будет уже темной ночи и тех злых людей.

У рощицы, загородившей собой красный шар солнца, который уже осел на горизонт, загнанная страхом Зорь-

ка рухнула на землю. Скрюченные пальцы рук, торчавшие над вожжами, напомнили ей о хозяине...

Веселый весенний стрекот сорок, вылетевших из рощицы, был последним звуком, подаренным ей жизнью. Природа дышала свежестью весеннего обновления, и не было ей никакого дела до того, кто и как ушел из жизни.

3

В широком шумном разливе кипит быстрая река... И кто только назвал ее Вороной? Орлицей быстрокрылой надо было ее назвать!

Соня впервые видит эту реку, о которой слышала так много от отца, и ее могучий поток успокаивающе действует на нервы.

Под лучами горячего весеннего солнца река вся искрится и играет, сталкивая и круша льдины, а на повороте сердито бьется под крутой берег, грозя обвалить его громаду в свои воды и разнести по дну мелкими песчинками...

Вот так бы и стоять, и смотреть на бегущие волны, и никуда не спешить, и ни о чем не думать.

Устала Соня от бесконечных походов и скачек. А этот последний позорный рейд вокруг Тамбова измотал ее нервы до предела... Куньи, Двойня, Селезни, Догтянка, потом лесные грязные тропки на Кривополянье... Пахотноугловские бородатые мужики с четвертями мутного самогона. Карась все чаще пристает к ней с ласками, словно чуя свой конец.

А эта подлая игра с похоронами Токмакова... Его больше суток возили с собой на лафете, чтобы схоронить в родном селе, а схоронили пустой гроб с его одеждой. Разроют могилу чекисты для опознания, а Токмакова в гробу нет. Вознесся! Святой! А в другом селе, ночью, под орудийный залп, хоронили его одни командиры, и Антонов пролил лицемерную слезу.

Соня прошлась по берегу, бросая в воду веточки ветлы. Они плыли, подхватываемые быстрым течением, и скрывались за льдинами... Плывут не по своей воле, плывут, пока не затянет их под размытый берег или не раздавят столкнувшиеся льдины...

Пропала Сонина жизнь. Несет и ее, как веточку, мутным потоком...

В заливчике у коряги Соня вдруг увидела зацепившийся за сучок лист голубой бумаги. Наколов длинной веткой, Соня подтянула к себе листок. Осторожно смахнув сырой песок, увидела полувыцветшую на солнце листовку:

«Побитые не раз красными войсками, эсеробандиты в нашей губернии никак не угомонятся...

И именно теперь, когда начались полевые работы, когда один день, можно сказать, год кормит, они усилили свою подлую разбойную работу.

Советская власть принимает все меры, чтобы помочь крестьянству обсеменить поля... Эсеры принимают все меры, чтобы сорвать засев полей. Из Ивановской и других волостей Тамбовского, Кирсановского уездов нам сообщают, что бандиты не дают выходить в поле, отбивают лошадей и избивают пахарей. Какой у них расчет? Всех повернуть в свои разбойные шайки? Мол, с голодухи люди на рожон попрут? Вот новый злодейский умысел эсеробандитов. Вот какова их работа!

Обманом, льстивыми обещаниями и подлыми наветами они подняли мирных тружеников против советской власти. Когда труженики начали отходить от них, повернули вновь к земле, прокляли эсеробандитскую затею, они тогда подло и злодейски стали им мстить — разорять их вконец.

Крестьяне-трудовики! Положите конец этой каиновой работе. Раздавите этих гадов! Они капля против нас. Рассеянные кучками, они прячутся от красных войск, нападают из-за угла.

Вы знаете их — действуйте смело, призывая на помощь Красную Армию».

Что-то больно-больно дотронулось до сердца Сони. Отец с мачехой теперь, наверно, в поле. Идет сев. Как хотелось бы все-все бросить, забыть, вернуть те счастливые, беззаботные дни, когда босоногой девчонкой шагала она за отцом по мягкой, прохладной борозде, а сза-

ди безбоязненно садились в борозду грачи, весело крича и хлопая крыльями...

Соня свернула листовку и спрятала за пазуху, чтобы в каком-нибудь селе оставить хозяевам на память.

Вернувшись назад, Соня подсела к костру, который развели карасевцы на крутом берегу, вблизи от стреноженных коней.

Шумный, веселый разговор не трогает ее. Она привыкла молча слушать и не слышать. Она чувствует себя одинокой с тех пор, как с Ефимом ушел Митрофан — последний светлый луч в ее беспросветной жизни.

Чего она теперь ждет? Какого счастья? Какого конца? Веточка... плывет против своей воли.

Соня смотрит на красные язычки пламени, бегающие по хворосту, и видит горящий свой дом, подоженный Василием.

Дом... Зачем он ей? Жаль только — в сундуке сгорело простенькое платье, в котором она бывала с Василием. Жаль... Да мало ли чего жаль! Жизнь загубленную жаль, а не вернешь!

Костер горит плохо — нет поблизости сушняка. Собрали кое-что. С концов веток, шипя, скапывает пена, горячий дымок заносит то в одну, то в другую сторону. Все щурятся, покашливают, но никто не отодвигается от костра.

Карась прилег рядом с Соней. Он хотел даже положить голову на ее колени, но она молча отстранилась.

Принесли самогон. Четверть, завернутую черной тряпицей, поставили на потник.

Горько-сладкий знакомый запах щекочет ноздри и заставляет забыть обо всем на свете. Соня следит за тем, как священнодействует над четвертью Макуха — так прозвали веселого блондина с куртинкой черных волос на голове. Может быть, эта черная макушка и сделала его шутником. Смеются над ним — приходится отвечать.

Вот и сейчас, словно по традиции, перед выпивкой кто-то спрашивает его:

— Нет, ты, Боря, все же признайся, отчего у тебя макушка черная?

Сегодня он под общий хохот ответил:

— Черный телок лизнул.— Это он Соню постеснялся, а бывало так завернет, что уши вянут.

— А хотите, расскажу, как я одного деда напужал? Умора! Идет он с обрезом мне навстречу: знать, отряд ищет... «Вот я и есть, говорю, большевик».— «Да ну?» — удивился. «Вот тебе и ну. Сейчас тебя, контру, укокошу... требух — туда, гусек — суда». Затрясся старик. «Прости, говорит, товарищ комиссар, по глупости сказал». И — бац в ноги. «Встань, говорю, старый дурак, пошутил я, иди бей их, треклятых. Видишь, бант у меня зеленый?» Старик так и обмер. Схватил меня за ноги и еще пуще: прости да прости. Едва отстал, сердешный.— И Макуха, довольный, оскалился.

Никто ничего не сказал. Только Карась злобно швырнул хворостинку в костер и коротко, но внушительно сказал:

— Дурак!

Не получилось у Макухи на этот раз веселого рассказа, и он, обиженный, замолк.

Разлив в две кружки самогон, подал Соне и Карасю.

Карась выпил залпом, отплюнулся, утерся ладонью, приник к ломтю. Соня тянула долго, медленно запрокидывая голову и зажмурив глаза. Остатки плеснула. Брызги попали Макухе в лицо, он с удовольствием размазал их и крикнул:

— Будто елеем окропила!

— Знала бы, всю кружку ухнула! — безразлично бросила Соня.

Она положила на свои красные галифе ломоть черствого хлеба и стала отщипывать от него понемногу и нехотя жевать, продолжая смотреть в костер.

Макуха обнес всех, налил себе.

— Эх, братцы, не жизня, а малина: пьем и еще остается!

— А что, неужели и вторую опрокинешь? — поинтересовался Карась, тиская в зубах кусок старого, пожелтевшего сала.

— Туда проскочит, а там как хочет!

— Ха-ха-ха,— загоготали карасевцы, таращa глаза на находчивого Макуху.

— Однова живем! Лейте мне еще, братцы! — вошел в раж Макуха.

Карась, взглянув на Сонино грустное лицо, оборвал его:

— Ты, Макуха, лучше затяни-ка Сонину любимую песню...

— А что? И затяну. Для нашей королевны постараемся, братцы.— Макуха скосил на Соню бесовский глаз. Карась погрозил ему кулаком.

Степь да степь кругом
Широка лежит,
А во той степи
Замерзал ямщик...—

тенорком повел Макуха.

...А во той степи
Замерзал ямщик...—

повторили басовитым хором.

Макуха изо всех сил старался оправдать роль ведущего певца, он таращил глаза, взмахивал рукой, блаженно щурился, и никто не поверил бы, глядя на его еще юное лицо, окрашенное песенным вдохновением, что он только час назад зарубил комсомольца, своего сверстника...

Соня знала об этом, она смотрела на него с отвращением; ей было противно, что он так азартно и хорошо поет ее любимую песню.

— Ты чего сама не поешь? — спросил Карась.

— Коль все будут петь, кто же будет слушать? — уклончиво ответила Соня.

...Замерзая, он,
Чуя смертный час,
Он товарищу
Отдавал наказ...

Соня обвела взглядом всех поющих карасевцев и с удивлением заметила на многих лицах какое-то грустно-восторженное, по-детски наивное выражение,— очарование народной песни заставило их забыться...

Про меня скажи,
Что в степи замерз,
А любовь ее
Я с собой унес...

Соне вдруг так захотелось, чтобы до бесконечности длилось такое состояние людей — без вражды, без кровопролития и насилия.

— В ружье! — донесся из села зловещий хриплый крик.

Карасевцы засуетились, недовольно заворчали, и лица у всех сделались непроницаемо-каменными и злыми.

А орлица-река по-прежнему свободно и широко неслась в своих весенних берегах.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Двадцать четвертого апреля Антонов-Овсеенко лично прибыл в Москву на заседание комиссии по борьбе с бандитизмом.

Михаил Васильевич Фрунзе и Феликс Эдмундович Дзержинский, которые вели заседание, внимательно выслушали доклад полномочной комиссии и решили послать в Тамбов командарма Тухачевского, который в марте успешно ликвидировал кронштадтский мятеж. Из резерва главкома были выделены для отправки в Тамбов две стрелковые бригады, кавбригада Котовского и ударная группа бронемашин под руководством Уборевича.

Двадцать восьмого апреля в Тамбове полномочная комиссия ВЦИКа провела широкое совещание с военными и партийными работниками губернии, на котором выступил Тухачевский и изложил в основных чертах свой план.

А план был очень прост: столкнуть антоновцев в юго-восточный угол — в ту берлогу, откуда они начали зверствовать, и там беспощадно уничтожить тех, кто не сдастся. На освобождающейся территории решено было оставлять часть войск для охраны крестьян на полевых работах и помощи крестьянским семьям во время сева.

«За Антонова взялись всерьез, пора, пора»,— удовлетворенно говорили люди, расходясь с этого совещания.

В конце апреля на Тамбовщину начали прибывать свежие войска, а 7 мая легендарная кавбригада Котовского уже начала преследование банд.

И покатилась по селам слава замечательного полководца, лучше всякого оратора агитирующая за советскую власть: «Бойцов сеять заставляет», «Сам за сохой ходит!», «А силища невероятная: двух бандитов столкнет лбами — мозги в потолок!», «Вот это нашенский мужик!»

Под носом у плужниковских комитетов стали собираться сходки, которые выносили «приговоры»: помириться с советской властью и выдавать бандитских вожаков.

И потянулись в ревкомы с повинной целыми отрядами обманутые Антоновым «подушечники».

«В банду шли миром и каяться надо миром. На миру-то и смерть красна!»

2

Звонкая, торопливая весна разбушевалась по берегам рек.

Белыми облачками покрылись вишневые сады, сбегающие к крутым берегам Вороны. В них уже радостно гудят неугомонные пчелы — мирные бескорыстные труженицы.

А кругом еще льется кровь...

Забросили бандиты свои сады. Когда-то вот этот с кровожадным взглядом всадник любовно сажал вишенки, теперь он скачет мимо своего сада, даже не оглянувшись,— торопится за своим бандитским отрядом.

Куда ты скачешь, неуклюжий всадник? Остановись, войди в свой сад, забудь о кровавых помыслах, посмотри на невестинский наряд вишен, приветливо покачивающих тонкими веточками, прислушайся, как усердно трудятся пчелы, собирая тебе мед.

Брось, всадник, кровавое дело, возьми лопату, выруби бурьян, что разросся у тебя в саду, возьми лукошко и посей на своей полоске хлеб — тебя ждет, испаряя влагу, жадная, голодная земля.

Но не внемлет всадник голосу рассудка, скачет и скачет как угорелый. Скачет к своей погибели...

3

По Карай-Салтыкам метались антоновцы, развозя по полкам распоряжения оперштаба. Только что кончился митинг, на котором Антонов объявил южный угол Кирсановского уезда (пойму реки Вороны) «демократической республикой» и объявил решение главоперштаба «республики» о мобилизации в «армию» «Союза трудового крестьянства» всех мужчин от двадцати до сорока лет.

На митинг были согнаны все жители Карай-Салтыков, Карай-Пущина и Балыклея. Люди молча стояли, выслушивая речи Плужникова и Антонова, и так же молча расходились, чувствуя, что не от добра объявил атаман мобилизацию.

Метались по селу всадники, шушукались по углам бабы, а Антонов сидел в саду Семенова под большой белой вишней, в деревянном резном кресле, и невнимательно слушал Плужникова, нервно комкая в руках газету.

Рядом с Плужниковым сидел остролицый холеный господин в золоченом пенсне и в знак согласия кивал головой.

Плужников излагал план тайного возвращения члена ЦК эсеров в Москву через Борисоглебск, излагал его со всеми деталями,— это бесило нетерпеливого Антонова.

— Вот так же и с поляком неделю пестались, а отдали в руки Чека за один день. На явки да на пароли надеетесь... Вот вас и напороли,— съязвил он.— А мне не до вас! Краснюки по следам идут. Вздохнуть не дают. Вот читай: «Кончается авантюра Антонова...» Хвалятся, что захватили мой фаэтон под Кашировкой. А вот: «Махно разбит, Колесников ведет переговоры».— Он тыкал пальцем в газету то в одно место, то в другое, читая заголовки.— А вот еще слаще: «Два полка Антонова сдались вместе с командирами!» Ну что? Хватит или еще? Или напомнить, что крестьяне одобряют отмену продразверстки и вылавливают местных бандитов?! — уже рычал он, потрясая газетой.

— Ты, Степаныч, успокойся. Кирсанов еще будет наш. И в Тамбове будем! Попомни меня!

— Успокоил, черт старый! — взбеленился Антонов от

упоминания разгрома под Кирсановом.— Покою от вас нигде нет! Дайте отдышаться на природе!

— Чего психуешь, Александр Степаныч, не так надо волю свою являть!

Молчавший до сих пор представитель эсеровского ЦК поправил пенсне и с достоинством сказал:

— Французская пословица говорит — три вещи проверяются только в трех случаях: стойкость — в опасности, мудрость — в гневе, а дружба — в нужде.

— Пошел ты к черту со своей дружбой,— не мог уже сдержать себя «диктатор новой демократической республики».— От вашей дружбы мы еще ни одного патрона не получили! Болтовней одной питались! На бабьих подушках с обрезами воюем! А у Тухачевского — броне-автомобили! Вот останься с нами да повоюй!

Тот обиженно встал и пошел к дому Семенова, у которого уже третий день прятался, ожидая этой встречи.

— Обидел человека, а чем он виноват? — хищно повел суровым взглядом Плужников.— Ой, и трудно с тобой, Степаныч...

— А с вами мне легко? Краснобаи! Сперва пороху понюхайте, господа, прежде чем учить меня! А в норках отсиживаться и мы умеем! — уже напролом попер Антонов.

— Тебе и впрямь успокоиться надо,— примирительно сказал Плужников, вставая.— Я пойду. Позовешь сам.— И, сгорбившись, пошел по тропинке к дому.

— Позови брата. Или пришли Ирку Горшеневу! — крикнул ему вслед Антонов.

Вскоре пришел Дмитрий с каким-то подносом в руках, накрытым полотенцем.

— Александр! Россия начинается с деревянной хлебницы и подового хлеба, посыпанного солью! — Театральным жестом Дмитрий сбросил полотенце и поднес брату на деревянном резном подносе свежий, парящийся сладким духом хлеб и медную большую кружку молока.

— Вот это дело! Спасибо, брат! — Антонов жадно глотнул молока, отломил от ломтя мякиш.— Эти говоруны меня чуть болтовней не уморили. Садись, брат, поговорим. Слышишь, как пчелы гудят? Хорошо здесь! Последние дни видимся редко. Отступаем, брат, бежим, крутимся, как в беличьем колесе. Эх!..

Он увидел Соню, оживился.

— А-а, это ты? Иди, иди сюда! Я знал, что ты сама уйдешь от Васьки,— осклабился Антонов.

Соня остановилась.

От страшной решимости кружилась голова, она едва стояла на ногах.

Два часа назад она узнала от Макухи, что ее отца растерзал Герман, привязав к хвосту лошади. Она бросилась искать Германа, чтобы застрелить этого кровожадного волка, но он все еще где-то «зачищал следы» — не показывался в Салтыках.

Кусая от отчаяния руки и корчась в мучительных рыданиях, Соня вдруг вспомнила, что Герман, как и все бандиты, выполняет волю главного бандита, Антонова, и, пока он жив, будет литься кровь, будут истязать неповинных людей... Она вскочила с постели и заметалась по комнате. Хорошо, что нет мужа, пусть несет охранную службу!

Долго не могла успокоить дрожь, долго не высыхали слезы.

Но вот она здесь... В нескольких шагах сидит человек, в которого она должна выстрелить... выстрелить первый раз в своей жизни в человека. Да разве он человек? Отца, единственного, доброго, ласкового, растерзали, гады!

Соня открыла глаза. Они сверкнули сухим огнем.

— Ну, иди, иди, не бойся... Митя, сходи принеси нам самогоночки! — вкрадчиво говорил Антонов.

Соня шагнула еще два раза... Знала, что это последние шаги к смерти,— его убьет и сама погибнет.

Сунула руку за пазуху, взвела курок.

Только бы попасть, не промахнуться...

Она встретилась взглядом с его расширенными от удивления глазами, и они вдруг ей показались теми самыми, черно-пустыми глазами, что преследовали ее так мучительно и так долго.

Только бы не промахнуться... Хорошо бы в самый глаз.

Еще шаг сделала Соня...

Антонов подумал, что она его стесняется, и протянул ей руки.

Соня вынула руку из-за пазухи... выстрелила прямо в лицо.

И увидела — он жив! Выхватывает из кобуры маузер! Только кровавая борозда пробежала по скуле.

Промахнулась...

Она взвела курок еще раз, но стоявший сбоку Дмитрий выстрелил раньше.

Соня рухнула навзничь, раскинув руки. Наган далеко отлетел в сторону.

В угасающих глазах ее отразились лица склонившихся над ней братьев-бандитов, и она, собрав последние силы, внятно прошептала:

— Га...ды...

Размазывая кровь по лицу, посиневший от страха Антонов махал маузером перед носом сбежавшихся охранников:

— Кто пустил?! Где Карась? Расстреляю!

— Труп-то убрать надо,— тихо сказал Дмитрий.

— Не трогать! — продолжал кричать Антонов, не слушая и брата.— На съедение собакам! На страх всем! Всем! — Он, держась за скулу, зашагал к дому, от которого бежал навстречу Плужников.

В воздухе вдруг послышался гул мотора, и вскоре стал виден аэроплан, разворачивающийся над селом.

С земли раздались залпы — бандиты стреляли, надеясь достать до него.

— Пулеметом, пулеметом надо! — закричал Антонов, уже забывший про свое ранение.— Тачанку сюда!

Аэроплан взял круто вверх, и из него посыпались тысячи белых листков. Они опускались медленно, кружась в воздухе, словно стая белых чаек, а Антонов орал на все село:

— Не читать! Все собрать и сжечь! У кого найду — расстреляю! Командиры, ко мне!..

Аэроплан взял курс на северо-запад, и вскоре не стало слышно его мотора.

А в саду под вишней лежала убитая Соня и широко открытыми глазами глядела в небо.

Пчелы мирно гудели над ее телом. Белые лепестки вишен ласково и нежно ложились на ее холодеющие руки, на мраморное страдальческое лицо. Это старые виш-

ни щедро осыпали на нее невестинский свой наряд, словно хотели скрыть ее от грязных взглядов.

Поздно ночью, когда антоновские полки, прячась от бронеотряда, уже подходили к уваровским лесам, Карась со своими верными дружками и остатками двух полков, разбитых в Умете, заскочил в Карай-Салтыки, надеясь увидеться с Соней.

Трясущегося от страха Семенова он чуть не пристрелил, узнав, что Соня, убитая Антоновым, до сих пор валяется в саду.

Если бы Карась знал, за что убил ее Антонов, он, может быть, не стал бы хоронить ее с почестями, но тайну происшедшего в этом саду увезли с собой братья Антоновы.

Карась увез труп Сони в лес, положил ее на крутом берегу Вороны и первый высыпал на ее ноги картуз приречной песчаной земли.

Вскоре вырос на этом месте холмик...

А Карась, дав клятву отомстить Шурке Антонову за Соню, двинулся в свои родные края.

4

Маша только что пришла из госпиталя, где второй месяц работала санитаркой. Хотела начать стирку, но в дверь влетел Мишатка с неожиданной радостной вестью:

— Дядя Паня! Дядя Паня идет! С орденом!

— Где? Где он?

— Да вон идет! Я их на улице с тетей Кланей встретил!

— Бежи, сынок, за бабушкой, она с Любочкой у соседей.

Панька вошел сияющий. На шинели блестел новенький орден.

Маша обняла сразу обоих — и Паньку и Клашу. В радостном порыве не знала, что сказать, только гладила пальцами орден и повторяла:

— Господи! Как хорошо! Хорошо-то как! Живы!

Радостный плач Авдотьи послышался из коридора. Увидев «деток» своих живыми, она приникла к Панькиной груди.

— Милые мои! Родные мои! Желанные мои! — только и могла выговорить Авдотья.

— А где же батя? — спросил Панька.

— В Губчека он,— ответила Маша.— На Карася облаву готовит вместе с Васей.

— Да ты, сынок, и не узнаешь отца-то,— утирая слезы, заговорила Авдотья.— В ремнях ходит, как комиссар. Чуть в петлю опять не угодил.

Мишатка уже крутился у шинели, которую Панька повесил у двери. Услышав разговор о деде, Мишатка перебил бабку и взахлеб стал рассказывать, каким героем был дед Юша в Каменке, как его освободил Митрофан.

Панька слушал рассказ, и лицо его становилось все суровее и бледнее. Сидор Гривцов стоял перед его глазами, и руки дрожали от желания задушить этого зверя...

— Попался бы мне Сидор...— сквозь стиснутые зубы процедил он.

Авдотья не отрывала глаз от лица сына, разглядывала каждую морщинку, словно узнавала и не узнавала того, своего прежнего Паньку, которого нянчила, водила за руку, учила добру и уму-разуму.

— Маленький, сынок, был ты губастенький,— раздумчиво сказала Авдотья,— добренький, а какой теперь стал — не узнать. Губы тонкие сделались, даже искривились.

— Не то што губы... ребра, мать, искривились от злости! — ответил ей Панька.— Душа прочернела!

— Да что же я сижу-то,— спохватилась Авдотья.— Кашей угощу вас, детки. Пшена нам, пострадавшим коммунарам, вчера дали.— И она засеменила к печке.

— Мы к чаю морковному привыкли,— улыбаясь, сказала Кланя.— Сахару с Пашей копили ребятам. Достань сахар, Паша.

Панька вынул из кармана галифе кисетик. Кланя вынула по кусочку сахару Мишатке и Любочке, а кисетик передала Маше.

Сели за стол. Авдотья подала кашу.

Тихо постучал кто-то. Все обернулись к двери. В сгорбленном, сумрачном человеке, переступившем порог, Маша первая узнала Захара.

— Батя! — всплеснула она руками.

Захар окинул взглядом всех, кто сидел за столом, видимо ища сына, потом остановил взгляд на Паньке.

— Я пришел, Павел...— хрипло, едва слышно, заговорил он.— Арестуй меня и в Чеку сдай.

— Да какой там арест! — кинулась к Захару сваха.— Садись за стол. Кашки с дороги съешь, Захарушка!

— Нет,— покачал головой Захар.— Спасибо за хлеб-соль. Я не за этим зашел. Грех с души не за столом снимают.

— А за что тебя арестовывать? — строго спросил Панька, вставая из-за стола.— Коли сам пришел, так и в Чека сам иди!

Захар посмотрел в его светлые, чистые глаза, заметил на груди орден... Склонив голову, едва слышно сказал:

— Васятка там... Встречаться боюсь. Опозорил я его, горе-горюхино, на старости...— И рухнул на колени.— Арестуй меня ты, Павел, отведи сам... боюсь я... Объясни им! — Он зарыдал, прижав бородатое лицо к Панькиной руке.

За всю свою жизнь так освобождающе-искренне не плакал Захар. За всю свою жизнь не чувствовал себя перед кем-нибудь таким виноватым...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Час расплаты настал...

Это видели уже сами эсеры, отказавшиеся теперь от поддержки антоновщины, это почувствовали сами бандиты, сдаваясь на милость советской власти...

Даже белоэмигрантская газета «Руль» 2 июня 1921 года писала по поводу последнего воззвания эсеровского ЦК, что эсеры сами вынуждены признать отсутствие для их работы надлежащей почвы в «Советроссии».

Настроение масс сами эсеры определяли двумя словами — «безмерная усталость» — и сами же сознавали, что «вера в их партию совершенно уничтожена».

По мнению кадетов, эсеры в своих замыслах только и могли рассчитывать на бандитские элементы. Об этих элементах кадетская газета писала так:

«Многолетняя непрерывная война, огнем опалившая весь мир, воспитала целое поколение по убийству, которые смотрят на пулемет и нож с такою же любовью, как музыкант на свою скрипку. Война отучила этих молодцов от мирного труда. Они не умеют ни пахать, ни строить, ни писать, их профессия — убийство, а единственная цель существования — насилие и разбой. Прекращение войны для них гибель. По существу, им безразлично, за кого идти. Они с теми и этими охотно идут туда, где свободнее проявить свою профессию, где только есть безграничная возможность убивать и грабить...»

Но сколько ни гуляли убийцы по земле — час расплаты настал...

В тот день, 2 июня, когда эту кадетскую газетку с разоблачением сути эсеровской политики читали за границей бездомные эмигранты, брюзжащие на всех и вся, антоновская вторая «армия» перестала существовать. Не спасли бандитов быстрые кони. Бежавшие от реки Вороны в сторону Саратовской губернии «полки», оставшиеся после разгрома в Кирсанове, были настигнуты бронеотрядом Конопко у деревни Елани и окончательно разгромлены. Антоновцы потеряли за несколько дней отступления все пулеметы и обозы; погибло более восьмисот бандитов... Сорок семь бойцов, преследовавших банду на семи бронемашинах, оказались для бандитов страшнее десятка полков.

В паническом ужасе драпали от броневиков «подушечники», давя друг друга. Кони в животном страхе сбрасывали с себя седоков и носились по полям, развевая по ветру перья и пух из простреленных подушек...

Только Антонову со штабом удалось ночью скрыться под прикрытием «гвардейского полка», от которого осталось уже не больше эскадрона.

А через несколько дней бронеотряд под командованием Уборевича прижал к Хопру остатки «войск» Богуславского и потопил их в реке...

Час расплаты настал...

Антонов обещал своим сподвижникам к весне захватить Тамбов и принимать на Советской улице парад, но в другом «параде» пришлось участвовать некоторым его головорезам...,

Однажды Советская улица Тамбова стала свидетельницей необычного зрелища. Пестрая бандитская кавалерия вместе с обозом стройно, но понуро проследовала до Казанского собора, где размещалась к тому времени Губчека. Это были добровольно сдавшиеся бандиты, преимущественно командного состава, во главе с такими зачинщиками, как Воротищев, Кульдяшев, Венедиктов, Бармин... сто тридцать шесть верховых, пятнадцать пеших... сто тридцать девять винтовок, четырнадцать револьверов, шестьдесят две шашки...

Отовсюду сбежались люди посмотреть на бандитов. Кричали им вслед ругательства, задавали обидные вопросы.

Бандиты молчали, трусливо озираясь из-под нахлобученных шапок с зелеными бантами.

Широкие ворота собора были раскрыты настежь, чтобы закрыться за ними. «Не навсегда ли?» — тревожно переглядывались те, у кого было больше крови на руках...

Но те, которые знали, что прощения не будет, ушли давно в глухие лесные чащобы — коротать безрадостные волчьи дни, захватив с собой награбленное добро, на которое можно выменять еду и откупиться от «дурного глаза».

Только Матюхин, осторожный и совсем озверевший бандит, отколовшийся от Антонова, все еще совершал то тут, то там набеги из леса с остатками двух «полков», численностью в четыреста пятьдесят сабель.

Но и матюхинское «войско» вскоре было уничтожено.

Григорий Иванович Котовский воспользовался стремлением бывшего начальника антоновского штаба Павла Эктова искупить вину перед советской властью. Через Эктова Котовский затеял переписку с Матюхиным от имени казачьего атамана Фролова, будто бы пришедшего с Дона на помощь Антонову.

Встреча с переодетыми под казаков котовцами в селе Кобылинке стоила матюхинцам жизни. За час ожесточенной пулеметной «работы» банда Ивана Матюхина была уничтожена. Бойцы не хотели оставлять в живых звероподобных людей, которые сами бахвалились, с каким наслаждением выкручивали головы красноармейцам.

Но среди трупов не удалось обнаружить самого Ма-

тюхина. Легко раненный, он воспользовался суматохой и скрылся в лесу вместе с братом Михаилом, лично охранявшим его. Только через некоторое время чекисту Василию Белугину удалось разыскать и уничтожить Ивана Матюхина.

А в бандитской «столице» Каменке, в подземелье, вырытом по заданию Плужникова еще в 1919 году, отсиживали последние денечки члены губкома СТК и штабные работники Богуславского. Они не знали, что Богуславский кончил свои дни в Хопре и Старик — Гришка Плужников, председатель,— застрелился в лесной землянке.

Каменские мужики, сначала твердо державшие слово — не выдавать подземелье,— привязались к добрым, словоохотливым бойцам Котовского и вскоре поверили: антоновцам больше не вернуться. Всему делу Плужникова — крышка.

Выдать решили, но кто первый скажет? Вот она — кривая мужицкая душа!

Кое-как накорябав на обрывке листовки несколько слов, какой-то «смелый» мужик тайно подбросил бумажку приехавшим чекистам...

В подземелье было захвачено восемьдесят бандитов. Весь состав губкома СТК и двадцать отъевшихся охранников были выведены на свет божий, чтобы увидели крестьяне, кого они скрывали от возмездия.

— Зачумили, гады, все деревни! — кричали осмелевшие мужики.

— В норках сидели, проклятые конурщики, а нашей кровью поля заливали!

— За нашей спиной прятались, сволочи!

Пухлые, лоснящиеся от грязного пота, похожие на разжиревших крыс, стояли, вперив тупые взгляды в землю, эти подлые, ничтожные люди, еще недавно гордо именовавшие себя социалистами-революционерами, защитниками крестьян.

Час расплаты настал...

2

Митрофан шел смело.

Только изредка наклонялся, минуя толстые сучки, или поднимал руку, отводя от глаз колючие ветки...

Он не боялся теперь ничего. В тот вечер, когда Ефима вел в Федоровку, а потом скакал с Макаром от погони, с ним что-то случилось такое, будто все нутро вывернулось наизнанку.

С сожалением он вспоминает свою трусость, побег с фронта, который чуть не погубил его.

И шагает он по тропинке Воронцовского леса, чтобы окончательно расстаться с прошлым, чтобы вырвать Соню из грязных рук Карася.

Сзади шагает Ефим, которому доверили чекисты Митрофана под личную ответственность.

Останавливаясь для того чтобы оглядеться и прислушаться, Митрофан косит глазом на суровое лицо Ефима, слышит его частое дыхание, и радостное чувство переполняет его. Какими они стали оба: и Ефим и Митрофан! Чудачок-батрачок Юшка превратился за какие-то два с небольшим года в заведующего хозяйством коммуны, в разведчика-чекиста, умеющего хорошо стрелять, немножко читать и расписываться. А чего стоило Митрофану преодолеть свою трусость!

Митрофан оглянулся — не далеко ли оторвались они с Ефимом от отряда Ревякина?

Нет, вон он сам шагает первым, за ним Андрей Филатов и бойцы.

Настя, сестра Василия, случайно увидела Карася с двумя его дружками — Кузнецовым и Шановым — у реки, когда полоскала белье. Значит, где-то здесь прячутся они, в лесу.

Перед старой базой, где Митрофан увидел тогда Соню у костра и где прошли их первые счастливые дни, он остановился, настороженно прислушался.

Никаких признаков жизни.

Значит, еще глубже ушли в лес, к болотам.

Ничего, Митрофан изучил все просеки и тропинки в этом лесу, пока жил тут с ними прошлое лето. Отыщет обязательно!

Но наступал вечер, а поискам не было видно конца. Лес велик — за неделю всех тропок не обойдешь...

Отряд остановился на отдых.

И вдруг Митрофан вспомнил: Карась однажды расхваливал Сидору «Вшивую горку», где очень удобно и легко делать землянки...

А что, если и в самом деле там они, а не в этих болотах?

Ефим посоветовал Митрофану сказать об этом Василию. После короткого совещания решено было разбить отряд на две части. Василий идет за Митрофаном и Ефимом с теми, кто еще не очень устал. Андрей Филатов с остальными охраняет подходы к болотам.

На всякий случай Василий назначил пункт сбора, и Митрофан повел отряд.

...Тихо пробираясь в сумерках по тропке, уже близкой к цели, Митрофан вдруг замер, услышав глухие человеческие голоса.

Словно из подземелья, просачивалась песня.

Митрофан прилег на живот, приложив ухо к земле.

«...Замерзая, он, чуя смертный час...» — расслышал Митрофан слова очень знакомой песни, и лицо Сони, грустное, бледное, всплыло в его памяти. Ее любимая песня... В землянке поют! Здесь, значит, и она.

Радостный, кинулся он к Василию.

— Здесь,— прошептал он.— Тихо окружайте, а мы с дядей Юшей пойдем прямо к ним. Они мой голос знают.

Потом вернулся к Ефиму, перекрестился и тихо сказал:

— Ну, с богом, пошли...

— Гераська? Ты? — послышался оклик.

Митрофан сразу узнал, что это Фрол Долгов из Двойни. А Гераська Сушилин, липовицкий, знать, выходил по нужде... Хорошо, что так случилось!

Митрофан услышал сзади короткий тихий щелчок — это Ефим взвел курок маузера — и шагнул навстречу голосу.

— Это я, Фрол,— сказал Митрофан и испугался своего голоса — таким он показался ему опять трусливым и умоляющим.— Митрофан Ловцов!

— Митрошка? — вдруг насторожился голос в темноте.— Откель ты взялся, трус? Ну-ка, подойди ближе.

За широкой спиной Митрофана тихо крался Ефим. Как только Митрофан подошел к часовому вплотную, Ефим ткнул в живот часового маузер — раздался глухой короткий выстрел.

Митрофан метнулся через труп к двери землянки, широко распахнул ее и увидел возле чадящей лампы пьяно-

го Карася, играющего в карты с Сидором и Павлом Кузнецовым. Сони в землянке не было.

— Митрошка? — зарычал из глубины землянки Сидор, хватаясь за револьвер.— Иди сюда, подлец несчастный!

Ефим оттолкнул Митрофана от двери, швырнул в землянку гранату.

Раздался взрыв.

Ефим держал маузер наготове, но из землянки никто не выскакивал, только слышен был чей-то глухой, рычащий стон, медленно приближающийся к двери.

Ефим ждал...

А Митрофан увидел, как засветилась неподалеку одна дверь и из нее выскочили бандиты. Он кинулся туда, но навстречу ему засвистели пули. Он лег на землю и пополз к желто-светлому пятну.

Граната взорвалась где-то совсем близко. Митрофан услышал крики, стоны, стрельбу, но его это уже не страшило: он тянулся к светлому пятну...

Заглянув в землянку, Митрофан увидел пустые низкие нары и маленький огонек догорающей свечи, тускло освещающей черные стены дрожащим мертвым светом..

Стрельба уже прекратилась, а Митрофан все лежал и смотрел на огонек свечи, тяжело думая о том, куда могла уйти от Карася Соня, если даже Настя, ее подруга, не знает о ней ничего?

Из-за верхушек осин вышла кособокая луна, осветив полянку. Бойцы отряда осматривали трупы, перекликались, ища друг друга.

Вернувшись к первой землянке, Митрофан увидел Василия, освещающего спичкой лица убитых.

— Вся троица в сборе,— заключил Василий, сбросив догорающую спичку на оскаленное мертвое лицо Карася.

Ефим присел на бревно, валявшееся у входа в землянку, и снял картуз:

— Вот, Васятка, скоко я душ ноне загубил! — сказал он не то с сожалением, не то с радостью.— Господи! — воскликнул он, подняв лицо к луне и истово перекрестившись.— Господи! Коли ты есть, прости меня за все сразу!

Выговорив эти слова, он облегченно вздохнул, словно прощение это уже состоялось.

3

Два чекиста и шестеро бывших бандитов шли к домику в Нижнем Шибряе, где кулак Иванов прятал братьев Антоновых.

Два чекиста на шестерых — хотя и бывших — бандитов!

Когда чекист Михаил Иванович Покалюхин предложил такой состав оперативной группы, многие боялись, как бы эти «бывшие» не дрогнули при встрече со своим главарем.

Но Покалюхин настоял. Он верил людям, которых включал в свою группу, он знал, что для них это будет расплатой за свое заблуждение...

И вот они идут — два чекиста и шестеро бывших,— чтобы схватить живыми Антонова и его хилого брата, сочинявшего такие же хилые, как и сам, стишки.

Дом вдовы Катасоновой с палисадником, огороженным плетнем... За двором — огород с ветлами и канавой. Рядом лес... Все изучено, все предусмотрено.

Дом окружен. Покалюхин подходит к двери, вызывает хозяйку и предлагает ее постояльцам сдаться без сопротивления. Но из дома уже летят пули — Антонов стреляет из маузера.

Вспыхивает крыша, подожженная Покалюхиным... Из окон выскакивают братья-бандиты и бросаются бежать через двор на огород. Стрельба, крики...

Раненый Антонов все еще бежит... За ним торопится брат.

На мгновение Покалюхин замирает от страха: уйдут — рядом лес!

Но вот Антонов оглядывается на отставшего брата и, схватившись за бок, валится на землю. Почти рядом падает, споткнувшись, Дмитрий.

В них стреляли залегшие в картофельных грядках бывшие бандиты. Они-то знали повадки Антонова, знали, где ждать его последние шаги...

Ткнувшись в картофельную ботву лицом, Антонов последним усилием нажал на спусковой крючок маузера, выпустив последнюю бешеную пулю в дышавшую теплом и жизнью землю.

До угасающего слуха его долетело из лесу громкое кукованье кукушки:

— Ку-ку!..

Завернутые в рогожи трупы были доставлены в Тамбов для опознания в Губчека, а ночью выбросили их в яму под монастырской каменной стеной, выходящей к Цне, и завалили сухой каменистой землей. Там и догнивают их кости среди мусора тех лет...

Много воды пронесла Цна мимо монастырской стены... Бульдозеры снесли ее каменную громаду и выровняли землю. По берегам реки выросли крупные новостройки заводов, десятки многоэтажных домов. В этих домах поселились счастливые наследники красных бойцов и первых коммунаров — Юшкины наследники...

1960—1964

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга первая

ПРОБУЖДЕНИЕ

Книга вторая

ИСПЫТАНИЕ

Стрыгин Александр Васильевич

РАСПЛАТА

М., «Советский писатель», 1972, 384 стр. План вып. 1972 г. № 97. Редактор *А. Д. Зеленов.* Худож. редактор *Е. И. Балашева.* Техн. редактор *Ф. Г. Шапиро.* Корректоры *И. Ф. Сологуб* и *В. Н. Стаханова.* Сдано в набор 28/X 1971 г. Подписано к печати 16/III 1972 г. А 05851. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$ № 2. Печ. л. 12 (20,16). Уч.-изд. л. 19,65. Тираж 100 000 экз. Заказ № 558. Цена 72 коп. Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.

72 коп.



АЛЕКСАНДР СТРЫГИН

РАСПЛАТА